

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА



Кирилл
Кожурин



ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

К. Кожурин



ЖЗЛ

Annotation

Образ боярыни Феодосии Прокопьевны Морозовой — суровой обличительницы новых обрядов, введенных в Русской церкви в середине XVII столетия патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем, — знаком нам прежде всего благодаря картине художника Василия Ивановича Сурикова, запечатлевшего переломный момент в ее жизни, когда ее, богатейшую и знатнейшую женщину России, везут на санях, закованной в кандалы, к месту будущих мучений и пыток. Но кем была эта женщина? Почему ради своих убеждений, ради приверженности старой вере она не побоялась лишиться всех причитавшихся ей благ, да и самой жизни? Почему даже под страхом смерти она не согласилась — хотя бы для вида — перекреститься на новый лад, то есть тремя перстами, и произнести по-новому Символ веры? И только ли религиозный фанатизм был причиной ее непреклонности? На эти вопросы дает свой ответ автор книги, известный петербургский историк и публицист Кирилл Яковлевич Кожурин. Особый интерес книге придает то обстоятельство, что в ней представлен именно *старообрядческий* взгляд и на биографию боярыни Морозовой, и на всю русскую историю XVII века.

- [Кирилл Кожурин](#)
 - [«Свет вдохновения Святой Руси»](#)
 - [Глава первая](#)
 - [«От блага избранного корени богонасажденная отрасль...»](#)
 - [«И в девках любила Богу молитися»](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Новое царствование](#)
 - [Боярин Морозов](#)
 - [«Государева радость»](#)
 - [Соляной бунт](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Замужество](#)
 - [Никон](#)
 - [Раскол](#)
 - [«Вдова я молодая после мужа своего, государя, осталася»](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Огнепальный протопоп](#)

- [Царская поединщица](#)
 - [«Имея и ум, да сочтет число зверево»](#)
 - [«Разбойничий собор»](#)
 - [Великий постриг](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Начало крестного пути](#)
 - [«В Боровеск, на мое отечество, на место мученное»](#)
 - [«Во двою телесех едина душа»](#)
 - [«Смерило на смерть наступи»](#)
 - [Послесловие](#)
 - [ПРИЛОЖЕНИЕ](#)
 - [Похвала мученицам\[368\]](#)
 - [Надсловие великоблагородным княгиням и стратотерпицам\[369\]](#)
 - [Основные даты жизни боярыни Ф. П. Морозовой](#)
 - [Краткая библиография](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)

- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)

- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)

- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)

- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)

- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)

- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)

- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)
- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)

- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)
- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)

- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)
- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)

Кирилл Кожурин
БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА



«Свет вдохновения Святой Руси» (Вместо предисловия)

Не бе той свет, но да свидетельствует о свете.

Ин. 1,8

Кому с детских лет не знакома ставшая уже хрестоматийной картина великого русского художника Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова»?! На фоне пестрой толпы, напоминающей цветистый персидский ковер, резко выделяется то ли уносящаяся на санях вдаль, то ли возносящаяся в небеса женщина с белым бескровным лицом, облаченная в черную, отливающую синими и фиолетовыми оттенками одежду, закованная в кандалы, словно распятая на кресте, и гордо поднимающая над толпою правую руку со сложенными для крестного знамения двумя перстами. Однако, наверное, далеко не всякий сможет сказать, кем же была эта женщина, изображенная на знаменитой картине, и почему именно ее художник сделал главной героиней своего шедевра... А ведь когда-то боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова по богатству и знатности была второй женщиной в России после самой царицы!

Среди выдающихся деятелей допетровской Руси мы найдем не так много женских имен. Возможно, десяток, много — полтора... Но боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова, без сомнения, войдет в этот список. Более того, ни у кого из знаменитых русских женщин былых времен не найдем мы такой силы веры и такой верности своим идеалам, готовности идти на муки и даже на смерть ради своих убеждений, как у нее. Недаром, наряду с огнепальным протопопом Аввакумом — ее духовным отцом и единомышленником, также положившим свою жизнь за отеческую веру, — она стала символом и иконой того духовного движения, которое охватило в середине XVII века во всех смыслах лучшую, наиболее здоровую, наиболее негнибаемую и наиболее совестливую часть русского народа.

Боярышня Феодосия Соковнина, боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова, наконец, инокиня Феодора... Кем же была эта женщина? Ради чего оставила она свои несметные богатства, славу, почести, высокое положение при царском дворе? Ради чего отреклась от мира с его земными радостями, была разлучена с родными и близкими людьми, потеряла единственного сына, пошла на поругание и нечеловеческие пытки?

Наконец, ради чего она умерла страшной, мучительной голодной смертью в холодной и мрачной земляной тюрьме Боровского острога?

Очень точные слова сказал о Морозовой писатель русского зарубежья Иван Созонтович Лукаш в посвященной ей исторической повести: «Боярыня Морозова — одна из тех, в ком сосредотачивается как бы все вдохновение народа, предельная его правда и святость, последняя, религиозная тайна его бытия. Эта молодая женщина, боярыня московитская, как бы вобрала в себя свет вдохновения старой Святой Руси и за нее возжелала всех жертв и самой смерти»^[1].

Да, церковный раскол середины XVII века расколол не только Русскую Церковь. Он расколол пополам русскую историю, став своего рода ее водоразделом. Большинство историков, наверное, до конца еще не осознали, какая непоправимая катастрофа произошла на Руси в далеком XVII столетии, как не осознали истинных масштабов и значения русского сопротивления — движения старообрядчества. В истории немало мистических совпадений, и это наводит на мысли о неслучайности самих исторических событий. Действительно, такое нарочно не придумаешь: 988 год — год Крещения Руси — стал временем рождения новой цивилизации — цивилизации Святой Руси, просветившейся светом евангельского учения при великом князе Владимире Святославиче; а ровно через 666 лет — таинственное «число зверя», указанное в знаменитом «Апокалипсисе» Иоанна Богослова, — в 1654 году, на соборе Русской Церкви, созванном по инициативе царя Алексея Михайловича и его ставленника патриарха Никона, получила одобрение и церковное благословение реформа, с которой начался обратный отсчет русской истории — начались *раскрещивание* Руси, закат и падение Третьего Рима. Этот год был отмечен страшными знаменами: в Москве и по многим русским городам прошла эпидемия чумы («моровое поветрие»), унесшая десятки, сотни тысяч жизней. В отдельных областях вымерло до 85 процентов населения. Мор сопровождался солнечным затмением, которое, как считалось во все времена, ничего хорошего не предвещало.

Но на этом совпадения не заканчиваются. В роковом 1666 году в Москве прошел еще один церковный собор, окончательно закрепивший раскол Русской Церкви и сделавший невозможным возвращение вспять, к «древнему благочестию». В свою очередь, в перспективе никоновского, а затем и последующего петровского раскола неизбежными становились и 1917, и 1937 годы...

Вместе с тем во все переломные периоды русской истории находились люди, готовые на самопожертвование, готовые положить свои жизни ради

высших идеалов и высших ценностей. Во многом благодаря таким людям и их личному примеру история государства Российского, несмотря на всю ее катастрофичность, еще продолжается. И боярыня Морозова — именно из этих людей.

Поэтому далеко не случайно, что образ боярыни Морозовой со времени ее «открытия» в 1887 году на пятнадцатой выставке передвижников и публикации в том же году ее Жития^[2] стал, по выражению академика А. М. Панченко, «вечным спутником» всякого русского человека, продолжая привлекать к себе не только историков, но и писателей, художников, композиторов и поэтов.

К трагической судьбе боярыни Морозовой обращались историки Н. С. Тихонравов и И. Е. Забелин, С. М. Соловьев и С. А. Зеньковский. Образ Морозовой и других мучеников за старую веру появляется на страницах исторических романов Д. Л. Мордовцева. Несмотря на небольшие художественные достоинства, эти романы пользовались популярностью и достаточно живо представляли картину состояния старообрядчества в первые годы после раскола. В романе «Великий раскол» (1880) выведены образы грозного патриарха Никона, пламенного протопопа Аввакума, страдальцы боярыни Морозовой, показаны собор 1666 года и все те страдания, которые пришлось претерпеть сторонникам старообрядчества.

XX век с его катаклизмами и социальными потрясениями по-новому открыл для себя судьбы страстотерпцев века XVII, в том числе и судьбу боярыни Морозовой и ее сестры и сострадальцы княгини Урусовой. «ГУЛАГ XX века дал представителям «господствовавшей» культуры возможность понять «ГУЛАГ XVII века», — пишет современная исследовательница^[3]. В художественной литературе XX столетия образ боярыни Морозовой появляется в поэзии Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, Варлама Шаламова и Порфирия Шмакова, в прозе Владимира Личутина («Раскол») и Владислава Бахревского («Аввакум», «Страстотерпцы»), Василия Барановского («Боярыня Морозова») и Сергея Алексеева («Скорбящая вдова (молился Богу сатана»)).

Не прошла мимо старообрядческой темы и современная музыка. Композитор Родион Щедрин создал русскую хоровую оперу «Боярыня Морозова». На авторском экземпляре партитуры оперы в двух частях «Житие и страданье боярыни Морозовой и сестры ее княгини Урусовой» композитор проставил дату — июнь 2006 года. Но замысел этого сочинения он вынашивал почти три десятилетия. По словам Щедрина, «это была очень давнишняя моя мечта — подобраться к этой странице российской

истории, трагичнейшей странице церковного раскола в XVII веке». В октябре 2006 года в Большом зале Московской консерватории с успехом прошла премьера этого произведения. Либретто оперы Щедрина, написанное самим композитором, основано на подлинных текстах XVII века — «Житии протопопа Аввакума», «Житии боярыни Морозовой, сестры ее княгини Урусовой и Марьи Даниловой», а также письмах Аввакума к Морозовой и ее сестре. В 2008 году на основе хоровой оперы «Боярыня Морозова» Щедрин написал произведение для смешанного хора «Царская кравчая».

Наконец, в начале XXI века впервые тема церковного раскола нашла свое достойное воплощение и в русском кинематографе. В 2011 году на телевизионном канале «Россия-Культура» прошла премьера двадцатисерийной киноэпопеи режиссера Николая Николаевича Досталю «Раскол». Сценарий к фильму написан писателем Михаилом Кураевым в соавторстве с Николаем Досталем. Несмотря на некоторые спорные моменты, относящиеся скорее к источникам сценария «фильма-фрески» (как определяет свое произведение сам режиссер), а также трудности технического характера, Досталю удалось создать монументальное полотно в лучших традициях отечественного кинематографа. Перед зрителем на экране прошел значительный — как по времени (с 1645 по 1682 год), так и по важности — период русской истории. Серьезная работа была проделана для воссоздания исторических декораций и костюмов XVII века, съемки многих эпизодов проводились в подлинных ландшафтах.

Большой режиссерской удачей Н. Н. Досталю стало привлечение молодых актеров на главные роли в фильме, и среди них, безусловно, одним из самых ярких и незабываемых образов был создан актрисой Юлией Мельниковой, сыгравшей боярыню Феодосию Прокопьевну Морозову. В фильме проходит вся ее жизнь — с 16 лет и до самой смерти.

При этом актрисе удалось создать живой, далекий от стереотипов образ этой выдающейся русской женщины, передать всю красоту ее души и силу характера. Фильм Н. Н. Досталю «Раскол», объективно повествующий о трагических событиях XVII столетия, вызвал широкий резонанс среди зрительской аудитории и во многом способствовал разрушению вековых стереотипов в массовом сознании.

В декабре того же 2011 года на телеканале «Звезда» состоялась премьера документального фильма «Боярыня Морозова. Раскол» (автор и ведущий Т. Ю. Борщ, режиссер В. Шуманников), что также свидетельствует о растущем интересе к теме церковного раскола в современной России.

Хотя в живописи, помимо В. И. Сурикова, к образу боярыни Морозовой обращались такие известные художники, как В. Г. Перов и А. Д. Литовченко, среди всех произведений искусства, посвященных этой выдающейся женщине, несомненно, первым на все века остается суриковский шедевр. «Боярыня Морозова» была задумана Суриковым сразу после «Утра стрелецкой казни», однако к работе над картиной художник приступил только в 1884 году, а закончил ее к 1887 году. Картина иллюстрирует один из эпизодов «Жития боярыни Морозовой»: «Когда ее везли Кремлем, мимо Чудова монастыря, под царские переходы, она, полагая, что на переходах смотрит царь на ее поезд, часто крестилась двухперстным знамением, высоко поднимая руку и звеня цепью, показывая царю, что не только не стыдится своего поругания, но и услаждается любовью Христовою и радуется своим узам» (в пересказе историка И. Е. Забелина). Картина Сурикова демонстрировала неукротимость русского национального духа, а невероятно выразительные глаза боярыни Морозовой говорили о невозможности компромисса, о трагедии раскола в русском обществе.

Интересна реакция современников на эту картину. На выставке к «Боярыне Морозовой» было не протолкнуться. Картина Сурикова вызвала многочисленные выступления в печати, при этом мнения авторов разделились. В традиционных официально-православных выступлениях настойчиво отвергалась историческая значимость личности Феодосии Морозовой, а в староверии виделось только проявление неграмотности и неразвитости народа. Характерно название одной из рецензий: «Пропаганда раскола посредством кисти художника» (автор — профессор Московской духовной академии Н. И. Субботин). Рецензии светских критиков сильно отличались одна от другой. В одних картина Сурикова объявлялась художественным провалом уже известного живописца, в других — превозносилась как шедевр русского искусства.

Однако история расставила всё на свои места. Без «Боярыни Морозовой», являющейся подлинной жемчужиной русского искусства, не обходится теперь ни одна хрестоматия по истории русской живописи. И хотя Суриков допустил ряд исторических неточностей (прежде всего, Морозова была еще молодой женщиной, на момент ареста ей не было и сорока лет), ему удалось выразить нечто большее, чем банальная «историческая правда». По сути, художнику удалось создать *икону* боярыни Морозовой, некий вневременной символ. Несмотря на весь реализм изобразительных средств, мы видим перед собой совершенно преображенный *лик*, устремленный в иной мир, а не обычное человеческое

лицо. Недаром репродукции с суриковской «Морозовой» нередко можно встретить в старообрядческих храмах, хотя конечно же не в иконостасе. Тем самым «Поругание боярыни Морозовой» (так первоначально называлась картина) превратилось в ее апофеоз.

Как писал полстолетия спустя композитор Борис Асафьев, живописец «четко и сильно показал острое трагическое противоречие между буйной красочной цветистостью народного характера, видимого их облика и гибельным расточением этих творческих сил в жестком становлении русской былой государственности». По мнению Асафьева, Суриков картиной своей хотел ответить на главный вопрос, который «грыз» его сердце и мозг: «неужели русская история состоит в безумном и страшном уничтожении и расточении этих прекрасных характеров, воль, «соков земли»»^[4].

Вдаль уносятся сани со скованной, но не сломленной боярыней Морозовой, рассекая толпу на две части — и те, что стоят справа и кому открылся ее преображенный лик, уже не смеются бездумно, не глумятся над узницей — как продолжают стоящие слева, — но оплакивают и внимают, с восторгом и надеждой смотрят на ее вдохновенное, как бы изнутри светящееся лицо, на ее указующие в бесконечное небо тонкие персты.

Глава первая

«От юности житие воздержное»

В той нас возрадовася духом Исус, и рече: Исповедаются Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем...

Лк. 10,21

«От благаго избраннаго корени богонасажденная отрасль...»

Родившаяся 21 мая 1632 года старшая дочь московского дворянина Прокопия Федоровича Соковнина была наречена в честь святой преподобномученицы Феодосии девицы, Тирской (память ее 29 мая)^[5]. Мог ли кто тогда предполагать, что маленькой девочке, появившейся на свет в Москве, в этом последнем и, казалось, незыблемом оплоте Православия, Третьем Риме, будет суждено повторить судьбу своей тезоименитой небесной покровительницы и претерпеть муки и смерть за веру Христову? Святая Феодосия (в переводе с греческого «Богом данная») родилась в городе Тире в конце II века. Согласно сообщению церковного историка Евсевия Кесарийского, несмотря на свой юный возраст (ей было всего 18 лет), она во времена гонений на христиан безбоязненно посещала в темницах Кесарии Палестинской узников-христиан, за что была схвачена и подвергнута жесточайшим мучениям. Мужественно перенесла страдания, святая была утоплена в море, но, извлеченная оттуда ангелами, ходила с камнем на шее по морю, «аки по суху». Затем она снова была схвачена и брошена на растерзание диким зверям, однако те не посмели коснуться ее. Тогда святую Феодосию усекли мечом (307–308 годы). По смерти своей она явилась родителям в прекрасном белоснежном одеянии с венком на голове и с золотым перстнем в руках, показывая им, какой славы удостоил ее Небесный Жених — Христос.

Родители Феодосии Соковниной (будущей боярыни Морозовой) — Прокопий Федорович Соковнин и Анисия Никитична Соковнина (урожденная Наумова^[6]) — были людьми благородными и благочестивыми: «беша светли родом, и велиим богатством цветуще, паче

же благородствоваста и цветуще добродетельми, Богу большею частию живяста, и Его заповеди усердно и благоревностно привязавшася». «Именам же подобно и житие стяжаста. Иже овому убо отсекати злая и небогоугодная, от добрых и полезных, просвещатися же присно к божественным. Овей же яко ново некое здание быти Божие, и совершен плод приносить житие чисто и добродетельно»^[7].

Род Соковниных, хоть и не принадлежал к числу первых дворянских родов Московского царства, однако же имел свою, весьма замечательную историю и по древности мог поспорить с любым из дворянских родов не только России, но и Европы^[8]. Недаром старообрядческий писатель, архимандрит Муромского Спасского монастыря Антоний, обращаясь к боярыне Морозовой, назовет ее впоследствии «от благаго избраннаго корени богонасажденная отрасль...»^[9].

Как и многие другие русские дворяне, Соковнины вели свой род из-за границы, «из немец». Согласно старинным родословцам, предками Соковниных были бароны Иксюоль, или, вернее, Иксюль-Мейендорф — один из древнейших родов Германии, восходящий к XI веку. Так, один из представителей этого рода — Свидигер фон Морслебен-унд-Мейендорф — стал епископом Бамбергским и одним из наиболее влиятельных иерархов Германской Церкви. В день Рождества Христова в 1046 году он, по настоянию императора Священной Римской империи Генриха III, был избран римским папой под именем Климента II. После получения папской тиары он вручил императорскую корону Генриху III и его супруге Агнессе. Император назвал Климента II королем и первосвященником. Понтификат Климента II, продолжавшийся неполный год, официально положил начало эпохе так называемого цезаропапизма, когда церковное управление было полностью подчинено германским светским владыкам. Климент II подтвердил обычай, согласно которому инвеститура, или предоставление церковной должности, предшествовала церковной церемонии посвящения в епископы (хиротонии). После короткой болезни папа скончался 10 октября 1047 года в аббатстве Святого Апостола Фомы около Пезаро (Центральная Италия), где лечился от приступа малярии. Это единственный римский папа, погребенный севернее Альп. Тело его и поныне покоится в Бамбергском кафедральном соборе.

Другие представители этого знатного рода, два брата Даниил и Конрад фон Мейендорфы, переселились из Голштинии в Ливонию в 1198 году. Из них Конрад в 1200 году получил от князя-епископа Рижского в лен замок Иксюль (современный Ишкиле, на территории Латвии), по имени

которого потомки его и стали писаться «фон Мейендорф-Икскуль», и только одна ветвь этого рода продолжала именоваться в дальнейшем «Мейендорф».

Весьма любопытны семейные связи фон Мейендорфов. Так, согласно исследованиям историка М. А. Таубе^[10], Конрад фон Мейендорф (ум. после 1224 года) был женат на дочери легендарного князя Герсикского Всеволода (ум. после 1225 года). Этот князь, судя по всему, принадлежал к Полоцкой ветви дома Рюриковичей, хотя и неизвестен по русским летописям. Основным источником сведений о нем является «Хроника Ливонии» Генриха Латвийского, который называет его Виссевальдом (Wiscewaldus) и говорит, что он был сыном «короля Полоцка»^[11].

Согласно Генриху Латвийскому, Всеволод был вассалом полоцкого князя Владимира и владел Герсикским княжеством.^[12] Владения его граничили с землями епископа Риги. Всеволод не только был в тесном союзе с литовцами и содействовал их борьбе против немецких рыцарей ордена меченосцев и епископа Риги, но и женился на дочери литовского князя Довгерда (Даугеруте). В 1206 году он принимал участие в походе на немецких рыцарей вместе с полоцким князем Володарем Всеславичем. Под 1209 годом «Хроника» сообщает, что «так как Герсик всегда был как бы дьявольской сетью для всех жителей на этой стороне Двины, крещеных и некрещеных, король же Герсика Всеволод всегда враждовал и вел войны с рижанами и не хотел заключать с ними мирных договоров, то епископ [Рижский] и двинул [в октябре] свое войско на его город».

Русские выступили навстречу войску рижского епископа Альбрехта фон Буксгевдена, но не выдержали натиска и бежали в город, куда на их плечах ворвались и тевтоны. Князь Всеволод «бежал через Двину к кораблям». Тевтоны захватили в плен его жену и ограбили город. «И собрали они много добычи, снося со всех углов города одежду и серебро, и пурпур, и сгоняя скот во множестве; взяли из церквей колокола и иконы, и прочие вещи, и серебро, и золото во множестве». На следующий день после опустошения города тевтоны, отступая, сожгли его дотла.

Чтобы освободить свою жену из плена, князь Всеволод вынужден был заключить с епископом мир и признать себя его вассалом, получив Герсик на ленных правах. Однако позже он забыл о данных обещаниях. В 1214 году князь отказался послать свои войска против ливов, и восстановленный Герсик снова был разорен и сожжен. Столкновения с немцами продолжались до 1215 года, когда Всеволоду совместно с литовцами удалось нанести поражение орденской армии. Последний раз герсикский

князь упоминается в 1225 году, когда он присутствовал на встрече с папским легатом, прибывшим в Ливонию.

Согласно М. А. Таубе, документально установленная передача в 1224 году князем Всеволодом половины его владений в Герсике в лен рыцарю Конраду фон Мейендорфу была связана с женитьбой этого рыцаря на дочери Всеволода. Овдовев, она вышла замуж за рыцаря Иоганна фон Бардевиса, родоначальника Икскюлей, который после смерти своего бездетного пасынка Конрада фон Мейендорфа-младшего в 1257 году получил в лен его владения. Род Бардевис-Икскюль уже в первом поколении стал владельцем значительной части области Герцике-Дубена. Родовой замок принадлежал им вплоть до XV века, когда Ишкиле стал архиепископским замком.

В 1545 году барон Иоганн фон Икскюль выехал из Ливонии к царю Московскому Иоанну Васильевичу Грозному и принял святое крещение с именем Федора Ивановича. Сын этого Федора Ивановича, Василий Федорович, по прозванию «Соковня»,^[13] собственно, и является родоначальником русских Соковниных. Он был сыном боярским и упоминается в Казанском походе 1552 года в качестве головы.

Василий Федорович оставил четверых сыновей, из которых Тимофей Васильевич Соковнин был убит в Смутное время под Рыльском. Старший из двух сыновей Т. В. Соковнина — Федор Тимофеевич — был дворянином московским (1611) и воеводой. В 1613 году служил в Ельце. В Разрядной книге говорится, что 29 июня 1613 года «писал к Государю (Михаилу Федоровичу. — К. К.) воевода князь Иван Одоевской, что пришел к нему с ратными людьми с Ельца Федор Соковнин, а с Ливен пришли головы. И как к ним ратные люди в сход пришли, и они, прося у Бога милости, собрався со всеми людьми, пошли к Воронежу и воров Ивашка Заруцкаго и Маринку (имеется в виду Марина Мнишек. — К. К.) с казаки сошли у Воронежа, и с Ивашком Заруцким бились два дни без престани и Божию милостию, его государевым счастием, воров Ивашка Заруцкаго и казаков побили наголову, и наряд, и знамена, и обоз взяли, и языки многие поимали, и коши все отбили.

И с того бою вор Ивашка Заруцкой, с невеликими людьми, побежал на поле, за Дон, к Медведице»^[14]. За эту службу Федор Тимофеевич Соковнин был награжден золотым. Женат он был на Анне Давыдовне Ртищевой, родной тетке окольного Михаила Алексеевича Ртищева. После себя он оставил троих сыновей: Григория, Прокопия и Ивана.

Прокопий Федорович Соковнин (отец будущей боярыни Морозовой) в

1624–1626 годах служил воеводой на Мезени и в Кевроде. В 1627–1640 годах числится дворянином московским. В 1631 году был отправлен посланником в Крым^[15], откуда возвратился лишь в 1633-м (то есть уже после рождения Феодосии). В 1635–1637 годах был на воеводстве в Енисейске. В 1642 году Прокопий Федорович участвовал в Земском соборе по вопросу, удерживать ли за Россией взятый донскими казаками Азов или возвратить его туркам. В 1641–1646 годах заведовал Каменным приказом, который должен был стараться об увеличении числа каменных зданий в Москве. В 1648 году на свадьбе молодого царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской он шел предпоследним, в числе многих других лиц, за санями царской невесты «для береженья». Тогда же и его сын Федор, стольник, находился также предпоследним в числе стольников-поезжан. Однако уже через месяц после царской свадьбы Соковнин, приходившийся молодой царице родственником, получает чин царицыного дворецкого.

17 марта 1650 года, в день именин царя Алексея Михайловича, Соковнин был пожалован в окольничие. В 1650–1652 годах сопровождал царя в его загородных поездках. 5 апреля 1652 года встречал мощи московского патриарха Иова при перенесении их из Старицкого монастыря в Москву. В том же 1652 году, с титулом наместника Калужского, находился, в числе других лиц, в ответе с литовскими послами. В 1654–1656 годах, во время Польского похода царя Алексея Михайловича, оставался в Москве оберегать царицу Марию Ильиничну и ее двор.

Прокопий Федорович Соковнин был человеком достаточно зажиточным и имел в Москве несколько домов: первый — в приходе церкви Святого Николы Чудотворца «Красный звон», или, как его называли в народе, у «Красных колоколов»^[16], второй — близ Тверской, в приходе церкви Успения Богородицы на Успенском вражке (ныне Газетный переулок, дом 15)^[17]. Еще один дом Соковниных находился на Никитской улице^[18]. Прокопий Федорович был женат дважды. От первого брака с Анисьей Никитичной Наумовой имел двух сыновей: Федора и Алексея и двух дочерей: Феодосию и Евдокию. После смерти первой жены женился на некоей Варваре. Умер Прокопий Федорович в 1662 году в глубокой старости и был похоронен у «Красных колоколов».

«И в девках любила Богу молитися»

История не сохранила подробных сведений о детских и отроческих

годах Феодосии Соковниной. Но вряд ли ее жизнь до замужества сильно отличалась от жизни многих других боярских и дворянских дочек того времени. Краткая редакция Жития боярыни Морозовой рисует нам детство и юность сестер Феодосии и Евдокии Соковниных в соответствии с житийным канонem: «Блаженныя сия присновоспоминаемыя стратотерпицы воспитани беяху во всяком благочестии и страхе Божии, яже младым телом божественнаго крещения сподобльшеся, и вдани бысте родителями на учение святых писании, и добре в сих успевающе, прилежне учащеся, не играм радующеся, ни позорищем (зрелищам. — К. К.) коим внимающе, ни покои и утешении телесными услаждающеся, яко юни суще, но в учении присно упражняющеся, и теми ум красяще и яже от них польза объемлюще»^[19].

В допетровской Руси основную часть повседневной жизни женщины (в том числе и в аристократической среде) занимала домашняя работа: ведение хозяйства, надзор за челядью, рождение и воспитание детей; и девочек с раннего возраста готовили к выполнению различных работ по хозяйству. Готовили к домашним работам уже с четырех лет, целенаправленно обучали с семи...

В знаменитом «Домострое» протопопа Сильвестра (XVI век) подробно расписано, как учить дочерей «всякому порядку, и промыслу, и рукоделию»: «А пошлет Бог кому детей, сынов и дочерей: иметь попечение отцу и матери о чадах своих — снабдевать их и воспитать в добром наказании, и учить их страху Божьему и вежливости и всякому благочинию; и по времени, по детям смотря и по возрасту, учить их рукоделию: отцу сыновей, а матери дочерей; кто чему достоин, каков кому смысл Бог даст; любить их и беречь, но и страхом спасать, уча и наказуя, и рассуждая, и боль сердечную излечивая: наказуй детей в юности, успокоят тебя на старость твою; и хранить, и блюсти чистоту телесную и от всякого греха, как зеницу ока и как свою душу; если дети согрешают отцовым и материным небрежением, о тех грехах ответ давать в день Страшного Суда им самим за детей своих, если дети беспечны и неусердны будут и не наказаны от отца и матери, то с такими детьми от Бога грех, а от людей укор и посмех, а имению нищета, а себе скорбь и убыток, а от судей продажа и срамота. Если у богобоязненных родителей, и у разумных, и у рассудных чада воспитаны в страхе Божьем, и в добром наказании, и в благорассудном учении, всякому разуму и вежеству, и промыслу, и рукоделию, — те чада с родителями бывают от Бога помилованы, а от священного чина благословлены и от добрых людей хвалимы, и когда войдут в совершеннолетие, добрые люди с радостью и с благодарением

сынов у них женят, а дочерей выдадут, прибирая по своей версте и по суду Божьему...»^[20]

Отдельная глава в «Домострое» была посвящена воспитанию девочек — «Как дочерей воспитывать и с приданным их замуж выдать». «А у кого родится дочь, — говорилось в ней, — тот рассудный отец, которым промыслом себя питает — в городе ли куплю деет, или по морю плавает, или в деревне пашет, он и с торгу на дочь откладывает, а в деревне по тому же случаю ей животинку растит с приплодом; от ее выти (доли. — К. К.), что Бог пошлет, купит полотна и уцин, ширинки и убрusy, и рубашки, каждый год и кладет в отдельный сундук или в коробья: платья и саженье, и мониста, и посуду оловянную, медную и деревянную; и прибавляется понемножку всегда, а не вдруг; иной раз себе в досаду, а всего, даст Бог, будет много. Так дочь растет, и страху Божьему, и вежеству, и рукоделию учится, а приданое с нею прибывает; а как замуж сговорят, и отец и мать будут беспечальны, поскольку дал Бог всего у них полно; и в веселии, и в радости брак у них будет»^[21].

Хотя девочек с раннего возраста приучали ко всякой работе по хозяйству, существовали и безусловно женские занятия, такие, например, как рукоделие. Не только крестьянки и простые горожанки, но и боярыни, княжны и черницы в монастырях ткали, шили, вышивали. До сих пор в музеях мы можем любоваться искусными работами царицы Анастасии Романовны (первой супруги царя Ивана Грозного), царевны Ксении Борисовны Годуновой, княгини Евфросинии Старицкой и многих других знатных «люботрудниц».

Воспитывать детей полагалось «в страхе Божиим»: «Казни сына с юности его, и успокоит он тебя на старости твоей, и даст тебе красоту душе твоей. И не ослабей, бия младенца; если лозою бьешь его, то не умрет, а здоровее будет; ты ибo, бья его по телу, душу избавляешь от смерти; дочь имеешь: положи на нее грозу свою и блюди ее от телесных грехов, да не посрамит лица твоего, да в послушании ходит, да не свою волю имеет, и в неразумии прокудит девство свое и сделает тебя знаемым твоим в посмеях, и посрамит тебя при множестве народа. Если отдашь дочь свою без порока, то очень большое дело совершишь, и посреди собора похвалишься, и при кончине своей не постонешь на нее»^[22].

В допетровской Руси люди — от царя до псаля — жили в атмосфере религиозности, и высшим нравственным идеалом домашнего устройства считалось устройство, во многом подражавшее монастырскому укладу. Особенно это было принято в благочестивых зажиточных семьях.

«Монастыри любите, — говорилось в поучениях того времени, — это жилища святых, пристанища сего света». «Пустыня — покой и отдохновение ума, — писал князь Курбский, — наилучшая родительница и воспитательница, содруг и тишина мысли, плодовитый корень божественного зрения, истинная помощница духовного соединения с Богом». Многие на старости лет, выполнив свои мирские обязанности и вырастив детей, принимали иноческий постриг. Не были исключением и лица знатные, в том числе члены царского дома. Даже грозному царю Ивану Васильевичу иночество представлялось «лучше царской державы».

«Кто хотел в древней Руси жить хорошо, по-Божьи, тот старался подражать жизни монахов. Пост, молитва, строгость к самому себе, воздержание во всем — и в беседах и в удовольствии, замкнутость — вот черты, какие клались в основу тогдашнего «добропорядочного жития». Это отражалось во всей обстановке, во всех поступках тех, кто были, выражаясь, как принято теперь, порядочными и воспитанными людьми»^[23].

День начинался с молитвы. «Домострой» строго наказывал «в семь утра вставая, отпеть заутреню, а в воскресенье и в праздник молебн, с молитвою, и с молчанием, и с кротостью, и кроткостоянием, и единогласно петь, и с вниманием слушать, и святой проповедью». Понятно, что женщинам, которые должны были трудиться от восхода до заката, хлопоча по хозяйству, делалось послабление. В простых семьях женщины, вероятно, вообще только успевали перекреститься на образ и сразу же приступали к своим повседневным обязанностям. Однако в семьях «достаточных» старались строго придерживаться задаваемого «Домостроем» образца.

Особенно ярким примером монастырского устройства быта жителей Московской Руси служил быт ее цариц и царевен. Так, в царицыных палатах «каждый день неизменно совершалось домовное *правило*, молитвы и поклоны, чтение и пение у *крестов* в крестовой или моленной комнате, куда в свое время приходили для службы читать, конархать и петь крестовый священник и крестовые дьяки, 4 или 5 человек, — писал историк И. Е. Забелин. — Царица слушала правило обыкновенно в особо устроенном месте, сокрытая тафтяным или камчатным запаном или завесом, который протягивался вдоль или поперек комнаты и отделял крестовый причт от ее помещения. Крестовая молитва или келейное правило заключалось... в чтении и пении определенных уставом на каждый день молитв, псалмов, канонов, тропарей, кондаков, песней, с определенным же числом поклонов при каждом молении. Каждый день,

таким образом, утром и вечером совершалось чтение и пение Часослова и Псалтыря с присовокуплением определенных или особо назначаемых канонов и акафистов и особых молитв. В праздничные и в иные чтимые дни, когда не было выхода в церковь, царица у крестов же всегда служила молебен и окроплялась св. водою, привозимую из монастырей и церквей, от праздников»^[24].

В домах зажиточных людей также имелись свои домашние церкви или особые крестовые, предназначенные для моления, где вся семья собиралась утром и вечером для молитвы, и если не было домового священнослужителя или дьячка, то сам хозяин, как домовладыка, читал пред всеми вслух утренние и вечерние молитвы. Иногда таким образом читались заутреня и часы — смотря по степени досуга, уменья и благочестия. Кто умел петь — пели.

«А где некому петь, — поучал «Домострой», — тогда молиться достаточно, вечером и утром; а мужьям никоим образом не впадать в грех и в вечерню, и в заутреню, и в обедню; женам и домочадцам молиться сообща, по разумению — в воскресенье, и в праздники, и во святые дни»^[25].

Каждый день прочитывалось особое поучительное слово из сборника под названием «Златоуст», а также краткое житие святого, память которого приходилась на этот день, из другого сборника — «Пролога». «...Чтение житий всегда составляло достойное упражнение на всякий день. Оттого знание священной и церковной истории в тогдашнем грамотном обществе было распространено несравненно больше, чем всякое другое знание. В совокупности со знанием церковного догмата или устава, это была исключительная, единственная наука того времени, или то самое, что мы разумеем теперь под словом *образованность*. В ней сосредоточивались, ею управлялись и направлялись не только нравственные, как подобало, но и все умственные интересы века, а тем более в быту женщин, замкнутых в своих теремах, лишенных участия даже мыслью и словом в делах общественных. В их-то среде и преобладал по преимуществу интерес монастырский во всех его подробностях. Здесь не государственной важности дело или событие призывало умы ко вниманию и размышлению... Здесь интерес мысли сосредоточивался более всего на богоугодном подвижничестве праведника или далекого пустычника, сокровенного затворника, о прославленных, святых делах которого не истощались рассказы и поучения, достигавшие сюда из самых отдаленных, глухих и неизвестных пустыней и монастырей. Здесь любопытствующий ум

устремлялся лишь к святым чудотворным местам и к св. угодникам, дабы еще более укрепить свою веру в их несомненную помощь в скорбях и печалях жизни...»^[26]

Молитва сопровождала русского человека в течение всего дня. Всякое дело начиналось и оканчивалось молитвой. Молитва Исусова не сходила с уст каждого, кто хотел быть воспитанным человеком. Прежде чем войти в дом, следовало произнести вслух молитву Исусову: «Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас!»^[27] — и только после ответного возгласа «аминь!» можно было переступить порог дома. Иностранец-современник пишет: «Войдя в комнату, русский ни слова не скажет присутствующим, сколько бы их тут ни было, но обращается к иконам, крестится, делает три поклона и только потом обращается к присутствующим». «Домострой» учил, дабы походка у человека была кроткая, голос умеренный, слово благочинное; пред старшими надо было сохранять молчание; к премудрым — послушание; перед сильными — повиновение; лучше мало говорить, а более слушать; не быть дерзким на словах, не слишком увлекаться беседой, не быть склонным к смеху, украшаться стыдливостью, зрение иметь долу, а душу — горе; избегать возражений, не гнаться за почестями...

В 1523 году католик Альберт Кампензе писал папе римскому Клименту VII о вере и нравах московитов: «Они лучше нас следуют учению евангельскому... Причащаются весьма часто (почти всякий раз, когда собираются в церковь)... В церквах не заметно ничего неблагопристойного или бесчинного, напротив того, все, преклонив колена и простершись ниц, молятся с искренним усердием... Обмануть друг друга почитается у них ужасным, гнусным преступлением, прелюбодеяние, насилие весьма редки, противоестественные пороки совершенно неизвестны, о клятвопреступлении и богохульстве вовсе не слышно. Вообще они глубоко почитают Бога и святых Его»^[28].

В описании своего путешествия в Московию посланник германского императора Максимилиана II Ханс Кобенцль пишет: «Московитяне в делах веры более нас преданы обрядам: перед монастырями, церковью, изображением святого креста они никогда не забывают трижды перекреститься и произнести «Господи, помилуй». Приближаясь к церкви, в которой совершалось богослужение, они никогда не проходили мимо, но входили и слушали обедню... Во всех делах своих московитяне весьма религиозны, не выходят из дома, не сотворив трех поклонов, не оградив себя крестом и не произнеся трижды: «Господи, помилуй». Они и в

разговор вступают не прежде, как совершив все это»^[29].

А вот свидетельство архидиакона Павла Алеппского, прибывшего в Москву в свите своего отца антиохийского патриарха Макария: «Мы вышли из церкви только в двенадцатом часу. Мы умирали от усталости, ноги наши подламывались от непрерывного стояния с раннего утра до вечера. Но мир Божий да почиет на мирянах, мужчинах, женщинах, детях и девушках за их терпение, стояние и твердость с раннего утра до сих пор!.. Вещи, достойные изумления! Каких удивительных обычаев и поразительных подвигов мы были свидетелями среди этого народа! Что за крепость в их телах и какие у них железные ноги! Они не устают и не утомляются. Всевышний Бог да продлит их существование!»^[30] И еще: «Подлинно, это народ истинно христианский и чрезвычайно набожен, ибо, как только кто-нибудь, мужчина или женщина, заболит, то посвящает себя Богу: приглашает священников, исповедуется, приобщается и принимает монашество, что делали не только старцы, но и юноши и молодые женщины; всё же свое богатство и имущество отказывает на монастыри, церкви и бедных»^[31]. По свидетельству Павла Алеппского, в середине XVII века в одной только Москве было более четырех тысяч храмов, а престолов — более десяти тысяч! Кроме того, все бояре, знатные люди, купцы имели свои домовые храмы, где ежедневно совершалось богослужение.

Совершив утреннее молитвенное правило, сперва осматривали свое домашнее хозяйство. «В утреннее время хозяин должен был обойти весь двор и посетить все службы. В конюшне он смотрел по стойлам, подостлана ли под ногами лошадей солома, положен ли корм, приказывал вывести и проводить перед собой ту или иную лошадь; затем хозяин навещал хлевы и стойла домашней скотины и птичий двор; везде он приказывал накормить при себе скотину и кормил из своих рук; по примете, домашний скот и птица от этого тучнели и плодились. Возвратившись после такого обхода, хозяин призывал заведывавшего двором дворецкого и птичников, слушал их доклады, делал свои распоряжения. После всего этого хозяин приступал к своим занятиям: купец отправлялся в лавку, ремесленник брался за свое ремесло, приказный человек шел в свой приказ, бояре и думные люди спешили во дворец на заседание Думы, а люди недумных чинов наполняли крыльца и передние сени царского дворца, ожидая, не понадобится ли их служба. Приступая к своему обычному делу, какое бы оно ни было: приказное писательство, торговля или черная работа, русский человек тех времен считал приличным вымыть руки и сделать перед образом три крестных знамения с земными

поклонами и с молитвой Исусовой на устах»^[32].

Обычно в полдень обедали. Есть полагалось не более двух раз в день. Хотя в одном из церковных сборников правил и поучений XVI века упоминаются четыре трапезы: завтрак, обед, полдник и ужин, в «Домострое» и богослужебных книгах говорится лишь об обеде и ужине, и люди благочестивые старались строго придерживаться этого правила. «Кто не имел своего дома, тот шел обедать в харчевню. Люди домовитые обедали непременно дома. Люди знатные обедали отдельно от своей семьи, люди же незнатные обедали всей семьей. На званых обедах женщины и дети не присутствовали никогда: для них на женской половине дома накрывался особый стол... Кушанье подавалось на стол всё сразу, нарезанное тонкими ломтями. Перед всеми, сидевшими за столом, стояло по тарелке глиняной, металлической или деревянной. Варено все хлебали из одной общей чашки, соблюдая очередь, тихо, не торопясь, неся ложку от миски ко рту, осторожно подставив, чтобы не капало, под ложку ломоть хлеба; жареное или вареное мясо каждый брал себе руками с блюда, стоявшего на столе. Ножи и вилки были в слабом употреблении. Тарелки, раз поставленные, уже не переменялись во весь обед. Каждый брал руками со стоявшего на столе блюда куски и клал их в рот, бросая на тарелку кости и остатки. Считалось приличным сидеть за столом молча или беседовать тихо...

Обед начинался с того, что выпивали водки и закусывали ее хлебом с солью. Затем в скоромные дни ели холодные кушанья: вареное мясо с разными приправами, студень и т. п., затем приступали ко щам или супам различных сортов, затем ели жаркое, потом молочные кушанья и кончали обед разными сладкими печеньями и фруктами. В постные дни все мясное заменялось рыбой или овощами. На званых обедах считалось необходимым подавать как можно больше сортов кушаний, и число их доходило иногда до 60 и 70 перемен»^[33].

После обеда принято было отдыхать. Это был повсеместно распространенный благочестивый русский обычай, и, по сообщению Адама Олеария, в свое время «на этом основании русские и заметили, что Лжедмитрий... не русский по рождению и не сын великого князя, так как он не спал в полдень, как другие русские»^[34].

Подражание монастырскому образу жизни имело очень большое нравственное влияние на жизнь русского человека. В допетровской Руси, так же как и в средневековой Европе, монастыри были средоточием образованности. По количеству грамотных людей, живших за стенами

монастырей, по скоплению книг и рукописей, по любви к чтению и книгам им не было равных. «Как корабль без гвоздей не составляется, — говорили в то время, — так и инок не может обойтись без чтения книг». Переписывание книг было одним из любимейших занятий подвижников древности, и каждый монастырь стремился собрать как можно больше книг. Книги собственноручно переписывали многие русские святые. Преподобный Сергей Радонежский, не имея ни пергамена, ни бумаги, писал книги на бересте. Святой Стефан Пермский своею рукою переписал множество книг. Богатейшими книжными собраниями обладали в XVII веке Троице-Сергиев и Соловецкий монастыри. Здесь были устроены целые переписные палаты, где грамотные и обладавшие хорошим почерком иноки под диктовку одного из них переписывали одну книгу сразу в нескольких экземплярах^[35].

Хотя уровень грамотности в Московской Руси XVII века был достаточно высоким,^[36] большинство современников свидетельствуют, что обучение грамоте женщин в то время считалось чем-то неприличным. Женским делом было умение шить, вышивать, наблюдать за хозяйством, за малыми детьми и угождать мужу. Подьячий Григорий Котошихин, описывая старый московский быт, говорит, что нет обычая в Москве учить женщин грамоте, поскольку женщины «...породным разумом простоватые, на отговоры (беседу) несмышленные и стыдливые». Причина этого, по его мнению, заключалась в следующем: «...понеже от младенческих лет до замужества своего у отцов своих в тайных покоях и, опричь самых близких родственников, чужие люди никто их и они людей видеть и не могут, и потому отчего бы им быть разумными и смелыми?»^[37]

Такое положение женщины в Древней Руси во многом определялось особенностями религиозного мировоззрения. «Затворничество женской личности, — пишет И. Е. Забелин, — ее удаление от мужского общества явилось жизненным выводом тех нравственных начал жизни, какие были положены в наш быт восточными, византийскими, но не татарскими идеями»^[38].

Неравенство женщины с мужчиной подчеркивалось во всем. На общественном богослужении, в храме, женщины должны были стоять «ошуюю», то есть занимать левую сторону. Во время причастия женщина приобщалась Святых Тайн не из Царских врат, а «из других дверей, что противу жертвенника» с левой же стороны. При венчании она получала железный перстень, в то время как жениху подавали золотой. Выйдя замуж, она должна была покрыть свои волосы и носить этот покров до гроба. Даже

случайно открытые волосы считались грехом и позором. Слово «опростоволоситься», то есть открыть волосы замужней женщине, означало осрамиться образом немислимым.

Вся философия подобных воззрений на женщину, господствовавшая как в Византии, так и в Древней Руси, сконцентрирована в толковании на Кормчую книгу Козмы, епископа Халкидонского: «Пытайте ученье, которое говорит: жене не велю учить, ни владети мужем, но быти в молчании и в покорении мужу своему. Адам прежде создан бысть, потом Евва сотворена, и Господь рече: Аз тя бех сотворил равно владычествовати с мужем, но ты не умела равно господствовати, буди обладаема мужем, работающи ему в послушании и в покорении вся дни живота твоего... Да будут жены домодержецы... да покоряются во всем своим мужем, и мужи да любят жены своя, и жены да послушают во всем мужей своих, яко раб господина. Раб бо разрешится от работы от господския, а жене нет разрешенья от мужа, но егда муж ее умрет, тогда свободна есть законного посягнути... Глава есть мужеви Христос; жене глава — муж. Несть сотворен муж жены для, но жена мужа для, того для имати власть муж над женою, а не жена над мужем. Не мози, сыну, возвести главы женския выше мужни, али то Христу наругаешься. Того ради не подобает жены звати госпожею, но и лепо жене мужа звати господином; да имя не хулится в вас, но и паче славится. Кий властель под собою суца зовет господою, или кий господин зовет раба господином, или кия госпожа зовет раба господином, или кия госпожа зовет рабу госпожею?»^[39]

Вместе с тем, хотя на Руси и не было принято учить девочек грамоте наравне с мальчиками, были, разумеется, и исключения. В XVI–XVII веках матери всё чаще выступают в роли воспитательниц и учительниц своих детей. «В назидательной литературе подчеркивалось, что в деле воспитания уже само слово в устах матери должно быть достаточно действенным. Вероятно, в семьях аристократии (на которые в первую очередь и были рассчитаны тексты поучений, в том числе Домостроя) так оно и было, — пишет современная исследовательница. — Известно, сколь велика была роль образованных матерей и вообще воспитательниц в судьбах некоторых русских правителей. При отсутствии системы образования и повсеместном распространении домашнего обучения многие женщины привилегированного сословия, будучи «гораздо грамотными», «словесного любомудрия зело преисполненными», всё образование детей брали на себя»^[40].

Обучение обычно начиналось с семи лет, а первой книгой русских

отроков была Азбука. В древности Азбуки были рукописными, но уже со времен Ивана Федорова появляются печатные издания. Книга эта пользовалась большим спросом. Так, в течение только четырех лет — с 1647 по 1651 год — Московский печатный двор напечатал 9600 экземпляров Азбуки.

В первую очередь выучивали названия букв — «аз», «буки», «веди», «глаголь», «добро»... Затем приступали к слогам, или складам: сначала из двух букв — согласной и гласной, а потом из трех, усердно вызубривая «буки-аз» — «ба», «буки-есть» — «бе», «веди-аз» — «ва», «буки-рцы-аз» — «бра», «глаголь-рцы-аз» — «гра» и т. д.

«Научившись складывать из слогов слова и прочтя с толком, «не борзяся», первые фразы молитвенного содержания и молитвы, напечатанные или написанные в азбуке, постигнув все слова под титлами, ученик со страхом и благоговением приступал к чтению Часослова, той церковной книги, которая содержит в себе основные церковные молитвословия — часы, павечерницу, полунощницу, утреню, кондаки и тропари праздникам. Начало чтения Часослова было как бы переходом в следующий класс и сопровождалось особым торжеством. Накануне, дома, служили молебен. Утром, перед отходом в школу, ученику вручался горшок каши и гривна денег «в бумажке» — это он должен был передать учителю. Часослов брался на зубок, как и букварь. За ним наступала очередь Псалтыри, потом Деяний апостольских и наконец, в редких случаях, св. Евангелия»^[41].

Изучение Псалтыря знаменовало собой переход к высшей ступени обучения. Весьма высоко отзывались об этой «самой евангельской» из книг Ветхого Завета Святые Отцы. Их отзывы обычно печатали в качестве предисловия к Псалтырю. «Ни кия же бо иныя книги, — писал святой Василий Великий, — тако Бога славят, якоже Псалтырь, душеполезна есть. Ово Бога славит, со ангелы вкупе, и превозносит, и воспеваает велиим гласом, и ангелы подражает. Овогда бесы кленет и прогоняет, и велик плач, и язвы творит. За цари и князи, и за весь мир Бога молит. Псалтырию и о себе самом Бога умолиши, болши бо и выше есть всех книг».

А святитель Иоанн Златоустый на вопрос «Добро ли есть оставити Псалтырь?» отвечал так: «Уне (лучше) есть солнцу престати от течения своего, нежели оставити Псалтырь — вельми бо есть полезно, еже поучатися псалмом и почитати прилежно Псалтырь; вся бо нам книги на пользу суть и печаль творят бесовом, но не якоже Псалтырь, да не нерадим».

В любимом древнерусским человеком Прологе содержались

высказывания о Псалтыре Августина Блаженного: «Пение псалмов души украшает, ангелы на помощь призывает, демоны прогоняет; отженет тмы; содевает святыню; человеку грешному укрепление ума есть; заглаживает грехи, подобно милостыням святым; прибавляет веру, надежу, любовь; яко солнце просвещает; яко вода очищает; яко огонь опаляет; яко елей умащает; диавола постыдевает; Бога показывает; похоти телесныя угашает; и елей милосердия есть, жребий веселия, часть ангелом избанна; свирепство изгоняет, и всяку ярость утишает, и гнев сокрушает; хвала Божия непрестанная есть; подобно есть меду пение псалмов.

Песнь избранная есть пред Богом; всяк грех отженет; союз любве содружает; вся преходит, вся исполняет; вся научает, вся показывает; душу величит, уста очищает, сердца веселит, столп высок созидает; человека просвещает, чювство отверзает; всякое зло убивает; совершение показывает. Кто имать память и любовь Его, имать также и боязнь и хвалу Божию в сердца своем, не отпадет же откуду никакоже, ниже погибнет моление его, но в последняя пред Богом возрадуется. Тишина ума есть и возвестник мира, яко псалмы молят о грядущих, воздыхают о настоящих, каются о минувших, радуются о благих делах, радость Небеснаго Царствия воспоминают. Чредою бо псалмопения многажды щит взыскуется правды, противу диавольских сил; светлость истины показывает. Старцем утеха есть, юношам украшение, и ума старчество и совершение есть. Самому Христу Богу помогающу и дарующу, иже сия псалмы усты пророческими устами, и иготщательне всегда молитися научи».

Чтение книг — Часослова и Псалтыря — сопровождалось различными пояснениями со стороны учителя. Кроме того, для обучения привлекался «Азбуковник», в котором, помимо алфавита и складов, содержалось множество разнообразных сведений. Ученики обучались не только благонравию и хорошему поведению, но и получали начатки знаний из священной истории, грамматики, арифметики, геометрии, истории и даже стихосложения. Параллельно шло обучение письму по «прописям».

Школьный день обычно начинался рано, с семи утра. «Азбуковник» предлагал ученику такие правила распорядка дня, выраженные в стихотворной форме:

В дому своем, от сна восстав, умыйся,
Прилучившагося плата краем добре утрися,
В поклонении святым образам продолжися,
Отцу и матери низко поклонися.
В школу тщательно иди

И товарища своего веди;
В школу с молитвою входи,
Тако же и вон исходи...

Вместе с тем оставалось время и для досуга. Если говорить об излюбленных забавах девочек в Московии XVII века, то к ним относилось «скакание на досках», то есть катание на качелях. «Мать по дочке плачет, а дочь на доске скачет» — так поговорка того времени отразила материнские сетования на непоседливых дочерей. «Зимой и летом девочки и девушки качались на качелях и веревках, любили кататься в санях, телегах, колясках, водили хороводы, в которых нередко вместе с детьми и молодежью участвовали взрослые»^[42].

Однако у представителей образованных сословий совместный досуг матерей и детей мог приобретать и иные формы. «Обязательно уделялось время занятиям с детьми «каллиграфством», грамотой и чтением. Радость от общения с детьми во время обучения была важным элементом частной жизни женщин»^[43]. Так, например, об обучении своих детей беспокоились и протопоп Аввакум («...а девок, свет, учи, Марью да Акилину...»), и его духовная дочь княгиня Евдокия Прокопьевна Урусова.

Боярышня Феодосия Соковнина была дочерью своего века. Позднее, обращаясь к своему духовному отцу протопопу Аввакуму, Феодосия Прокопьевна скажет: «И в девках-де, батюшко, любила Богу молитися...» С юных лет ее отличала любовь к чтению «божественных писаний», творений Святых Отцов и житий святых, любовь, которая с годами развивалась всё больше и больше. В своем послании «к некоей дщери Христове» знаменитый деятель раннего старообрядчества инок Авраамий говорит, как Морозова, «сама исполнена благоразумия полезных словес», вопрошала его «о всяких тайнах», связанных со взглядами приверженцев старой веры.

«Беша бо Феодосья и Евдокея дщери мне духовныя, — пишет протопоп Аввакум, — иместа бо от юности житие воздержное и на всяк день пение церковное и келейное правило. Прилежаше бо Феодосья и книжному чтению и черплюще глубину разума от источника словес евангельских и апостольских». Весьма примечательно, что эта глубокая и искренняя религиозность молодой боярышни Феодосии Прокопьевны, впоследствии только укреплявшаяся в ее душе, не имела ничего общего с тем мрачным фанатизмом, который многие впоследствии склонны были приписывать ей под впечатлением картины В. И. Сурикова. «Бысть же жена

веселообразная и любовная (то есть любезная. — К. К.)» — так характеризовал ее Аввакум^[44].

Жизнь Соковниных шла своим обычным чередом, пока не наступил ставший судьбоносным для всей их семьи 1645 год.

Глава вторая

«Чюдно о вашей честности помыслить...»

Бысть во дни Ирода царя...

Лк. 1,5

Новое царствование

12 июля 1645 года, на память преподобного Михаила Малеина, в день своих именин, великий государь, царь и великий князь Московский и всея Руси Михаил Феодорович, как обычно, отправился к заутрене в Благовещенский собор, где находился придел, освященный в честь тезоименитого ему святого. Однако в церкви сделался с ним припадок, и назад, во дворец, его уже принесли на руках. К вечеру болезнь усилилась. Царь начал стонать, жалуясь, что внутренности терзаются, велел призвать царицу Евдокию Лукьяновну, простился с женой и благословил шестнадцатилетнего сына Алексея на царство. Обращаясь к «дядьке» (воспитателю) молодого царевича, боярину Борису Ивановичу Морозову, царь сказал:

— Тебе, боярину нашему, приказываю сына и со слезами говорю: как нам ты служил и работал с великим веселием и радостью, оставя дом, имение и покой, пекся о его здоровье и научении страху Божию и всякой премудрости, жил в нашем доме безотступно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюл его, как зеницу ока, так и теперь служи.

На следующий день, 13 июля, почувствовав приближение смерти, Михаил Феодорович исповедался и приобщился Святых Тайн, после чего, в начале третьего часа ночи, скончался. Ему едва исполнилось 49 лет. Царем и великим князем всея Руси был объявлен совсем еще юный Алексей Михайлович.

Первый государь из династии Романовых, Михаил Феодорович принял Московское царство в полном хаосе, разрухе и нищете, окруженное нападавшими со всех сторон врагами. Своему сыну он оставил могущественную, процветающую и благоденствующую державу, территория которой в период его царствования выросла на треть, дойдя на востоке до Тихого океана и границ Китайской империи, а на юге — до пределов Северного Кавказа, и была теперь сопоставима с тридцатью

территориями Франции.

По существовавшему тогда правилу, после смерти царя Михаила Феодоровича молодой царевич формально был избран на царство Земским собором из представителей духовенства, бояр, служилых, торговых «и всяких чинов людей». Но, в отличие от своих предшественников, при избрании новый царь не взял на себя никаких письменных обязательств. «А письма он на себя не давал никакого, что прежние цари даывали, и не спрашивали, потому что разумели его гораздо тихим, и потому пишется *самодержцем* и государство правит по своей воле», — отмечает Григорий Котошихин.

Этому человеку, по иронии судьбы вошедшему в историю государства Российского под именем «Тишайшего»,^[45] суждено будет сыграть роковую роль в судьбе героини нашего повествования и всего Российского государства. За тридцатилетнее правление «тишайшего» царя вряд ли найдется несколько спокойных лет без войн, бунтов и иных внутренних потрясений. Войны с Польшей и Швецией, Соляной и Медный бунты в Москве, восстания в Новгороде и Пскове, движение Степана Разина и осада Соловецкого монастыря, наконец, самая, быть может, крупная катастрофа в истории русского народа — церковный раскол и последовавшие за ним кровавые гонения на сторонников «древлего благочестия» — далеко не полный перечень потрясений этого «тишайшего» царствования. Вот уж поистине историческая несуразность: век — «бунташный», а царь — «тишайший»!

Через пять недель после смерти царя Михаила Феодоровича преставилась и его благочестивая супруга царица Евдокия Лукьяновна, так что влияние царского «дядьки», ближнего боярина Бориса Ивановича Морозова на своего венценосного воспитанника оказалось ничем и никем не ограниченным. Кроме того, он постарался удалить от двора возможных конкурентов. По сообщению придворного врача Алексея Михайловича, Самуэля Коллинса, «Борис, занимавший сан, похожий на лорда протектора, уменьшил число дворцовых слуг, прочих оставил на половинном жалованье, возвысил обычаи, назначил посланникам половинное содержание и разослал всех старых князей по отдаленным областям: Репнина в Белгород, а Куракина в Казань»^[46].

Об этом же пишет и австрийский посланник в Москве Августин Мейерберг: «Хитрый наставник Морозов, державший по своему произволу скипетр, чрезвычайно еще тяжелый для руки юноши, по обыкновенной предосторожности любимцев отправил всех бояр, особенно сильных во

дворце расположением покойного царя, в почетную ссылку на выгодные воеводства, в самые значительные области, и посадил на их место в придворные должности таких людей, которые несомненно были на стороне того, по чьей милости попали во дворец»^[47].

Несмотря на свою несамостоятельность и ту легкость, с какой он поддавался под чужое влияние — сначала Морозова, потом Никона, Артамона Матвеева и других, — новый царь был весьма высокого мнения о своей власти и о своем царском достоинстве. «Бог благословил, — говорил он, — и предал нам, государю, править и рассуждать люди своя на востоке, и на западе, и на юге, и на севере *в правду*». И действительно, никогда прежде царское самодержавие не доходило до столь абсолютного своего выражения, как во времена царствования Алексея Михайловича. Если отец его, Михаил Феодорович, был избран на русский престол Боярской думой и Земским собором из выборных представителей всей земли и во время царствования своего нередко собирал земскую думу во всех затруднительных случаях внутренних междоусобий и внешних войн, то при Алексее Михайловиче земская дума собирается всё реже и реже, пока, наконец, Земские соборы вообще не перестали созывать. Мнение бояр при совещаниях с царем всё меньше принимается в расчет. Многие дела царь решает по своей воле, единолично, или по совету с одним или двумя лицами из «ближнего круга».

«Московские знатные бояре делались временщиками при дворе царя. «Царь молодой, — говорили тогда некоторые земские люди, — смотрел все изо рта бояр Морозова и Милославского». Таким образом, *земское устроенье к покою людем*, обещанное царем Михаилом Феодоровичем на соборе 1619 года, не ладилось, или ладилось большею частью не в духе земства. Произошло даже разделение между *государевым, царственным* и народным, *земским делом*, — разделение официальное, высказанное самим царем Алексеем Михайловичем»^[48].

Особенно трепетно относился Алексей Михайлович к внешним знакам своего царского величия. Царь имел длинный и громкий титул, в котором перечислялись все подвластные ему земли. По придворным правилам требовалось, чтобы этот титул произносился во всей точности — малейшая ошибка, перестановка двух слов в титуле могла повлечь за собой страшную опалу.

Царский двор отличался при Алексее Михайловиче пышностью и блеском, вызывавшими изумление у иностранцев. Особой торжественностью обставлялись приемы иностранных послов, а также

выходы и выезды царя к народу. Вот как описывают очевидцы эти выезды: в зимнее время царь выезжал в «широких санях», двое бояр стояли по обе стороны царя, двое стояли на запятках. Вокруг саней ехал отряд стрельцов. Впереди мели путь и разгоняли народ. Встречающиеся москвичи, шли ли они пешком, или ехали верхом, должны были падать перед царем ниц. Всё это лишний раз подчеркивало ту пропасть, которая лежала между царем, превращавшимся посредством церемониала в «земного бога», и простыми смертными.

Существует еще один миф, всячески поддерживаемый историками, — об особой набожности и благочестии царя Алексея Михайловича, о его невмешательстве в церковные дела и благоговейном отношении к церковной службе. Однако, по словам того же В. О. Ключевского, на поверку оказывается, что «ни мысль о достоинстве сана, ни усилия быть набожным и порядочным ни на вершок не поднимали царя выше грубейшего из его подданных. Религиозно-нравственное чувство разбивалось о неблаговоспитанный темперамент, и даже добрые движения души получали непристойное выражение»^[49].

В этом смысле характерно свидетельство архидиакона Павла Алеппского о поведении царя Алексея во время всеобщего бдения, которое проходило в Саввино-Сторожевском монастыре в присутствии патриарха Антиохийского Макария. «Кончили службу, — пишет Павел, — и чтец начал первое чтение из жития святого, сказав по обычном начале: «Благослови, отче», как обыкновенно говорят настоятелю. В это время царь сидел в кресле, а наш учитель на другом. Вдруг царь вскакивает на ноги и с бранью говорит чтецу: «Что ты говоришь, мужик, блядин сын, «благослови, отче»?» Тут патриарх. Скажи: «благослови, владыко!» Чтец затрепетал и, пав в ноги царю, сказал: «Государь мой, прости меня!» Царь отвечал: «Бог простит тебя». Тогда чтец встал и повторил те же слова, а наш учитель произнес: «Молитвами святых отец»... Когда началось чтение, царь велел всем присутствующим сесть. От начала до конца службы он учил монахов обрядам и говорил, обходя их: «Читайте то-то, пойте такой-то канон, такой-то ирмос, такой-то тропарь таким-то гласом». Если они ошибались, он поправлял их с бранью, не желая, чтобы они ошибались в присутствии нашего владыки патриарха. Словом, он был как бы типикарием, то есть учителем типикона (уставщиком), обходя и уча монахов. Он зажигал и тушил свечи и снимал с них нагар... С начала службы до конца царь не переставал вести с патриархом беседу и разговаривать»^[50].

В другой раз, уже в пору своих натянутых отношений с Никоном, царь, возмущенный высокомерием патриарха, поссорился с ним из-за церковного обряда прямо в церкви в Великую пятницу и выбранил его обычной тогда бранью, обозвав «мужиком, блядиным сыном».

В 1660 году Алексей Михайлович писал своему двоюродному брату и ясельнику А. И. Матюшкину: «...Извещаю тебе, што тем утешаюся, што столников безпрестани купаю ежеутр в пруде; Иордань хороша сделана, человека по четыре и по пяти и по двенатцати человек, за то: кто не успеет к моему смотру, так того и купаю; да после купанья жалую, зову их ежеден, у меня купалщики те ядят вдоволь, а иные говорят: мы де норокком не успеем, так де и нас выкупают да и за стол посадят; многие норокком не успевают»^[51].

О самодурстве Алексея Михайловича свидетельствуют и другие факты. «Страдая тучностью, царь позвал немецкого «дохтура» открыть себе кровь. Почувствовав облегчение, он по привычке делиться всяким удовольствием с другими предложил и своим вельможам сделать ту же операцию. Не согласился на это один боярин Стрешнев, родственник царя по матери, ссылаясь на свою старость. Царь вспылал и прибил старика, приговаривая: «Твоя кровь дороже что ли моей? или ты считаешь себя лучше всех? «»^[52]. Когда князь Хованский был разбит в Литве и потерял почти всю свою двадцатитысячную армию, царь спрашивал в Думе бояр, что делать. Боярин И. Д. Милославский, тесть царя, не бывавший в походах, неожиданно заявил, что если государь пожалует его, даст ему начальство над войском, то он скоро приведет пленником самого короля польского. «Как ты смеешь, — закричал на него царь, — ты, страдник, худой человечиска, хвастаться своим искусством в деле ратном! когда ты ходил с полками, какие победы показал над неприятелем?» Говоря это, царь вскочил, дал старику пощечину, надрал ему бороду и, пинками вытолкнув его из палаты, с силой захлопнул за ним двери.

В первые годы своего царствования Алексей Михайлович не проявлял особого интереса к управлению вверенным ему государством, предпочитая проводить большую часть своего времени в развлечениях и удовольствиях. Знаменитое выражение «делу время, и потехе — час» было придумано именно им. Он даже изобрел особую тактику с целью избавляться от докучавших ему челобитчиков: «Да ныне государь всё в походех и на мало живет (в Москве. — К. К.), как и воцарился; а се будет поход в Можайск; а где поход ни скажут государев, и он, государь, не в ту сторону пойдет»^[53].

Как известно, любимым развлечением Алексея Михайловича была

соколиная охота, которой он посвятил даже целый трактат. К охоте его пристрастил с детских лет «дядька» Морозов. Адам Олеарий пишет: «Чтобы отвлечь внимание государя от других вельмож, которые могли бы затруднить его докучливыми и в этом возрасте еще несносными государственными делами, он очень часто увозил его на охоту и на другие увеселения»^[54]. Еще одним увлечением царя было садоводство и огородничество, причем в этой области Алексей Михайлович доходил до крайностей. «Царь, имея склонность к экспериментаторству и по-детски любя всё «диковинное», пытается завести в подмосковном хозяйстве многие южные растения, в том числе даже виноград, даже хлопчатник и даже тутовое дерево. Разумеется, затеи эти провалились — не желали расти в Подмоскovie такие культуры, как арбузы шемахинские и астраханские, финиковое дерево, миндаль и дули венгерские. Однако царь был на редкость упрям в своих начинаниях и до конца жизни мучил подчиненных своими «проектами». Всё это весьма похоже на затеи капризного избалованного барчука-«недоросля», которому ни в чем не отказывают. Мысль завести шелководство под Москвой не дает царю покоя, и он наказывает, кроме «шелковых» заводчиков, «которые б умели червей кормить и шолк делать... такова мастера сыскать, хотя дорого дать, хто б умел завести и червей кормить таким кормом, который был бы подобен туту, или ис тутового дерева бить масло и, в то масло иных дерев лист или траву обмакивая, кормить червей»... Садовнику-немцу Индрику царь предлагает совершить «дело наитайнейшее» — привить на яблоне «все плоды, какие у Бога есть». Озадаченный садовник врать не стал: «Все плоды, государь, невозможно привить». Но царь был, как известно, упрям и приказал приступить к тайному эксперименту»^[55]. Чем закончились «мичуринские» опыты царя — остается только гадать.

Боярин Морозов

«Но чюдно о вашей честности помыслить: род ваш, — Борис Иванович Морозов сему царю был дядька, и пестун, и кормилец, болел об нем и скорбел паче души своей, день и ночь покоя не имущее...»

Протопоп Аввакум. Письмо к боярыне Ф. П. Морозовой и княгине Е. П. Урусовой

По сообщению Григория Котошихина, при царе Алексее Михайловиче было всего 16 знатнейших фамилий, члены которых поступали прямо в бояре, минуя чин окольничего: князья Черкасские, князья Воротынские, князья Трубецкие, князья Голицыны, князья Хованские, Морозовы, Шереметевы, князья Одоевские, князья Пронские, Шейны, Салтыковы, князья Репнины, князья Прозоровские, князья Буйносовы, князья Хилковы и князья Урусовы^[56].

Род Морозовых происходил от знаменитого новгородца Михаила (Миши) Прушанина, дружинника князя Александра Ярославича Невского, героя Невской битвы 1240 года, который «пеш с дружиною своею натече на корабли и погуби три корабли». Не позднее 1341 года, во времена великого княжения Ивана Калиты, его потомки появились в Москве. Потомок Михаила Прушанина в шестом колене Иван Семенович, по прозвищу Мороз, стал родоначальником Морозовых. В 1413 году он построил церковь «на десятине». Его вдова Анна занимала третье место среди великокняжеских боярынь, а один из сыновей, боярин Лев Иванович, в день Куликовской битвы начальствовал передовым полком и был убит татарами. В той же битве погибли и его дядья Юрий и Федор Елизаровичи. Старший сын Ивана Мороза, Михаил, был боярином и в 1382 году исполнял весьма ответственное по тем временам поручение — ездил в Тверь к митрополиту Киприану, которого великий князь Дмитрий Донской не хотел пускать на митрополичий стол. В XV веке от Михаила Ивановича пошел ряд крупнейших боярских фамилий: Морозовы-Поплевины, Салтыковы, Шейны, Тучковы, Давыдовы, Брюхово-Морозовы и Козловы^[57]. С XIV и до конца XVII века 14 Морозовых были боярами, двое — окольничими и один — постельничим.

Боярин Борис (в крещении Илья) Иванович Морозов и его младший брат Глеб Иванович представляли собой четырнадцатое колено от Михаила Прушанина. Борис родился в 1590 году, его брат — около 1595-го. Их отрочество и юность пришлось на трагическую эпоху Смутного времени, когда на карту было поставлено само существование государства Российского. Большой вклад в дело спасения последнего православного царства внес тогда дед Бориса и Глеба боярин Василий Петрович Морозов (ум. 1630)^[58]. Будучи казанским воеводой, он в 1611 году по призыву патриарха Московского и всея Руси Ермогена во главе казанской рати пришел к Москве и присоединился к первому земскому ополчению, осаждавшему занятый польскими интервентами Кремль. Затем Василий Петрович уехал в Ярославль, где вступил в ополчение Кузьмы Минина и

князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Вместе с последним подписывал рассылаемые в разные города грамоты с призывом встать «против общих врагов польских и литовских и немецких людей и русских воров».

После избрания 21 февраля 1613 года Земским собором на царство Михаила Феодоровича Романова участники собора направили на Красную площадь особую депутацию из четырех наиболее уважаемых людей, чтобы возвестить народу о своем выборе. В состав этой депутации, объявившей с Лобного места об избрании нового царя, входил и Василий Петрович Морозов.

Через полгода, 11 июля 1613 года, Василий Петрович был одним из главных участников торжественного венчания на царство юного Михаила Феодоровича. Царь не забыл заслуг Морозовых и приблизил их ко двору. Внуки Василия Петровича Борис и Глеб уже с 1614 года были взяты «на житье» во дворец и служили спальниками царя, то есть входили в число самых приближенных к нему людей. В 1634 году Иван Васильевич и Борис Иванович Морозовы были пожалованы в бояре, при этом последний одновременно назначался «дядькой», то есть воспитателем, наследника престола — пятилетнего царевича Алексея.

Борис Иванович был человеком умным, ловким, достаточно образованным и известным своей привязанностью к иностранцам и иностранным обычаям. Так, Адам Олеарий описывает, как он провожал 30 июня 1636 года голштинское посольство в Персию:

«Едва мы немного отъехали от берега, подошел сюда молодого князя гофмейстер Борис Иванович Морозов, доставивший разных дорогих напитков и имевший при себе трубачей своих. Он попросил послов немного пристать, чтобы он мог на прощанье угостить их. Послы, однако, отказались, а так как перед этим... он некоторым из нас на соколиной охоте доставил большое удовольствие, то мы и подарили ему серебряный прибор для питья. После этого в особой маленькой лодке он довольно долго ехал рядом с нами, велел своим трубачам весело играть, а наши им отвечали. Через некоторое время он даже пересел в нашу лодку и пил с нашими дворянами вплоть до утра, после чего он, со слезами на глазах, полный любви и вина, простился с нами»^[59].

Однако далеко не все иностранцы разделяли любовь всесильного боярина к ним. Августин Мейерберг, например, характеризует Морозова в таких неллицеприятных словах, заодно высокомерно осуждая всю московскую образованность того времени: «Этого отрока (Алексея Михайловича. — К. К.) отец поручил боярину Борису Ивановичу Морозову для обучения добрым нравам и наукам; но Морозов не в состоянии был

напечатлеть на чистой скрижали отроческой души те образы, о которых у самого его не было в голове понятия. Москвитяне без всякой науки и образования, все одноклетки в этом отношении, все одинаково вовсе не знают прошедшего, кроме только случаев, бывших на их веку, да и то еще в пределах Московского царства, так как до равнодушия не любопытны относительно иноземных; следовательно, не имея ни примеров, ни образцов, которые то же, что очки для общественного человека, они не очень далеко видят очами природного разумения. Где же им обучать других, когда они сами необразованны и не в состоянии указывать перстом предусмотрительности пути плавания, пристани и бухты, когда не видят их сами?»^[60]

Морозов неотлучно находился при царевиче Алексее в течение тринадцати лет. Именно он познакомил своего воспитанника с Западом, обучал его космографии, географии, привил привычку носить европейскую одежду и вкус к хозяйственной деятельности. О самом Борисе Ивановиче в Москве поговаривали: «Борис-де Иванович держит отца духовного для прилики людской, а киевлян-де начал жаловать, а то-де знатно дело, что туда уклонился к таковым же ересям». К несчастью, посеянная и возвращенная им в царевиче любовь ко всему заграничному сопровождалась пренебрежением к своему, отечественному, пренебрежением, которое впоследствии перерастет в отторжение, а у сына царя Алексея Михайловича Петра приобретет формы поистине чудовищные, вылившись в лютую ненависть к старой Московской Руси. Даже такой благожелательно настроенный к Алексею Михайловичу историк, как В. О. Ключевский, писал: «Царь во многом отступал от старозаветного порядка жизни, ездил в немецкой карете, брал с собой жену на охоту, водил ее и детей на иноземную потеху, «комедийные действия» с музыкой и танцами, поил допьяна вельмож и духовника на вечерних пирушках, причем немчин в трубы трубил и в органы играл; дал детям западно-русского ученого монаха (Симеона Полоцкого), который учил царевичей латинскому и польскому»^[61].

Сам боярин Морозов был обладателем редчайшей по тем временам библиотеки. Здесь были книги не только духовного, но и просветительского, светского содержания, не только отечественные издания Московского печатного двора, но и западные издания, выпущенные в Париже, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Венеции, Базеле и Кракове. Среди авторов люди Античности и эпохи Возрождения, лица разных национальностей и даже вероисповеданий. Здесь были

представлены Аристотель и Цицерон, Саллюстий Крисп и Гален, папа Григорий I Великий и архиепископ Кирилл Александрийский, Аврелий Августин и Альберт Великий, Марсилиус Падуанский и Помпей Трог. «Даже по отдельным произведениям можно представить, каковы были тяга к европейской образованности, культурный уровень и интересы в боярской среде... Список книг боярина Б. И. Морозова свидетельствует об образованности высшего московского общества в середине XVII века: латинский язык в те времена был языком науки и знаний»^[62].

*

Итак, пока молодой царь развлекался, не проявляя ни малейшего интереса к управлению вверенным ему государством, во главе правительства фактически находился его «дядька» боярин Борис Иванович Морозов. Устранив конкурентов, он сосредоточил в своих руках ключевые посты в Московском государстве, а во главе важнейших приказов поставил близких ему людей.

Борис Иванович Морозов стал управлять одновременно несколькими важнейшими приказами: приказом Большой казны (главное финансовое учреждение страны), Иноземным и Стрелецким приказами. Кроме того, он управлял и приказом Новой четверти, державшим государственную монополию на питейное дело. Под начало Морозова был отдан также Аптекарский приказ, осуществлявший надзор за врачами, аптеками, приглашавший специалистов из-за границы, готовивший собственные кадры и отвечавший за медицинскую помощь в войсках. Кроме того, главной его функцией была забота о здоровье государя и его семьи. Тем самым Морозов сосредоточил в своих руках всё: и деньги, и армию, и наемных иностранных специалистов, в том числе командиров новых регулярных полков.

Кроме любви ко всему иностранному царского «дядьку» Бориса Ивановича Морозова отличала необыкновенная страсть к стяжанию и накопительству. А. Мейерберг отмечал, что у него была «такая же жадность к золоту, как обыкновенно жажда пить»: «Это был человек с природным умом и, по своей долговременной опытности, способный править государством, если бы только умел ограничивать свое корыстолюбие»^[63]. Будучи бездетным, Морозов до последнего дня жизни был озабочен расширением собственного хозяйства. Естественно, что, став во главе

правительства, он постарался еще более приумножить свои и без того немалые владения, без всякого стеснения пользуясь своим служебным положением.

Только в Москве и ближайшем Подмосковье у Морозова было как минимум четыре личные резиденции. Обширный двор его находился в самом Московском Кремле, рядом с Чудовым монастырем, в ближайшем соседстве с царским теремом. Еще одно подворье находилось в районе Воронцова Поля. После смерти Бориса Ивановича здесь, согласно его распоряжению, была устроена богадельня для бедных. Главной загородной резиденцией было село Павловское (ныне Павловская Слобода). Сады, огороды и пруды с рыбой, находившиеся в Павловском, снабжали продовольствием боярина и весь его многолюдный двор. Сюда же на званые обеды приезжали царь и близкие ко двору вельможи. Более скромная усадьба в Котельниках служила охотничьим домиком. Морозов был страстным любителем соколиной охоты, к которой, как уже выше говорилось, приучил с детских лет и царя Алексея Михайловича. В селе Городня на Волге, под Тверью, боярин построил целый деревянный замок. До наших дней дошло его описание, сделанное голландцем Николасом Витсенем. Именно здесь Морозов поселился, когда в 1648 году решил перебраться из ссылки в Кириллове поближе к столице.

Морозовские вотчины представляли собой настоящее государство в государстве. Если в 20-е годы XVII века ему принадлежал 151 крестьянский двор, то к началу 1660-х годов — уже 9100 крестьянских и бобыльских дворов в 19 уездах, то есть приблизительно 55 тысяч человек обоего пола, 45 тысяч десятин пахотной земли, 330 населенных пунктов, 85 церквей, 24 господские усадьбы плюс не подлежащие точному учету мельницы, кузницы, мастерские, металлургические и поташные заводы, пивоварни, кабаки, лавки, амбары, фруктовые сады, искусственные пруды для разведения рыбы... Всем этим обширным хозяйством управляла разветвленная вотчинная административная система, которая следила за своевременным выполнением барщинных и оброчных повинностей, чинила суд и расправу над подвластными крепостными. Виновных изощренно и жестоко пытали. Морозов предоставлял своим приказчикам почти неограниченные права, впрочем, и спрос с них был весьма строгий. Так, когда один из его приказчиков, Демид Сафонов, допустил какую-то оплошность, Морозов велел «съездить в село Бурцево и учинить ему, Демиду, наказанье, бить кнутом перед крестьяны на сходе и ему приговаривать: не дуруй и боярского не теряй».

Основная масса морозовских крестьян была занята в земледелии,

однако достаточно рано Борис Иванович сумел разглядеть новые источники доходов, недоступные большинству тогдашних землевладельцев: то были промыслы и ростовщичество. Предприимчивый боярин организовал винокуренное производство и обработку металла в знаменитых нижегородских селах Лысково и Мурашкино. Морозов был, можно сказать, прогрессивным олигархом. В 30-е годы XVII века, когда иноземные промышленники развернули в России строительство различных мануфактур, а крупнейшие отечественные землевладельцы также решили от них не отставать, он основывает железоделательные заводы. Совместно со своим партнером Андреем Винусом, голландцем, перешедшим в православие и являвшимся советником русского правительства, Морозов строит металлургический завод в Туле. Хотя эта затея и не удалась, боярин не отказался от идеи производить в России железо. В 1651 году он пригласил из-за границы мастера, который должен был организовать «рудню на мельнице» в его подмосковном селе Павловском. Несмотря на невысокое качество производимого там металла, павловские «железные заводы» продолжали работать и после смерти Морозова.

Еще одну рудню боярин основал в своем поволжском владении Лыскове, предварительно проанализировав возможную прибыльность нового завода и изучив опыт соседнего Макарьева монастыря, славившегося своей ярмаркой. В число других принадлежавших боярину производств входили полотняный «хамовный двор» в селе Старое Покровское Нижегородского уезда, где работали ткачи-поляки. Морозов также поставлял в государственную казну юфть — специально выделанную водостойкую кожу, использовавшуюся в те времена при изготовлении армейских сапог. Только в 1661 году из боярских вотчин было продано 76 пудов юфти на сумму 1156 рублей 60 алтынов.

Однако самым значительным промыслом, между прочим крупнейшим в стране, стало производство поташа. На этот товар, получавшийся путем многократного пережигания древесной золы и использовавшийся, в частности, при производстве мыла, был тогда особый спрос в Европе. Морозов занимал одно из первых мест по поставке поташа на западный рынок. Развернув столь обширное производство, он стал одним из богатейших людей в Московском государстве. Что касается его ростовщических операций, то об их масштабе можно судить по книге 1668 года. Только от восьми процентов должников вдова боярина Анна Ильинична после смерти мужа собрала заемных кабал на сумму свыше 85 тысяч рублей!^[64] Должниками Морозова были мелкие помещики и зажиточные крестьяне, иностранные купцы и знатные вельможи.

Впрочем, при таком колоссальном богатстве, которое росло не по дням, а по часам, боярин Борис Иванович не забывал и о спасении души. В 1657 году он прислал в качестве пожертвования в Соловецкий монастырь серебряными ефимками тысячу рублей (весом 3 пуда 24 $\frac{3}{4}$ фунта) и через год чистого серебра 1 пуд 10 фунтов на устройство раков для мощей соловецких чудотворцев. В 1660 году, будучи уже тяжелобольным, он принес в дар Успенскому собору Кремля огромное шестиярусное паникадило из чистого серебра работы иностранных мастеров весом в 66 пудов 16 фунтов, то есть более одной тонны. Позднее император Павел I, увидев это «восьмое чудо света», воскликнул: «Это настоящий лес!» К сожалению, паникадило безвозвратно погибло во время французской оккупации Москвы в 1812 году. И это только самые известные и крупные пожертвования Морозова. А сколько еще было им пожертвовано на другие храмы, монастыри и богадельни — наверное, мы никогда не узнаем.

«Государева радость»

Чтобы еще больше укрепить свое положение, боярин Борис Иванович Морозов решил породниться с самим царем. Родственные узы казались ему связью гораздо более прочной и надежной, чем какие-либо личные чувства привязанности его воспитанника, которые могли однажды перемениться.

В 1647 году было официально объявлено о намерении семнадцатилетнего царя жениться. Для этого, по древнему византийскому обычаю, возобновленному еще во времена Ивана III, для выбора супруги московского царя был устроен смотр невест из русских красавиц. На смотр были доставлены почти 200 девушек из боярских и дворянских семей. Цифра, нужно сказать, более чем скромная. Так, например, для выбора невесты великому князю Василию III были записаны полторы тысячи девиц, а при выборе третьей супруги для царя Иоанна Васильевича Грозного «из всех городов свезли невест в Александровскую слободу, и знатных и незнатных, числом более двух тысяч».

Особая комиссия выбрала из двухсот девиц шесть самых красивых кандидаток, которых и представили царю. Свой выбор он остановил на Евфимии Федоровне Всеволожской, по свидетельствам современников, красавице необыкновенной. Царь влюбился в нее с первого взгляда и отправил платок и кольцо в знак обручения, после чего царская невеста была помещена «на Верх», то есть в дворцовую половину царицы. «Введение невесты в царские терема сопровождалось обрядом ее

царственного освящения, — писал И. Е. Забелин. — Здесь с молитвою наречения на нее возлагали царский девичий венец, нарекали ее *царевною*, нарекали ей и новое царское имя. Вслед за тем дворовые люди «царицына чина» целовали крест новой государыне. По исполнению обряда наречения новой царицы рассылались по церковному ведомству в Москве и во все епископства грамоты с наказом, чтобы о здравии новонареченной царицы Бога молили, т. е. поминали ее имя на ектениях вместе с именем государя»^[65].

Евфимия (Афимья) Всеволожская была ровесницей царю. Отец ее Федор-Раф Родионович был небогатым касимовским помещиком, хотя род Всеволожских происходил от смоленских князей. Родоначальник Всеволожских, князь Александр-Всеволод Глебович Смоленский, был потомком Рюрика в шестнадцатом поколении. Его сыновья Дмитрий Всеволож и Иван Всеволож были воеводами в Куликовской битве.

Однако выбор молодого царя пришелся не по душе всесильному временщику, который не хотел делиться властью с новой царской родней. И Морозов решил действовать. При одевании в первый раз в царскую одежду сеньные девушки (как пишет С. Коллинс, выполняя приказ Морозова) так сильно затянули волосы на голове Всеволожской, что взволнованная и без того красавица упала в обморок при своем женихе. Явившийся придворный врач констатировал припадок падучей болезни (эпилепсии), а Морозов обвинил отца невесты в том, что тот скрыл опасный недуг дочери. Федор Родионович был подвергнут пытке, а затем со всем семейством сослан в Тюмень. Впоследствии, после женитьбы царя на Милославской, всем Всеволожским было объявлено прощение, а отец семейства был назначен воеводой сначала в Верхотурье, а затем в Тюмень. Однако вскоре он умер, а неудавшуюся царскую невесту отправили в родное поместье, откуда ей строго-настрого было запрещено куда бы то ни было выезжать. У нее было много женихов из высшего сословия, но она всем отказывала и до самой смерти берегла платок и кольцо — память о ее обручении с царем...

Алексей Михайлович был так сильно расстроен случившимся, что несколько дней не притрагивался к пище и «после того не мыслил ни о каких высокородных девицах, понеже познал о том, что то учинилось по ненависти и зависти». Боярину Морозову пришлось приложить немало усилий, чтобы разогнать царскую меланхолию охотой на медведя и волков.

Опечаленный царь отложил свою свадьбу на целый год. И вот однажды, когда страсти по Всеволожской немного улеглись, Морозов представил царю собственную кандидатуру в невесты. Ею была двадцатидвухлетняя Мария Ильинична Милославская.

«В то время жил некий дворянин, — пишет Олеарий, — по имени Илья Данилович Милославский, имевший двух прекрасных дочерей, но не имевший мужского потомства. Этот Илья неоднократно являлся к Морозову, который тогда был при дворе, как говорится factotum'ом,^[66] и прилежно ухаживал за ним, так что Морозов не только ради прекрасных дочерей, но и ради его угодливости очень его полюбил. Морозов однажды при удобном случае похвалил царю красоту обеих этих сестер и вызвал в молодом государе горячее желание видеть их. Обеих сестер повели наверх к господам сестрам его царского величества, как бы только для посещения этих последних. Когда его царское величество их увидел, то почувствовал любовь к старшей из них. Милославскому было сообщено о милости его царского величества и о том, что ему быть царским тестем. Милославский не усумнился тотчас же сказать «да» и поблагодарить за высокую честь»^[67].

Марию Ильиничну объявили государевой невестой и тут же поселили в кремлевских палатах. «Теперешняя царица, — пишет С. Коллинс, — была недурна собою и красилась драгоценными алмазами скромности, трудолюбия и благочестия. Ее венчали тайно, боясь колдовства, которое здесь на свадьбах очень обыкновенно»^[68]. Зная, что у него много недругов, которые могут помешать его замыслу, Морозов на этот раз постарался обезопасить свою кандидатку в царицы от «порчи» и интриги, наподобие той, жертвой которой стала несчастная Евфимия Всеволожская.

*

После избрания невесты был назначен день царской свадьбы — 16 января 1648 года. Все свадебные торжества, связанные с царской свадьбой, назывались в то время «государевой радостью» и праздновались с особой пышностью. Согласно установленной традиции, накануне свадьбы, вечером 15 января, царь Алексей Михайлович пришел в Успенский собор и просил у патриарха Иосифа благословения на брак с Марией Ильиничной Милославской. Получив благословение, царь со своей свитой ходил в Чудов монастырь помолиться архангелу Михаилу у раки святителя Алексия, в Вознесенский монастырь и в Архангельский собор — поклониться гробницам своих царственных предков и испросить их благословение на предстоящее великое семейное и государственное дело.

Накануне свадьбы царь устраивал стол для бояр и боярынь,

невестиных отца и матери. «И сидят царь с невестою своею за столом, а бояре и боярыни за разными особыми столами. И пред ествою царской духовник протопоп царя и царевну благословляет крестом и велит им меж себя учинить целование; и потом бояре и боярыни царя и царевну поздравляют обручався. И евши и пив, царь царевну отпустит к сестрам своим, по прежнему; а бояре и их жены розъедутся по домом»^[69].

В сам день свадьбы уже с раннего утра в Москве начиналось оживление. Отовсюду стекались в царский дворец бояре, «свадебные чины», стольники, стряпчие, дворяне московские, дьяки, полковники, головы и гости, спеша занять свои места и приступить к исполнению возложенных на них обязанностей. К свадьбе все они облачались в золотые одеяния.

В это время царь облачался «во всё свое царское одеяние, также как и при короновании». «В первой день его Государския радости... на него Государя подано платья: сорочка тафтяная с ожерельем, третьего наряду, с порты тафтяными червчатыми; поес, шолк червчат с золотом; зипун, отлас бел, у него обнизь середняя с камнем; кожух, камка бурская, по червчатой земли в цветах шолки, бел зелен да лазорев с золотом, на соболях, нашивка жемчужная, пуговицы обнизаны жемчюгом; поес золот кованой; шуба русская, бархат венецицкой, шолк червчат да зелен, круги серебряны велики репьями, в них круги золоты невелики островаты листье золото, пуговицы золоты с камнем и с жемчюги... шапка горлатная болшая, новая; колпак болшой, весь обнизан жемчюгом и с запоны, из Болшия Казны с Казеннаго Двора, отца его Государева, блаженныя памяти Государя Царя и Великаго Князя Михаила Федоровича всеа Руси; штаны, камка червчата куфтерь; башмаки шиты волоченым золотом и серебром по червчатому сафьяну; и четыги, сафьян червчат»^[70].

В царицыных хоромах происходило облачение невесты к венцу «во все царственное же одеяние, oprичь короны, а положат на нее венец девичей». Нарядив невесту, ее сажали за стол. Рядом с нею садились все чиновные жены. Перед ними стояли особые люди со свечами, караваем и ширинками.

Когда все прибывшие были готовы и располагались по своим местам, об этом тотчас же докладывали царю, после чего начинался торжественный выход жениха из хором в Золотую палату. «И как о том царю ведомо объявится, что они со всем чином в полату пришли и устроилися, и царь скажет духовнику своему протопопу, что ему итти час, и духовник начнет говорить молитву, а царь и чин свадебной молятся образам; и по молитве духовник свадебной чин и царя благословляет крестом, и дружки и

свадебной чин благословляются у отца и матери, которые устроены за царского отца и мать, ехать по новобрачную невесту; и потом и царь благословляется ж, и отец и мать дают благословение словом «благослови Бог!», и потом пойдут протопоп, и чин, и царь; а перед ними идут коровайники, несут хлеб», — сообщал Котошихин^[71].

Место посаженого отца на царской свадьбе занимал сам боярин Борис Иванович Морозов. Посаженой матерью была морозовская сноха — первая супруга его младшего брата Глеба Ивановича — Авдотья Алексеевна. Дочь князя Алексея Юрьевича Сицкого, она приходилась Романовым близкой родственницей — за ее двоюродным дедом была замужем родная тетка царя Михаила Феодоровича, сестра патриарха Филарета Евфимия Никитична. Кроме того, прабабушка Авдотьи Алексеевны — Анна Романовна Захарьина-Юрьева (в замужестве княгиня Сицкая) — была старшей сестрой самой царицы Анастасии Романовны, первой жены царя Иоанна Васильевича Грозного.

«А как приходят к той палате, где устроено, и протопоп учнет свадебной чин, и царя благословляти крестом, и входит наперед в полату протопоп, и чин, и царь; а царевна в то время и ее чин стоят. А вшед, протопоп, и чин, и царь молятся образам, и потом дружки и поддружья у отца и матери невестины благословляются новобрачному и дочери их садятся на место; и они их благословляют словом же. А как царь и царевна сядут на место на одной подушке, и потом сядут и бояре и весь свадебной чин по своим местом за столы, и учнут пред царя и пред царевну, и пред свадебной чин, носити есть столники и ставити ествы по одному блюду на стол, а не все вдруг; и в том столе, где сидят бояре и боярыни, ставитца одной ествы блюд по пяти, потому что иные сидят от первых людей один от другого вдали; а как еству испоставят, и в то время встав духовник начнет пред ествою говорить молитву: «Отче наш», а соверша молитву, садятся по местом; и потом дружки и поддружья учнут благословлятися у отца ж и у матери новобрачной косу чесати, а протопоп и свадебной чин начнут ести и пити, не для того чтоб досыта наестся, но для чину такого, а пред царя есть ставят и розрезавают и отдают с стола, а он не ест; и в то ж время как у новобрачной косу рощешут, дружки благословляются у отца и у матери новобрачную крутити и они потомуж благословляют словом; а как начнут косу чесати и укручивати, и в то время царя и царевну закроют покровом и держат покров свещники, а косу розчесывают свахи и укручивают; да в то ж время пред царем стоит на столе, на болшом блюде, хлеб да сыр, и тот хлеб и сыр начнут резать и класть на торелки, да сверх того хлеба и сыра на те ж торелки кладут дары,

ширинки от новобрачной, по росписи, и подносят наперед священнику да отцу и матере невестиным да тысецкому, потом царю и поезжанам и сидячим бояром и боярням, и дружки ж себе и свахам и конюшему и дворецкому и чином их, по росписям же; а укрутя новобрачную покроют покровом тем же, которым были закрыты, а на том покрове вышит крест, а венец девичей бывает снят и отдан в сохранение; так же и к царскому отцу и матере, и к царевнам, и к сидячим бояром и боярням, хлеб и сыр и дары посылают с невестиным дружкой, а к патриарху белого полотна скол ко доведется; бывают те дары ширинки тафтяные белые, шиты кругом золотом и серебром, около кисти золото с серебром, а иные золото и серебро с шолком. И после того окручения, из за третьи ествы протопоп встав из за стола учнет говорити по обеде молитву, и потом дружки у отца и у матери учнут благословлятися царю с царевною и с поездом итти к венчанью, и они их благословляют; и потом отец и мать царя и новобрачную благословляют образами окладными, обложены золотом с камнем, и с жемчюгом, и потом отец и мать дочь свою взяв за руку отдают царю в руки и прощаются»^[72].

После родительского благословения начинался торжественный и великолепный выход царя к венчанию, сопровождавшийся колокольным звоном по всей Москве. В это время начинали «во всех церквах Бога молити о здоровье царском и о царевнине и о сочетании законного браку». Венчание происходило в том храме, где служил царский духовник Стефан Внифантьев, то есть в Благовещенском соборе Кремля. В собор жених и невеста отправлялись вместе. Впереди них шли стряпчие и устилали путь красными и желтыми камками. У Красного крыльца жениха ожидал конь, на котором сидел конюший, для невесты были приготовлены сани, в которых сидел ясельничий. Когда царь сходил с крыльца, к нему подвели коня, и он верхом отправился в собор. Впереди верхами ехали поезжане в большом количестве, дружки и близ царя — тысяцкий. Конюший со своим чином шел пешком за государем. Здесь же по сторонам шли дети боярские, оберегавшие путь, чтобы никто не перешел между государем и царевной. Невеста ехала в санях, обитых золотыми атласами. Напротив нее в тех же санях сидели все четыре свахи. За санями, для береженья, шел ясельничий со всем своим чином.

«А вшед в церковь царь и царевна станут среди церкви, блиско олтаря, и постелют под них на чом стояти объяри золотной скол ко доведется, и с одну сторону царя держат под руку дружка, а царевну сваха; и протопоп устрояся во одеяние церковное, начнет их венчати по чину, и в то время царевну открывают; и возлагает на них протопоп венцы церковные, а по

венчании подносит им из единого сосуда пити вина французского красного, и снимет с них церковные венцы, и возложат на царя корону. И потом протопоп поучает их, как им жити: жене у мужа быти в послушестве и друг на друга не гневаться, разве некия ради вины мужу поучити ея слехка жезлом, занеже муж жене яко глава на церкви, и жили бы в чистоте и в богобоязни, неделю, и среду, и пяток, и все посты постили, и Господския праздники и в которые дни прилучится празновати Апостолом и Еуангелистом и иным нарочитым святым греха не сотворили, и к церкви б Божии приходили и подаяние давали, и со отцем духовным спрашивались почасту, той бо на вся блага научит. А соверша протопоп поучение, царицу возмет за руку и вдает ю мужеву, и велит им меж себя учинити целование, и по целовании царицу покроят; и потом протопоп и свадебной чин царя и царицу поздравляют венчався»^[73].

После венчания свадебный поезд под колокольный звон возвращался в Грановитую палату, где начинался свадебный пир. Царь с царицей садились за стол, на котором теперь были выставлены яства, а гостей обычно рассаживали в соответствии с заранее составленной росписью. Однако на этот раз царь Алексей велел быть «без мест», то есть запретил вести обычные в те времена местнические счеты. Это было сделано в связи с тем, что родня царицы Марии высокими чинами не блистала, а по своему теперешнему родству с царствующим домом должна была занимать высокие места во время свадебной церемонии, а также за пиршественным столом.

Милославские относились к рядовому дворянству. Предок Милославских Милослав Сигизмундович выехал в 1390 году из Великого княжества Литовского в свите литовской княжны Софьи Витовтовны, невесты великого князя Московского Василия I Дмитриевича. Его внук Терентий Федорович Корсаков первым стал писаться «Милославским». В течение XV–XVII веков Милославские не занимали сколько-нибудь выдающихся должностей, служа дьяками и рындами. Дед Марии Ильиничны, Данила Иванович, служил воеводой, а отец, Илья Данилович, носил скромный чин стольника. Семья жила небогато. Передавали, что Мария в детстве сама ходила в лес по грибы, а отец торговал вином с иностранными купцами. Но случай изменил всё. После царской свадьбы Илья Данилович тут же был пожалован в окольные, а через несколько дней и в бояре. Представители другой ветви рода, Иван Андреевич и Иван Михайлович, также позднее получили боярский чин.

Царские свадьбы обыкновенно праздновались как можно более пышно, шумно и весело, чтобы всё на них пело, плясало, пило и

веселилось. Так, на свадьбе царя Михаила Феодоровича весь день и ночью на царском дворе играли в сурны и трубы и били по накрам — керамическим литаврам. Однако Алексей Михайлович «на своей государевой радости накрам и трубам быти не изволил». Сделал он это под влиянием своего духовника. «Честный оный протопоп Стефан и молением и запрещением устрой не быти в оно брачное время смеху никаковому, ниже кощунам, ни бесовским играциям, ни песнем студним, ни сопельному, ни трубному козлогласованию». Хотя это «моление и запрещение» царского духовника шло вразрез с вековыми свадебными обычаями, царская свадьба совершилась «в тишине и страхе Божии, и в пениих и песнях духовных». Вместо «студных песней» на ней пели «строчные и демественные большие стихи, также и триодей драгия вещи», то есть различные церковные песнопения.

На свадебном пиру царь с царицей оставались недолго. Обычно после третьей смены блюд («как принесут еству третью, лебеда, и поставят на стол») они в сопровождении тысяцкого, дружек и постельничих отправлялись в опочивальню, куда им приносили на скатерти блюда с царского стола, включающие традиционную жареную курицу. Перед опочивальней посажена мать, боярыня Авдотья Алексеевна Морозова, одетая в соболью шубу навыворот, осыпала молодых хмелем. «Оберегал сенник» ее супруг, спальник Глеб Иванович Морозов вместе с царским тестем Ильей Даниловичем Милославским. В опочивальне возвышалась громадная постель, увенчанная балдахинном, сооружение которой проводилось по особым правилам. Сначала укладывались ржаные снопы, покрываемые коврами, затем перины, накрытые шелковой простыней, изголовье, подушки, пуховые и меховые одеяла, специальное покрывало. Постель получалась высокой, поэтому перед ней ставилась скамеечка. В ноги на постель дополнительно могли уложить царскую шубу.

После ухода царя и царицы свадебный пир продолжался под руководством тысяцкого, но на нем оставались только мужчины. Женщины с общего пира уходили вслед за молодыми, и для них накрывались отдельные столы в царицыных палатах.

«А как начнет царь с царицею опочивать, и в то время конюшей ездит около той полаты на коне, выня мечь наголо, и блиско к тому месту никто не приходит; и ездит конюшей во всю ночь до света. И испустя час боевой, отец и мать, и тысецкой, посылают к царю и царице спрашивати о здоровье. И как дружка приходя спрашивает о здоровье, и в то время царь отвещает, что в добром здоровье, будет доброе меж ими совершилось; а ежели не совершилось, и царь приказывает приходить в другой ряд, или и в

третье; и дружка потомуж приходит и спрашивает. И будет доброе меж ими учинилось, скажет царь, что в добром здоровье, и велит к себе бытьи всему свадебному чину и отцем и матерем, а протопоп не бывает; а когда доброго ничего не учинится, тогда все бояре и свадебной чин розьедутца в печали, не быв у царя»^[74].

После всех положенных церемоний царь приказывал звать в сенник посаженных отца с матерью, тысяцкого, дружек, свах и ближних бояр. В сенях перед сенником бояре кормили царя, а в сеннике боярыни кормили молодую царицу. На свадьбе царя Алексея Михайловича «в те поры подавано было к государю в сенник квас в серебряной дощатой братине, да с кормового дворца приказных еств: попорок лебедин под шафранным взваром, ряб окрашиван под лимоны, потрох гусиный; да государыни царице подавано приказных еств: гусь жаркий, пороса жаркое, куря в калье с лимоны, куря в лапше, куря во щах богатых; да про государя и про государыню подаваны хлебевные ества: перепеча крупичатая в три лопатки недомерок, четь хлеба ситного, курник подсыпан яицы, пирог с бараниной, блюдо пирогов кислых с сыром, блюдо жаворонок, блюдо блинов тонких, блюдо пирогов с яицы, блюдо сырников, блюдо карасей с бараниной». После угощения молодых гости продолжали пир в Грановитой палате.

Свадебные торжества продолжались еще три дня и окончились, по благочестивой традиции, посещением молодыми московских монастырей, кормлением и раздачей милостыни чернецам, а также хождением по богадельням и тюрьмам с щедрой раздачей в них царской милостыни.

Царский брак оказался относительно удачным, хотя не всё в нем складывалось гладко. Мария Ильинична была примерной женой и матерью. Она прожила с Алексеем Михайловичем двадцать лет и родила ему 13 детей: пятерых сыновей и восемь дочерей. Но если девочки в царской семье рождались, как правило, крепкими и здоровыми, наследуя материнскую породу, то мальчики, наоборот, отличались болезненностью и долго не жили. «Он надеялся, что, посредством его наследников, верховная власть в Московском царстве будет непрерывно продолжаться в его потомстве, и таким образом это царство утвердится на многих опорах; кроме того, имел также виды, внушенные ему Польской республикой, дать когда-нибудь короля из своего Дома этой соседней стране, — писал А. Мейерберг. — Ему захотелось, чтобы эти надежды поддерживало многоплодие его брака: оттого-то и крушило его сильное горе, что, ожидая наследника мужского пола от своей жены, при многократной ее беременности, всё видел разрушение своих надежд, так как она всегда разрешалась младенцами женского пола. Он не шутя было объявил ей

пострижение и изгнание в монастырь, по примеру получившей разводную от Василия Саломеи^[75], как будто она в состоянии вылепить зародыш, зачатый в ее чреве, по своему желанию, точно хлебница в пекарне тесто в разные формы хлеба, если бы в восьмые роды не разрешилась мальчиком...»^[76]

*

Через десять дней после царской свадьбы женился и боярин Борис Иванович Морозов. Сам будучи уже немолодым вдовцом (ему было 58 лет), царский «дядька» выбрал в супруги младшую сестру царицы — Анну Ильиничну Милославскую. Тем самым он сделался царским свояком. 27 января 1648 года он явился к государю челом ударить «на завтра» своей свадьбы и был благословлен от царя образом и пожалован богатыми дарами. В числе прочего по случаю свадьбы Алексей Михайлович подарил своему любимцу роскошную карету. Салон экипажа был обит золотой парчой с подкладкой из дорогих сибирских соболей, а ободья колес и прочие внешние украшения выполнены из чистого серебра.

Однако брак боярина Бориса Ивановича оказался несчастливым. «Анна, — пишет С. Коллинс, — была им не совсем довольна, потому что он был старый вдовец, а она здоровая молодая смуглянка; и вместо детей у них родилась ревность, которая произвела кожаную плеть в палец толщины. Это в России случается часто между вельможными супругами, когда их любовь безрассудна или водка слишком шумит в голове»^[77].

Всё вышло как в популярной в XVII веке «Притче о старом муже»: «И рече старый муж ко девице: «Пойди за меня, девица: носить тебе у меня есть что, слуг и рабынь много, и коней и партищ драгоценных много, есть тебе у меня в чем ходити, пити, и ясти, и веселитися... А в дому моем над рабы государенюю будеши, и станет, моя миленкая, на многоценных коврах сидеть, пити, и ясти, и веселитися со мною неизреченна многоразличные ествы. Не дам тебе, миленкая, у печи от огня рукам твоим упечися и ногам твоим о камень разбитися. Сядет, моя миленкая, в каменной полате, и начну тебя, миленкая, согривати в теплой бане, по вся дни, украшу тебя, миленкая, аки цвет в чистом поле, и аки паву, птицу прекрасную, аки Волгу реку при дубраве, и упокою тя во всем наряде. И сотворю тебе пир великий и на пиру велю всякую потеху играти гуселником и трубником и пляску, и начнут тебя тешить и начнет, моя миленкая, всем моем именем владети.

Не дам тебе, миленкая, оскорбети твоему по вся дни животу твоему». И рече девица ко старому своему мужу: «О, безумный и несмысленный старый старик, матерой материк! Коли меня, прекрасную девицу, поймет за себя, храбрость твоя укротитца, и образ твой померкнет, и седины твои пожелтеют, тело твое почернеет, и кости твои иссохнут, и уды твои ослабеют, и плоть твоя обленитца, и не угоден будеши младости моей и всему моему животу не утеха будеши. Ум твой от тебя отидет, и учнеш ходити, аки лихая понурая свинья, на добро и на любов не помыслит, и уды твои ослабеют, и плодскому моему естеству не утеха будеши; тогда аз, девица, от распадения, впаду в преступление со младым отроком, с мол отцом хорошим, а не с тобою, старым мужем, с вонючею душою, с понурою свиньею... Аще ли одолееши отца мое во и мать мою многоценными дарами, и отец мой и мати моя выдадут меня за тебя по неволи, и яз стану ходить не по твоем докладу, и слова твоего не послушаю и повеления твоего не сотворю. Аще велиши зделати кисло, аз зделаю пресно, а мякова тебе у меня хлеба не видать, всегда тебе сухая крома глотать, з закалом, зубам твоим пагуба, скорыньям твоим пагоба ж и кончина, а телу сухота, а самому тебе, старому смерду, исчезновение, а младому отроку моему, молотцу хорошему и советнику, мяхкия крупичетые колачики здобныя пироги, и различныя овощи, да сахар на блюде, да вино в купце, в золотом венце, да сверх тово ему мяхкая хорошая лебединая перина, да чижевое зголовье, да соболиное одеяло, а тебе у меня, старому смерду, спать на полу или на кутнике на голых досках с собаками, а в головы тебе из-под жернов дресваной камень...»»^[78].

По подозрению в «слишком коротком знакомстве» со своим домом одержимый ревностью боярин Морозов даже сослал одного англичанина, Вильяма Барнсли, в Сибирь, откуда тот уже никогда не вернулся.

Породнившись с царем, Морозов вывел на важнейшие придворные должности своих ставленников: семьи Милославских, Ртищевых, Соковниных, Хитрово. Новые родственники царя — Милославские — получили высокие чины: царский тесть Илья Данилович 2 февраля 1648 года, на праздник Сретения Господня, был пожалован из окольныхчих в бояре, а 12 февраля из дворян в окольныхчие пожалован его троюродный брат Иван Андреевич Милославский.

С возвышением Милославских, как уже говорилось, приблизились ко двору и Соковнины, приходившиеся родственниками царице Марии Ильиничне. Уже через месяц после царской свадьбы Прокопий Федорович — во дворецких у царицы. Тем самым он занял весьма важную и влиятельную должность в домашнем царском обиходе. В обязанности

царицыного дворецкого входило ни больше ни меньше, как сидеть за поставцом царицыного стола, то есть отпускать для ее особы «ествы». Такое можно было доверить только очень близкому, проверенному человеку. В чине окольничего он призывается к посольским делам и в 1652 году находится третьим в ответе у литовских послов с титулом наместника Калужского. Сын его Федор также не был обделен чинами: после смерти отца он управляет мастерской царицы, садится за царицын поставец и в 1670 году получает думное дворянство.

После царской свадьбы двоюродная племянница Прокопия Федоровича Соковнина Анна Михайловна Вельяминова (урожденная Ртищева) стала кравчей и дворовой боярыней царицы Марии Ильиничны. Видимо, вскоре после свадьбы взяты были «на Верх» и молодые дочери Соковнина — Феодосия и Евдокия.

Соляной бунт

Не прошло и нескольких месяцев после царской свадьбы, как в Москве вспыхнуло народное восстание. Недовольство было вызвано правлением всемогущего царского «дядьки». Чтобы поправить расстроенные финансы, правительство боярина Морозова постоянно увеличивало прямые и косвенные налоги. Еще в 1646 году были введены пошрины на соль, в результате чего продукты значительно поднялись в цене, стали недоступными населению, а у торговцев гнил залежавшийся товар. Хотя в 1647 году соляной налог отменили, но, чтобы возместить потери, решили сократить жалованье служилым людям. Покровительство недостойным родственникам, введение новых податей и откупов вызвали среди жителей Москвы возмущение против Морозова и привели к Соляному бунту 1648 года.

Вот как описываются события тех дней в русских летописях: «7156-го (1648 года) июня в 2 день праздновали Стретению чудотворных иконы Владимирския, потому что было мая 21 число царя Константина и матери его Елены в самый праздник в Троицын день. А государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Руси был втепоры у праздника у Живоначальных Троицы в Сергееве монастыре и с царицею, а без себя государь праздновати Владимирской иконы не велел, а от Троицы государь пришел июня в 1 день. И на праздник Стретения чудотворных иконы Владимирския было смятение в мире, били челом всею землею государю на земсково судью на Левонтья Степанова сына Плещеева, что от нево в

миру стала великая налога и во всяких разбойных и татиных делах по ево Левонтьеву наученью от воровских людей напрасные оговоры. И государь царь того дни всей земле ево Левонтья не выдал. И того ж дни возмутились миром на ево Левонтьевых заступников, на боярина и государева царева дятку на Бориса Иванова сына Морозова, да на окольников на Петра Тихонова сына Траханиотова, да на думново дьяка на Назарья Иванова сына Чистово и иных многих единомыслеников их, и дома их миром розбили и розграбили. И самово думново дьяка Назарья Чистого у нево в дому до смерти прибили.

И июня в 3 день, видя государь царь такое в миру великое смятение, велел ево земсково судью Левонтья Плещеева всей земле выдать головою, и его Левонтья миром на Пожаре прибили ослопьем. И учели миром просити и заступников ево единомыслеников Бориса Морозова и Петра Траханиотова. И государь царь высылал на Лобное место с образом чудотворныя иконы Владимирския патриарха Иосифа Московскаго и всея Руси, и с ним митрополит Серапион Сарский и Подонский, и архиепископ Серапион Суждальский, и архимандриты, и игумены, и весь чин священный. Да с ними ж государь посылал своего царскаго сигклиту бояр своих: своего государева дядю боярина Никиту Ивановича Романова, да боярина князя Дмитрия Мамстрюковича Черкасково, да боярина князя Михаила Петровича Пронсково, и с ними много дворян, чтоб миром утолилися. А заступников Левонтьевых Бориса Морозова и Петра Траханиотова указал де государь с Москвы разослать, где де вам миряном годно, и впредь де им Борису Морозову и Петру Траханиотову до смерти на Москве не бывать и не владеть и на городех у государевых дел ни в каких приказех не бывать. И на том государь царь к Спасову образу прикладывался, и миром и всею землею положили на ево государскую волю.

И того ж дни те прежреченные Борис Морозов и Петр Траханиотов научением дьявольским разослали людей своих по всей Москве, велели всю Москву выжечь. И они люди их большую половину Московского государства выжгли: от реки Неглинны Белой город до Чертольския стены каменново Белова города, и Житной ряд и Мучной и Солодяной, и от тово в миру стал всякой хлеб дорог, а позади Белова города от Тверских ворот по Москву реку да до Землянова города. И многих людей из зажигальщиков переимали и к государю царю для их изменничья обличенья приводили, а иных до смерти побивали.

И июня в 4 день миром и всею землею опять за их великую измену и за пожег возмутились и учели их изменников Бориса Морозова и Петра

Траханиотова у государя царя просить головою. А государь царь тое ночи июня против 4 числа послал Петра Траханиотова в ссылку, на Устюг Железной воеводою. И видя государь царь во всей земле великое смятение, а их изменничью в мир великую досаду, послал от своего царьского лица окольниково своего князь Семена Романовича Пожарсково, а с ним 50 человек московских стрельцов, велел тово Петра Траханиотова на дороге сугнать и привести к себе государю к Москве. И окольников князь Семен Романович Пожарской сугнал ево Петра на дороге у Троицы в Сергееве монастыре и привез ево к Москве связана июня в 5 день. И государь царь велел ево Петра Траханиотова за ту их измену и за московской пожег перед миром казнить на Пожаре. А тово Бориса Морозова государь царь у миру упросил, что ево сослать с Москвы в Кирилов монастырь на Белоозеро, а за то ево не казнить, что он государя царя дятка, вскормил ево государя. А впредь ему Борису на Москве не бывать и всем роду ево Морозовым нигде в приказах у государевых дел, ни на воеводствах не бывать и владеть ничем не велел. На том миром и всюю землею государю царю челом ударили и в том во всем договорилися. А стрельцов и всяких служивых людей государь царь пожаловал, велел им свое государево жалованье давать денежное и хлебное вдвое. А которые погорели, и тем государь жаловал на дворовое строенье по своему государеву рассмотренью. А дятку своево Бориса Морозова июня в 12 день сослал в Кирилов монастырь под начал»^[79].

Иностранные источники сообщают нам некоторые дополнительные подробности произошедшего восстания. Так, шведский резидент писал королеве Кристине о начале событий в Москве: «16 человек из числа челобитчиков были посажены в тюрьму. Тогда остальные хотели бить челом супруге его царского величества... за ней шел Морозов, челобитье не было принято, и просившие разогнаны стрельцами. Крайне возмущенный этим народ схватился за камни и палки и стал бросать их в стрельцов. При этом неожиданном смятении супруга его царского величества спросила Морозова, отчего происходит такое смятение и возмущение, почему народ отваживается на такие поступки и что в данном случае нужно сделать, чтобы возмутившиеся успокоились. Морозов отвечал, что это — вопиющее преступление и дерзость, что молодцов следует целыми толпами повесить».

На следующий день в Кремль ворвалась огромная толпа москвичей. Когда царь сошел с крыльца, ему стали жаловаться на притеснения. Восставших было столько, что стрелецкие полки не смогли сдержать их натиска. Да и сами стрельцы, тесно связанные с городскими жителями, не хотели останавливать восставших. Царь сам вышел на крыльцо и пытался

уговаривать народ. По сведениям того же шведского резидента, стрельцы не подчинились приказу Морозова и не стали стрелять в толпу.

Автор одной из самых авторитетных книг о московских делах середины XVII века Адам Олеарий так передавал ход событий: «Когда тут боярин Борис Иванович Морозов вышел на верхнее крыльцо и начал, именем его царского величества, увещевать народ не требовать этой выдачи, то в ответ раздались крики: «Да ведь и тебя нам нужно!» Чтобы спастись от лично ему угрожавшей опасности, Морозов должен был вскоре уйти. После этого чернь напала на дом Морозова, великолепный дворец, нахолившийся в Кремле, разбила ворота и двери, всё изрубили, разбили и растащили, что здесь нашлось, а чего не могли унести с собою, попортили. Одного из главных слуг Морозова, решившегося противостоять им, они выбросили из окна верхней комнаты, так что он остался лежать мертвым на месте^[80]. Они, правда, застали в доме жену Морозова, но не нанесли ей никакого телесного вреда, а сказали лишь: «Не будь ты сестра великой княгини, мы бы тебя изрубили на мелкие куски»... Между прочими драгоценными вещами они разбили и карету, которая была снаружи и изнутри обита золотой парчой, с подкладкой из дорогих соболей; ободки колес и всё, что обыкновенно делается из железа, у этой кареты было сделано из толстого серебра... Жемчуг меряли они пригоршнями, продавая полную шапку за 30 талеров, а чернобурую лисицу и пару прекрасных соболей — за полталера. Золотую парчу они резали ножами и распределяли между собой»^[81].

Восставшие разорили дома нескольких бояр и забили палками дьяка Назария Чистова, с именем которого связывался соляной налог. Затем снова ворвались в Кремль и требовали выдать ненавистных бояр на расправу. Во дворце решили пожертвовать несколькими боярами. Два начальника приказов — Леонтий Плещеев и Петр Траханиотов — были выданы восставшим и растерзаны перед кремлевскими теремами.

Но народ упорно требовал выдачи царского любимца — Бориса Морозова. Родственники царя угощали вином и медом стрельцов, охранявших Кремль, и московских купцов; духовные лица усовещали озлобленный народ. Царь в один из дней вышел к народу и обещал правосудие, льготы, уничтожение монополий и милосердие. Со слезами на глазах он просил пощадить своего воспитателя. Трижды он высылал на переговоры к народу патриарха Иосифа. Наконец сам «вышел к народу с обнаженной головой и со слезами на глазах умолял и ради Бога просил их успокоиться и пощадить Морозова за то, что он оказал большие услуги его

отцу».

В конце концов Алексей Михайлович обещал отставить Морозова от всех государственных дел. Пользуясь затишьем, Морозова тайно вывезли из Москвы в Кирилло-Белозерский монастырь. В письмах, посланных монастырским властям, царь называл боярина своим отцом, воспитателем, приятелем, своей второй натурой. Письма полны опасений за безопасность Морозова. Царь требовал, чтобы монастырские власти тщательно охраняли Морозова, грозил опалой за оплошность и обещал за всё добро, что увидит боярин в Кириллове монастыре, пожаловать их так, что «от зачала света такой милости не видывали».

В конце августа Алексей Михайлович счел, что опасность миновала, народ в городах и особенно в Москве поуспокоился и Морозову можно переехать поближе к столице. Он написал письмо архимандриту Кириллова монастыря: «Как сия грамота придет, и вы известите приятелю моему и вместо отца моего родново боярину Борису Ивановичу Морозову, что время ему, воспитателю моему, ехать в деревню в Тверскую ево... А как приедет ко мне Борис Иванович, и что скажет про вас, по тому и милость моя к вам будет; и печать моя у сей грамоты, и вам бы верить сей грамоте, и отпустить ево с великою честью и з бережатыми, и чтобы берегли ево здоровья накрепко»^[82]. Морозов выехал в свою тверскую вотчину, а оттуда вскоре в село Павловское. В октябре 1648 года он уже был в столице на крещении царского первенца, царевича Димитрия Алексеевича.

Несмотря на то что боярин Морозов был отстранен от правления после Соляного бунта, царь продолжал с ним советоваться. А. Мейерберг пишет, что Морозов «хотя после народного восстания против него, по-видимому, и поупал в своем могуществе, однако ж, сохраняя силу более из дружеской приязни к нему государя, нежели по наружному виду, всегда влиятельный в его душе, он никогда не испытывал утраты его расположения. Искренность этой дружбы Алексей дал ему почувствовать многими опытами в то время, когда расстроенное здоровье не позволяло ему выходить из дома. Потому что хоть он и удалился от гражданских должностей, но в увядавшем теле сила ума и здравого суждения были еще в полном цвете: оттого-то великий князь часто и навещал его тайком и советовался с ним о важнейших делах»^[83].

Вместе с тем события Соляного бунта оставили неизгладимый отпечаток в памяти молодого царя и повлекли за собой серьезные изменения в его политике и в его отношении к народу. Городские восстания, вызванные ростом косвенных налогов, в 1648–1650 годах

прокатились по всей стране, затронув и Сибирь. Правительство вынуждено было пойти на уступки, взимание недоимок было прекращено. «Московские события заставили Алексея Михайловича задуматься о своей роли и месте в управлении государством, — пишет современный историк. — Отныне не одно чистосердечное покаяние, но и благочестивые монаршие дела, которые никому нельзя передоверять, станут всё более занимать Тишайшего. Оказалось, что для того, чтобы повзростеть, чтобы начать править, а не царствовать, нужны не женитьба и не рождение сына-наследника, а сильное потрясение, способное разрушить непоколебимое благодущие. Это было первое, самое явное следствие московских событий для Алексея Михайловича»^[84]. Как сообщал шведский агент Поммеренинг своему правительству, теперь царь стал посвящать один час перед обедом для разбора челобитных своих подданных. Что ж, нашелся, наконец, свой час и делу...

По приговору царя с Боярской думой в июле 1648 года особой комиссией из пяти лиц во главе с князем Никитой Ивановичем Одоевским было поручено составить проект нового Уложения. 1 сентября 1648 года в Москве собрался Земский собор из «выборных людей разных чинов государства», который в 1649 году принял знаменитое Соборное уложение.

Соборное уложение 1649 года представляло собой новый для России уровень законодательной практики. Оно включало специальные статьи, регулировавшие правовое положение отдельных социальных групп населения. Был увеличен поместный оклад служилых людей, введены дополнительные надельные оскудевшим помещикам. Крепостное состояние крестьян, по Уложению, утверждалось наследственным. Если раньше помещику было предоставлено лишь 10 лет на розыск беглых крестьян, так что те из них, кому удавалось укрыться в течение этого срока от жестокого и несправедливого господина, могли спокойно доживать свой век у другого помещика, то теперь сыск беглых крестьян объявлялся бессрочным. Таким образом, был завершён процесс законодательного оформления крепостного права. Для укрепления власти и авторитета самодержца в Уложение были введены статьи, по которым даже «умысел» на здоровье, жизнь и честь государя был возведён в ранг тягчайшего государственного преступления. В дальнейшем Соборное уложение пополнялось «новоуказными статьями» — «о татевных, разбойных и убийственных делах», «о вотчинах и поместьях», о смертной казни за самовольный выход тяглых людей из посада и др.

В главе «О богохульниках и о церковных мятежах» Уложение ужесточило кары против еретиков — вплоть до сожжения. Хотя сожжение

богохульников и еретиков на деле уже употреблялось ранее и в Новгороде, и в Москве, в государственные законы оно до Уложения не вносилось, то есть было все-таки мерой экстраординарной. Вместе с тем Уложение поставило духовенство под юрисдикцию светского суда по гражданским делам. Тем самым ограничивалась компетенция церковного суда. Судебные дела духовных лиц (исключая собственно церковные дела) были переданы светским судебным учреждениям и созданному в 1650 году Монастырскому приказу, который занимался также определенными административными вопросами жизни Церкви. Статьи Уложения 1649 года не распространялись лишь на патриарха и находящихся в его вотчинах людей, которых судил сам патриарх.

В целом в царствование Алексея Михайловича продолжалось дальнейшее укрепление самодержавной, ничем не ограниченной власти царя. После 1653 года земские соборы уже не созывались, зато достигла расцвета приказная система управления, интенсивно шел процесс бюрократизации государства. Особую роль играл учрежденный в 1654 году Тайный приказ, подчиненный непосредственно Алексею Михайловичу и позволявший ему руководить другими центральными и местными учреждениями. Во главе этого приказа становится некий дьяк Дементий Башмаков, посвященный в самые сокровенные царские тайны. Иностранцы называли его «вице-канцлером», а протопоп Аввакум назовет его впоследствии «от тайных дел шишом антихриста».

Глава третья

«Болярыня великая Морозовых»

Иже хочет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет.

Иже аще хочет душу свою спасти, погубит ю; а иже погубит душу свою Мене ради и Евангелия, той спасет ю. Кая бо польза человеку, аще приобретает мир весь, и отщепит душу свою, или что даст человек измену на души своей?

Мр. 8, 34–37

Замужество

В 1649 году младший брат царского «дядьки» и свояка, боярин Глеб Иванович Морозов, посватался к молодой красавице Феодосии Прокопьевне Соковниной. Было ей всего 17 лет, а жениху — 54... Что и говорить: неравный брак! Но в те времена у детей не спрашивали согласия. Обо всем договаривались родители невесты и жениха или сам жених, если уже был взрослым. «Молодым людям и девицам не разрешается самостоятельно знакомиться, еще того менее говорить друг с другом о брачном деле или совершать помолвку, — писал Адам Олеарий. — Напротив, родители, имеющие взрослых детей и желающие побракить их — в большинстве случаев, отцы девиц, — идут к тем, кто, по их мнению, более всего подходит к их детям, говорят или с ними самими или же с их родителями и друзьями и выказывают свое расположение, пожелание и мнение по поводу брака их детей. Если предложение понравится и пожелают увидеть дочь, то в этом не бывает отказа, особенно если девица красива; мать или приятельница жениха получают позволение посмотреть на нее. Если на ней не окажется никакого видимого недостатка, то есть если она не слепа и не хрома, то между родителями и друзьями начинаются уже решительные переговоры о «приданом», как у них говорят, и о заключении брака»^[85].

Итак, всё решала родительская воля. Но разве можно было отказать такому жениху?

А жених Глеб Иванович действительно был завидный. Недавно овдовевший (первая жена его, Авдотья Алексеевна, урожденная княжна Сицкая, как уже говорилось выше, приходилась Романовым родственницей и на свадьбе Алексея Михайловича была посаженной матерью царя), Глеб Морозов шел по стопам своего старшего брата. В молодые годы оба брата были сверстниками царя Михаила Феодоровича и служили при нем спальниками, то есть домашними, комнатными, самыми приближенными людьми. В этом чине Глеб Иванович упоминается уже в 1614 году, на следующий же год после воцарения Романовых. В 1615 году он был пожалован в стольники. Если Борис Морозов получил боярство в 1634 году, став «дядькой» наследника престола Алексея Михайловича, то Глеб — в 1637-м, став «дядькой» младшего царевича Ивана Михайловича. Впрочем, наставником он пробыл недолго: 9 января 1639 года шестилетний царевич Иван скончался, и боярин Глеб Иванович остался во дворце не у дел. С этого времени карьера его приостановилась и теперь уже всецело зависела от успехов старшего брата. В 1641 году, когда пришло известие о возможном набеге крымского хана, младшего Морозова отправили первым воеводой в Переяславль-Рязанский (нынешнюю Рязань). Однако набег не состоялся, и Морозов вернулся в Москву. В 1642 году его назначили воеводой в Великий Новгород, где он оставался до вступления на престол Алексея Михайловича в 1645 году. По просьбе старшего брата царь вызвал Глеба Ивановича в столицу, поближе к «царским очам». На свадьбе Алексея Михайловича и Марии Ильиничны в 1648 году он в чине спальника вместе с царским тестем Ильей Даниловичем Милославским «оберегал сенник», или спальню новобрачных.

К концу 40-х годов XVII века Глеб Иванович был уже одним из богатейших людей России. Так, в 1644 году он получил в собственность Порецкую вотчину в Алатырском уезде, состоявшую из сел Порецкое и Семеновское и деревни Лобачева. В них насчитывалось 6714 десятин земли, 423 крестьянских и бобыльских двора с 976 душами мужского пола. Если в 1648 году у Глеба Морозова было 1688 дворов, то по росписи 1653 года он владел уже 2110 дворами. В 1656 году эта цифра составляла 2077 дворов, расположенных в Московском, Дмитровском, Угличском, Ярославском, Костромском, Галичском, Алатырском, Арзамасском уездах, а также на Вятке и в других уездах.

Однако значение этого огромного богатства обесценивалось тем, что ни у старшего брата Бориса, ни у младшего Глеба не было наследников. «Морозов, — пишет А. Мейерберг о Борисе Ивановиче, — хоть и много раз видел себя отцом, но вскоре оказался совсем бездетным (Бог, может быть,

платит ему за то, что он породнился из честолюбия со своим государем)»^[86]. Бездетным был и первый брак его младшего брата. Прожив в браке с первой супругой около тридцати лет, Глеб Иванович так и не имел счастья быть отцом, и у огромного его имения не было наследников.

Вместе с тем, будучи человеком степенным, богобоязненным и тихим и видя, как неудачно складывается семейная жизнь его старшего брата, Глеб Иванович не стремился к браку по расчету. Он не хотел связывать себя брачными узами с кем-либо из представительниц знатных родов московских, но предпочел юную и скромную девицу из рода Соковниных, известного своей богобоязненностью и благочестием.

Мы не знаем, как состоялось знакомство боярина Морозова с Феодосией Прокопьевной, но, возможно, произошло это в царском дворце. «Обыкновенно, все сколько-нибудь знатные люди воспитывают дочерей своих в закрытых покоях, скрывают их от людей, и жених видит невесту не раньше, как получив ее к себе в брачный покой»^[87]. Как считает историк И. Е. Забелин, Феодосия Прокопьевна Соковнина, «по всему вероятно... и замуж выдана из дворца, от царицы, или по крайней мере при особенном ее покровительстве»^[88]. После свадьбы она стала «приезжей боярыней» царицы — большая честь по тому времени. Царица обходилась с Феодосией Прокопьевной по-родственному и, как увидим, пока была жива, всегда заступалась за нее перед царем.

*

Свадьбу отпраздновали пышно и весело. Вот как описывает Адам Олеарий свадебные обычаи знатных московских людей. Обычаи эти немногим уступали царским. «Со стороны невесты и жениха отряжаются две женщины, называемые у них «свахами»; они как бы ключницы, которые должны в брачном доме то и иное устроить. «Сваха» невесты в день свадьбы устраивает брачную постель в доме жениха. С нею отправляются около ста слуг в одних кафтанах, неся на головах вещи, относящиеся к брачной постели и к украшению брачной комнаты. Приготавливается брачная постель на 40 сложенных рядом и переплетенных ржаных снопах. Жених должен был заранее распорядиться сложить в комнате эти снопы и поставить рядом с ними несколько сосудов, или бочек, полных пшеницы, ячменя и овса. Эти вещи должны иметь доброе предзнаменование и помогать тому, чтобы у брачующихся в супружеской

жизни было изобилие пищи и жизненных припасов.

После того как за день всё приведено в готовность и порядок, поздно вечером жених со всеми своими друзьями отправляется в дом невесты, причем спереди едет верхом поп, который должен совершить венчание. Друзья невесты в это время собраны и любезно принимают жениха с его провожатыми. Лучшие и ближайшие друзья жениха приглашаются к столу, на котором поставлены три кушанья, но никто до них не дотрагивается. Вверху стола для жениха, пока он стоит и говорит с друзьями невесты, оставляется место, на которое садится мальчик; помощью подарка жених должен опять освободить себе это место. Когда жених усядется, рядом с ним усаживается закутанная невеста в великолепных одеждах и, чтобы они не могли видеть друг друга, между ними обоими протягивается и держится двумя мальчиками кусок красной тафты. Затем приходит сваха невесты, чешет волосы невесты, выпущенные наружу, заплетает ей две косы, надевает ей корону с другими украшениями и оставляет ее сидеть теперь с открытым лицом. Корона приготовлена из тонко выкованной золотой или серебряной жести, на матерчатой подкладке; около ушей, где корона несколько согнута вниз, свисают четыре, шесть или более ниток крупного жемчуга, опускающихся значительно ниже груди. Ее верхнее платье спереди, сверху вниз и вокруг рукавов (которые шириною с 3 аршина или локтя), равно как и ворот ее платья... густо обсажены крупным жемчугом; такое платье стоит гораздо более тысячи талеров.

Сваха чешет и жениха. Тем временем женщины становятся на скамейки и поют разные неприличности. Затем приходят два молодых человека, очень красиво одетых; они приносят на носилках очень большой круг сыру и несколько хлебов; всё это увешано отовсюду соболями. Этих людей, которые также приходят из дома невесты, зовут коровайниками. Поп благословляет их, а также сыр и хлеб, которые затем уносятся в церковь. Потом приносят большое серебряное блюдо, на котором лежат: четырехугольные кусочки атласной тафты — сколько нужно для небольшого кошеля, затем плоские четырехугольные кусочки серебра, хмель, ячмень, овес — все вперемежку. Блюдо ставится на стол. Затем приходит одна из свех, снова закрывает невесту и с блюда осыпает всех бояр и мужчин; кто желает, может подбирать кусочки атласу и серебра. В это время поют песню. Потом встают отцы жениха и невесты и меняют кольца у брачующихся.

После этих церемоний сваха ведет невесту, усаживает ее в сани и увозит ее с закрытым лицом в церковь. Лошадь перед санями у шеи и под дугою увешана многими лисьими хвостами. Жених немедленно позади

следует со всеми друзьями и попами. Иногда оказывается, что поп уже успел столько вкусить от свадебных напитков, что его приходится поддерживать, чтобы он не упал на пути с лошади, а в церкви при совершении богослужения. Рядом с санями идут некоторые добрые друзья и много рабов. Тут говорят грубейшие неприличности.

В церкви большая часть пола в том месте, где совершается венчание, покрыта красной тафтой, причем постлан еще особый кусок, на который должны стать жених и невеста. Когда венчание начинается, поп прежде всего требует себе жертвы, как то: пирогов, печений и паштетов. Затем над головами у жениха и невесты держат большие иконы и благословляют их. Потом поп берет в свои руки правую руку жениха и левую руку невесты и спрашивает их трижды: «Желают ли они друг друга и хотят ли они в мире жить друг с другом?» Когда они ответят: «Да», он их ведет кругом и поет при этом 128-й псалом; они, как бы танцуя, подпевают его, стих за стихом. После танца он надевает им на голову красивые венцы. Если они вдовец и вдова, то венцы кладутся не на голову, а на плечи, и поп говорит: «Растите и множьтесь». Он соединяет их, говоря: «Что Бог соединил, того пусть человек не разъединяет»... Тем временем все свадебные гости, находящиеся в церкви, зажигают небольшие восковые свечи, а попу подают деревянную позолоченную чашу или же только стеклянную рюмку красного вина: он отпивает немного в честь брачующихся, а жених и невеста три раза должны выпивать вино. Затем жених кидает рюмку оземь и, вместе с невестой, растаптывает ее на мелкие части, говоря: «Так да падут под ноги наши и будут растоптаны все те, кто пожелают вызвать между нами вражду и ненависть». После этого женщины осыпают их льняным и конопляным семенем и желают им счастья; они также теребят и тащат новобрачную, как бы желая ее отнять у новобрачного, но оба крепко держатся друг за друга. Покончив с этими церемониями, новобрачный ведет новобрачную к саням, а сам снова садится на свою лошадь. Рядом с санями несут шесть восковых свеч, и вновь откальваются грубейшие шуточки.

Прибыв в брачный дом, то есть к новобрачному, гости с новобрачным садятся за стол, едят, пьют и веселятся, новобрачную же немедленно раздевают вплоть до сорочки и укладывают в постель; новобрачный, только что начавший есть, отзывается и приглашается к новобрачной. Перед ним идут шесть или восемь мальчиков с горящими факелами. Когда новобрачная узнает о прибытии новобрачного, она встает с постели, накидывает на себя шубу, подбитую соболями, и принимает своего возлюбленного, наклоня голову. Мальчики ставят горящие факелы в

вышеупомянутые бочки с пшеницею и ячменем, получают каждый по паре соболей и уходят. Новобрачный теперь садится за накрытый стол — с новобрачной, которую он здесь в первый раз видит с открытым лицом. Им подают кушанья и, между прочим, жареную курицу. Новобрачный рвет ее пополам, и ножку или крылышко — что прежде всего отломится — он бросает за спину; от остального он вкушает. После еды, которая продолжается недолго, он ложится с новобрачной в постель. Здесь уже не остается больше никого, кроме старого слуги, который ходит взад и вперед перед комнатою. Тем временем с обеих сторон родители и друзья занимаются всякими фокусами и чародейством, чтобы ими вызвать счастливую брачную жизнь новобрачных. Слуга, сторожащий у комнаты, должен время от времени спрашивать: «Устроились ли?» Когда новобрачный ответит: «Да», то об этом сообщается трубачам и литавщикам, которые уже стоят наготове, держа всё время вверх палки для литавр; они начинают теперь веселую игру. Вслед за тем топят баню, в которой немного часов спустя новобрачный и новобрачная порознь должны мыться. Здесь их обмывают водою, медом и вином, а затем новобрачный получает от молодой жены своей в подарок купальную сорочку, вышитую у ворота жемчугом, и новое целое великолепное платье.

Оба следующих дня проводятся в сильной, чрезмерной еде, в питье вина, танцах и всевозможных увеселениях, какие только они в силах выдумать. При этом прибегают они к разнообразной музыке: между прочим, пользуются инструментом, который называют псалтырью (по всей видимости, имеются в виду гусли. — К. К.). Он почти схож с цимбалами. Его держат на руках и перебирают на нем руками, как на арфе... После свадьбы жен держат взаперти, в комнатах; они редко появляются в гостях и чаще посещаются сами друзьями своими, чем имеют право их посещать»^[89].

Был ли брак Глеба Ивановича и Феодосии Прокопьевны счастливым? История об этом умалчивает, а краткое Житие ограничивается привычной формулой: «И по сопряжении же живяста целомудренне и богоугодне по закону Божию»^[90]. Однако судя по тому, что и после смерти своего супруга Феодосия Прокопьевна не пожелала выйти замуж во второй раз (что в ее кругу в то время случалось нередко), она была верной и любящей женой, хотя, по-видимому, первое время семейная жизнь Морозовых складывалась не очень удачно: брак не приносил столь желанного всеми плода.

И тогда Феодосия Прокопьевна обращается в своих молитвах к преподобному Сергию Радонежскому. Именно к этому святому принято

было обращаться за помощью при бесплодии. Так, в XIV веке великая княгиня Евдокия, супруга Дмитрия Донского, «не имея сыновей, обрелась молиться Пресвятой Троице и Пречистой Богородице у святого старца Сергия». Софья Палеолог по совету мужа пешком совершила обетное путешествие к чудотворцу Сергию в Троицкий монастырь и 27 марта 1479 года по видению родила сына Гавриила (будущего великого князя Василия III). Было видение преподобного Сергия и Феодосии Прокопьевне, после чего молитвы родителей были, наконец, услышаны, и у них родился долгожданный наследник: «и бывши мати: роди бо сына по явлению великого Сергия чудотворца и наречен бысть Иван»^[91]. Родители не чаяли в сыне души.

*

Вскоре после свадьбы Глеба Ивановича посылают на воеводство в Казань, где он находился с 1649 по 1651 год. Сопровождала ли его супруга или же она оставалась в Москве — мы не знаем. В Казани Борису Ивановичу Морозову нужен был свой человек, так как «на Низу» (в Поволжье) у него находилось много вотчин, самых богатых, продукты от которых (прежде всего вино и хлеб) он ставил подрядом в казну. Пользуясь служебным положением, Глеб Иванович помогал своему брату вести торговлю хлебом по Великому волжскому торговому пути, обеспечивая охрану караванов как от разбойников, так и от излишне ретивых чиновников на таможнях. Последняя же служба Глеба Ивановича, о которой говорится в Дворцовых разрядах, состояла в том, что он сопровождал царя в двух походах в период Русско-польской войны (1654 и 1655 годов), находясь неотлучно при его особе.

Итак, уже с первых лет замужества боярыне Морозовой, наряду с воспитанием сына, приходилось заниматься и многочисленными хозяйственными делами, поскольку муж нередко бывал в разъездах. А забот по хозяйству было немало. У Морозовых имелся большой дом в Белом городе, на Никитской улице, на границе приходов церковью Святого Георгия и Святого Леонтия Ростовского. Им принадлежало село Скрябино («Зюзино тож») к югу от Черемушек. Зюзино Морозов получил еще в 1646 году в наследство от покойного тестя князя А. Ю. Сицкого. Здесь, кроме боярской усадьбы, значились «двор прикащичий, 2 двора людских и 13 дворов крестьянских», где проживало 29 человек. Боярский дом блистал богатством: полы были выложены «шах-матом», необъятный сад

изобиловал редкостными растениями, а по двору величаво расхаживали привезенные из заморских стран павлины. При Глебе Ивановиче в Зюзине была сооружена деревянная церковь во имя Бориса и Глеба — святых покровителей братьев Морозовых, по названию которой село иногда именовалось также Борисовским. Были и другие подмосковные села.

Что собой представляло домашнее хозяйство русского боярина XVII века? «Боярские дворы были разбросаны по всем улицам Москвы. Небольшие по размерам, сажень 40–50 в длину и 20–30 в ширину, боярские дворы заключали в себе жилое помещение со всякого рода хозяйственными помещениями и избами для слуг, общее число которых у богатых бояр было очень значительно. Тут были погреба, бани, конюшни и сенники, сараи, стойла для животных. На отдельном дворе стояли амбары для хлеба. Наконец, почти при каждом был небольшой сад с фруктовыми деревьями и цветниками.

Устройство двора и обилие слуг объясняются тогдашними экономическими условиями. Владая поместьями и вотчинами и эксплуатируя довольно интенсивно крепостной труд, боярство имело полную возможность обходиться в своей повседневной жизни без услуг московского рынка, так как все необходимые припасы привозились из боярских деревень. Такие наезды старосты с сельскохозяйственными продуктами делались по несколько раз в год, но всегда с довольно большими промежутками, пока не истощатся деревенские припасы. Этим и объясняется, почему бояре в своих заботах о домовом строении с большим вниманием относились и к постройке разного рода хозяйственных помещений, где хранились привезенные продукты. Внутри боярского двора, окруженного деревянной или каменной оградой, находился дом — жилое помещение, скрытое обыкновенно с улицы оградой; в ограду вело несколько ворот, и между ними главные, с надстроенными башенками, которые разукрашивались разными резными изображениями. Все помещения были обыкновенно деревянными, хотя в XVII веке начинают строить каменные, правда, не для жилья, а для хозяйственных целей. Изредка строили каменные помещения и для жилья, но таких боярских домов было сравнительно немного»^[92].

Боярский дом XVII века представлял собой, по выражению историка Н. И. Костомарова, «целый муравейник покоев, покойцев, комнат, светлиц, горниц, сеней, переходов, возникший не сразу, по одному определенному плану, а строившийся постепенно, по мере нужд разраставшегося семейства». Бояре обычно строили себе дома «в два жилья», с надстройкой наверху. В дом вело крыльцо, как правило, разукрашенное

кувшинообразными колоннами и покрытое остроконечной кровлей. От крыльца поднимались по лестнице вверх и выходили на небольшую террасу, огороженную точеными перильцами, откуда был ход в сени верхнего жилья. В нижний этаж выходили или через особое крыльцо, или через особую дверь, или внутренним ходом. Нижнее помещение было тоже всегда с окнами и называлось «подклетьем». Здесь находились кладовые и жила домовая прислуга. В подклетье делались большие печи, из которых тепло по трубам передавалось на второй этаж — в «клеть», или, собственно, хозяйское жилье. «Клеть» обычно состояла из трех, изредка четырех комнат: передней, или горницы, предназначенной для приема гостей, комнаты, или кабинета, бывшей также и спальней, и крестовой — комнаты для молитвы боярина и его семейства. Часто бояре выстраивали для пиров и парадных обедов еще особую столовую избу — в один покой с сенями. Надстройки над жилым помещением назывались «чердаками»: большая, светлая четырехугольная комната — светлица-терем, надстройки над сенями назывались вышками и были самой причудливой формы — в виде башен, шпилей, куполов. Комнаты были достаточно небольшими и невысокими — сажени две в длину и столько же в ширину. Средняя высота покоев была три-четыре аршина.

Внутреннее убранство боярских домов в общем было достаточно простым. Всех иностранцев, бывавших в домах зажиточных бояр, особенно поражало обилие образов, располагавшихся по стенам и углам, часто в дорогих киотах, серебряных и золотых ризах, украшенных драгоценными камнями и почти сплошь унизанных жемчугом. В наиболее зажиточных домах стены иногда сплошь украшались образами. «Образа висели во всех комнатах, но с особенной заботой украшалась «святая святых» древнерусского дома, моленная комната, где происходили домашние моления и праздничные богослужения, если только у боярина не было своей домово́й церкви. В моленной образа стояли во всю стену наподобие церковного иконостаса. Тут стоял аналой с книгами, а на полке под образами лежали крылышко для обметания пыли и губка для ее стирания. Перед образами теплились лампадки и стояли восковые свечи, а под киотом привешивалась обыкновенно дорогая пелена — тонкая ткань, расшитая золотыми нитками. Такая же ткань была привешена и близ киота для занавешивания икон. Обилие икон составляло едва ли не главное украшение боярского жилья. Впрочем, в 60–70-х годах XVII века наиболее зажиточные из бояр для придания большего блеска и великолепия «хоромному наряду» украшали свои комнаты живописью, конечно, с церковно-религиозными сюжетами»^[93].

На дворе московского дома боярина Морозова находилась церковь, освященная во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. При ней служили священник, дьячок и пономарь. В 1669 году священником при этой церкви значился Симон Иевлев. При церкви был также устроен придел во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, где служил другой священник, Димитрий^[94].

Хозяйка дома во всем должна была подавать слугам пример: вставала раньше всех и ложилась позже других, личным усердием побуждая прислугу к работе. В домашних хлопотах проходил весь день. Подобный распорядок дня менялся только в большие праздники, когда бояре или сами ходили в гости, или принимали гостей у себя.

«Боярский двор сам по себе представлял самодовлеющее хозяйство, принимавшее иногда значительные размеры ввиду соединения в одном дворе нескольких родственных семейств, живших между собой не в разделе. Сложность и разнообразие хозяйства требовали достаточного количества слуг, найти которых было вполне возможно благодаря сильно развитому полному или кабальному холопству, наконец, просто беглым людям. Число таких слуг в домах некоторых бояр доходило до 1000 (протопоп Аввакум говорит о трехстах слугах в доме боярыни Морозовой. — К. К.)... В доме богатого боярина можно было встретить в числе мастеровых людей поваров, хлебника, квасовара, столяра, сапожника, кузнеца, коновала, швей, сторожа и разных других слуг без определенных занятий. Общее заведывание всеми слугами входило в обязанности ключника и дворецкого. Первый фактически вел хозяйство, еженедельно отчитываясь перед хозяином в израсходованных суммах; второй заведывал собственно дворовыми людьми, следя за их поведением и донося обо всем случившемся хозяину; он же разбирал споры между слугами и наказывал их по приказанию господина.

Женская прислуга находилась в заведывании хозяйки дома или особой ключницы; часть ее исподняла в доме необходимые черные работы — топила печи, мыла, готовила разные запасы; другая часть занималась вышиванием и вообще шитьем совместно с госпожой. Из числа домовых слуг назначались управители в вотчины»^[95].

Безусловно, все эти многочисленные заботы, связанные с ведением столь крупного боярского хозяйства, затягивали и занимали значительную часть времени. Однако Феодосия Прокопьевна не ограничивалась только ведением домашнего хозяйства, она живо интересовалась и духовными вопросами. Теплые, дружеские отношения сложились у молодой боярыни

Морозовой с деверем, могущественным боярином Борисом Ивановичем, который с нею «на мног час» беседовал «духовныя словеса», встречая такими словами: «Прииди, друг мой духовный, поиди, радость моя душевная», а провожая после беседы, прибавлял: «Насладился я паче меда и сота словес твоих душеполезных». «Стало быть, — пишет И. Е. Забелин, — боярыня еще в молодую свою пору была уже достаточно знакома с постническим уставом жизни, так что могла вести разумные беседы с одним из разумнейших людей царского синклита. Вообще всё показывает, что она была настолько развита, хотя и односторонне, что вопросы жизни для нее не были вопросами только хозяйства или домашней порядки, а были вопросами духовных стремлений найти самую правду жизни, что она вовсе не была способна сделаться «под фарисейским только видом постницею», каких было довольно в то время»^[96].

Вслед за Феодосией вышла замуж и младшая Соковнина. Произошло это в 1657 году. Супругом Евдокии Прокопьевны стал молодой князь Петр Семенович Урусов. Потомок Едигея Мангита — любимого военачальника Тамерлана и правителя Золотой Орды, князь Урусов приходился троюродным братом самому царю Алексею Михайловичу: его родная бабка, княгиня Анастасия Никитична Лыкова-Оболенская, была родной сестрой царского деда — патриарха Филарета. Молодые жили счастливо, в браке у них родилось трое детей: дочери Анастасия и Евдокия и сын Василий. В 1659 году князь Урусов был пожалован в царские кравчие. Это была очень почетная и ответственная должность, которая поручалась только самым доверенным лицам из-за боязни быть отравленным: в обязанности кравчего входили разливание и подавание кушаний и напитков государю во время торжественных обедов. Князь Урусов, как отмечал французский ученый П. Паскаль, был «крепким рубакой и вместе придворным. Поэтому Евдокия перенесла избыток своей любви на Феодосию. Обе сестры постоянно навещали друг друга»^[97].

Тихо и безмятежно текла семейная жизнь сестер Соковниных. Но вот, словно гром среди ясного неба, прогремело роковое для русской истории слово «раскол».

Никон

В лета 7160-го году, июня в день 1, по поущению Божию вскрался на престол патриаршеский бывшей поп Никита Минин, в чернецах Никон.

Протопоп Аввакум «Книга бесед»

Свято место пусто не бывает, и удалившегося от государственных дел боярина Бориса Ивановича Морозова вскоре сменил нежданно-негаданно явившийся с дальнего Севера и сумевший покорить царево сердце игумен Никон. Имя Никона и трагический раскол Русской Церкви связаны нитью неразрывною. Чтобы разобраться в событиях того далекого времени и понять их истинный смысл, необходимо подробнее остановиться как на личности этого человека, так и на обстоятельствах его возвышения.

Впервые Никон, тогда еще безвестный игумен северной Кожеозерской пустыни, появился при дворе царя Алексея Михайловича в 1646 году. Родился Никон (в миру его звали Никита Минов) в 1605 году в селе Вельдеманове Нижегородского уезда в семье крестьянина-мордвина. В позднейших старообрядческих «антижитиях» Никона, которые начали появляться еще в конце XVII века и продолжали создаваться вплоть до начала XX века, личность его всячески демонизировалась, обрастая всё новыми, порой невероятными фактами. Но, как говорится, дыма без огня не бывает, и подобные произведения порою включали в себя записанные еще при жизни Никона и широко распространенные в народе устные рассказы о нем. А потому небезынтересно будет привести некоторые свидетельства этих «антижитий» для выяснения природы никоновских амбиций.

«Отец его Мина был росту великаго и сильный, а мать Никона была Мариамия. Роди Мариамия младенца паче меры большаго и зело пострада в его рождении. Егда родися сей детищъ, прииде к Мине в дом мордовский шаман язычник, знающий волшебное ремество. Мине же шаман сей и ранее сего был другом, а потому и пожелал видеть шаман новорожденнаго детища, обещая ему сказать его переднее (то есть будущее. — К. К.). И егда же Мариамия открыла шаману детища, тогда шаман стал читать по мордовски какое-то волшебное призывание, посмотрел на детища и затрепетал, опустил ся на колени и глаголя: «Будет он царь не царь, а выше царей, князей и бояр, и будет он и богат и нищъ, и построит он или города или монастыри, и будут туда приезжати и цари и бояре и князи, будут за него молитися и будут на него злобствовать и проклинать, занеже царь и великий дух его снискал, и землю он прославит, где родися и где будет погребен». И с етими словами шаман сорва со своего ожерелия златицу, кладя младенцу в пелены, рече: «Пусть сие злато умастит тебе дорогу, какую уготовал тебе сам великий дух». Родителие же детища сия восторженность шаманова привела в великое смущение и боязнь. Рече

Мина шаману: «Мы люди грешные и не имеем никаких добродетелей и живем в бедности, к чему ты возвещаеши странная нашему детищу». И не повериша шаману»^[98].

Никита рано потерял мать и много претерпел от злой мачехи. Научившись грамоте, мальчик тайно ушел из дома в Макарьев Желтоводский монастырь, где продолжил свое обучение и со временем был принят на клирос как «умеющий грамоте и обладающий звучным гласом». В это время произошла одна встреча, оставившая заметный след в его жизни.

«И некогда случися Никите идти в другой монастырь с двумя клириками и случися на пути обнощевати у некоего татарина, ремесством колдуна, подобнаго преждеописанному шаману, такожде и сему умевшему предсказывать будущее, волхвуй скверною своею бесовскою книгою и палицею. Татарин предсказал Никите быть государем великим, но Никита, хотя и не поверил словам татарина, но крепко запала сия мысль в его настойчивом характере»^[99].

Отец, узнав о месте пребывания Никиты, хитростью вызвал его из монастыря в родной дом. Через некоторое время отец умер, а Никита женился и в 1625 году был рукоположен в священники церкви одного из соседних сел. Здесь он пробыл совсем недолго и вскоре переселился в Москву, куда его пригласили на место священника приезжавшие на Макарьевскую ярмарку московские купцы. В Москве Никита пробыл около десяти лет.

Смерть в малолетстве всех трех детей священника Никиты сильно потрясла его и была воспринята им за указание свыше. В 1630 году он принудил свою жену согласиться принять иночество и уйти в девичий Алексеевский монастырь в Москве, а сам удалился на Белое море. Согласно официальной версии, он принял монашество с именем Никон в Анзерском скиту, руководимом суровым отшельником преподобным Елеазаром Анзерским. Однако епископ Александр Вятский в своем «Обличении» на патриарха Никона (1662) излагает совершенно иную версию начального периода его служения: «Еще бо в царствующем граде Москве белцем быв, священноиноческую благословенную грамоту взял, оболгав преосвященнаго Афония, митрополита Новгородскаго, и Никона себе нарек преже пострижения своею волею. И едучи во Анзерскую пустынь, на Вологде, на паперти церковней ильиньским игуменом Павлом пострижен, а не в церкви. И приедучи в пустыню, абие священноиноческая действовал, а под началом не бывал. Аще всю жизнь ево кто известно ведал

и преже проклятия чести и власти вправду бы рек, яко и на праг церковный несть достоин взяти»^[100].

Прибыв на остров Анзер, новоиспеченный священноинок Никон становится одним из двенадцати учеников преподобного Елеазара. Вместе с анзерским игуменом он ездил в Москву за «милостыней», предназначавшейся для постройки каменного храма на Анзере, занимался перепиской книг. Однако вскоре после поездки между Никоном и преподобным Елеазаром возникли трения.

«С сего времени нача Никон самовольно входити в хозяйственныя управления скитскими делами, якобы приобретох на сие некую власть за участие в сборе пожертвований. По неколицем же времени нача нечто изменяти в церковной службе, и с старшими клириками нача спиратися, и нача приводити старца Елиазара в немалое сомнение. И некогда Елиазару во время божественной службы, егда же Никону чтущу божественную литургию, виде Елиазар около выи (шеи. — К. К.) Никона змия черна и зело велика оплеться, и вельми ужасеся, и глаголяше отай братии: «О, какова смутителя и мятежника Россия в себе питает. Сей убо смутит тоя пределы и многих трясений и бед наполнит». И прирече: «Аще бы кто убил сего чернца, то умолил бы аз за того Бога». И с сего времени начаша Елиазар и вси братия не любити Никона и не допускати его до чтения и пения в божественной службе»^[101].

Приняв иночество, Никон не особенно стремился к затворничеству и иноческому деланию. Его амбициозная натура требовала иного приложения сил. В 1634 году, видимо, из-за очередных столкновений с братией Анзерского скита, он вынужден был покинуть остров, бежав на рыбацкой лодке. Буря, разыгравшаяся на море, прибила лодку к каменистому Кий-острову, около устья реки Онеги. Здесь в честь своего спасения Никон поставил крест, а позже основал монастырь, названный Крестным. Затем он перешел на жительство в Кожеозерский монастырь (в Каргопольских пределах), также находившийся на уединенном острове. Здесь он был в 1643 году выбран в игумены немногочисленной братией монастыря.

Однако жизнь в отдаленной северной обители совсем не прельщала деятельного и беспокойного игумена. В 1646 году Никон отправился в Москву по делам монастыря и, согласно обычаю, явился с поклоном к молодому царю Алексею Михайловичу. Кожеозерский игумен сумел уловить сокровенные мысли, занимавшие царя и его ближайшее окружение, и вскоре сделал головокружительную карьеру. Представленный Алексею Михайловичу, он произвел на него и своим внешним видом, и

своими речами столь благоприятное впечатление, что тут же получил сан архимандрита московского Новоспасского монастыря, в котором находилась родовая усыпальница Романовых. Царь часто ездил в Новоспасский монастырь молиться за упокой своих предков и потому еще более сблизился с Никоном, которому приказал являться к себе во дворец на беседы каждую пятницу. «Угадав внутреннюю неуверенность, мнительность Алексея Михайловича, Никон внушил государю, что его пастырское радение и молитва — надежная защита во всех государственных и семейных начинаниях, — пишет современный историк. — Авторитет Никона среди родных царя был столь высок, что даже после того, как он разошелся с Тишайшим, государевы сестры осмеливались поддерживать с ним отношения. Несомненно, в этой семейной симпатии к Никону сокрыт один из самых действенных рычагов его влияния на царя»^[102].

*

В 1645 году в Москве образовался кружок ревнителей церковного благочестия — так называемых боголюбцев. В этот кружок входили царь Алексей Михайлович, царский духовник протопоп Стефан Внифантиев, протопоп Иоанн Неронов, царский постельничий Федор Михайлович Ртищев, впоследствии к ним присоединились протопоп Аввакум, епископ Павел Коломенский и некоторые другие. Деятели кружка стремились к упорядочению церковной жизни, богослужения, распространению евангельской проповеди. Боголюбцы понимали необходимость определенных церковных реформ, призывали к соблюдению христианской морали, много внимания уделяли устной проповеди, устраивали центры христианского просвещения, стремились поднять авторитет Церкви в глазах народа.

Смутное время оставило печальный след не только в хозяйственной и политической жизни Русского государства, но и в душе русского народа. Еще в 1636 году девять нижегородских протопопов и священников во главе с Иоанном Нероновым обратились к патриарху Иоасафу с «памятью», в которой ярко обрисовали весьма печальную картину русских церковных нравов и просили принять неотложные меры для поднятия благочестия и спасения гибнущего православия. В храмах царят, указывалось в «памяти», «мятеж церковный и ложь христианская» — непорядки и несоблюдение духа веры. Причина этого кроется прежде всего в поведении самого

духовенства, пребывающего в «лености и нерадении». По вине церковнослужителей, спешащих поскорее отбыть богослужение, в церквях водворилось пагубное «многогласие», то есть одновременное чтение молитв и исполнение песнопений: «В церквях, государь, зело поскорю пение, не по правилом Святых Отец, ни наказанию вас, государей, говорят голосов в пять и шесть и более, со всяким небрежением, поскорю. Ексапсалмы, государь, также говорят с небрежением не во един же голос, и в туж пору и псалтырь и каноны говорят, и в туж пору и поклоны творят невозбранно»^[103].

Постановление о «единогласии» было принято еще Стоглавым собором: «А вдруг бы псалмов и псалтыри не говорили, также бы и канонов вдруг не канархали и по два вместе не говорили бы, занеже то в нашем Православии великое бесчинство и грех, и Святыми Отцы тако творити отречено бысть»^[104]. Однако «многогласие» в богослужении продолжало существовать и даже распространялось, службы совершались быстро и «со всяким небрежением», сразу несколькими голосами: один пел, другой в это время читал, третий говорил ектении или возгласы, или читали сразу в несколько голосов — и каждый свое особое, не обращая внимания на других и даже стараясь их перекричать. В результате всякая чинность, стройность и назидательность богослужения терялись окончательно. «Церковная общественная служба, при таких порядках, не только не назидала, не научала, не настраивала на молитву предстоящих, но напротив: приучала их относиться к богослужению чисто механически, бессмысленно, только внешним образом, без всякого участия мысли и чувства, — писал историк Н. Ф. Каптерев. — Многие из народа стали смотреть на посещение церкви как на одну формальность, и не только во время богослужения держали себя крайне непристойно, что чуть ли не сделалось общим правилом, но и старались ходить в те именно церкви, где служба, ради многогласия, совершалась с особою скоростью. С своей стороны духовенство, желая заманить в свои храмы побольше народу, доводило скорость церковных служб до крайности, позволяя в храме читать единовременно голосов в шесть и больше»^[105].

Вместе с тем и нравственное состояние населения оставалось крайне печальным: процветали пьянство и разврат, широко распространилась самая грубая ругань — как среди молодежи, так и среди стариков, даже дети нередко относились без должного почтения к своим родителям и «бесстыдной, самой позорной нечистотой языки и души оскверняют». По праздникам молодежь и старики сходятся и устраивают между жителями

разных деревень «бои кулачные великие», в которых «многие умирают без покаяния».

Одновременно с падением христианской нравственности возрождались пережитки язычества. В четверг после Пасхи «собираются девки и жены под березы и приносят, яко жертвы, пироги и каши и яичницы, и, поклоняясь березкам, ходят, распевая сатанинские песни и всплескивают руками». В День Святого Духа они плетут венки из березы и возлагают их себе на головы, а на Рождество Иоанна Крестителя устраивают костры и «всю ночь до солнечного восхода играют, и через те огни скачут жонки и девки». В поддержании этих языческих суеверий большую роль играли скоморохи, которые ходили по городам и деревням с «медведями, с плясовыми псицами... с позорными блудными орудиями; с бубнами и сурнами и всякими сатанинскими прелестями». Во время этих скоморошских представлений население пляшет, пьянствует и предается неистовому разврату...

Итак, против всех этих безобразий выступили боголюбцы. Это был новый тип религиозных деятелей, порожденный той исторической реальностью, в которой оказалась Россия в трагический период Смутного времени. «В первую половину XVII века выдвигался особый тип носителей благоверия — редкий для Древней Руси, а теперь получивший историческую важность, — пишет современная исследовательница. — Само благоверие в этих ревнителях было традиционным, новым было в них сознание собственной полной ответственности за спасение как себя, так и окружающих, недоверие к церковной дисциплине, своеволие. Стремление заменить равнодушие обыденной жизни горением жизни религиозной было в них непреодолимо... В XVII веке среди священников и иноков в большом числе появляются люди с качествами прежде редкими и не столь нужными для духовенства — «воины Христовы», как их позже называли в старообрядческой литературе. Вероятно, их воспитало Смутное время, когда распалось всякое единство и каждый должен был бороться в одиночку за спасение и жизни, и души»^[106].

Возглавил кружок «ревнителей благочестия» царский духовник Стефан Внифатьев. Однако настоящим вдохновителем кружка являлся отец Иоанн Неронов, который всей своей жизнью, невзирая на «дух времени», пытался следовать христианским заповедям. Он открывал школы, богадельни, смело вмешивался в дела светских властей как в провинции, так впоследствии и в столице, даже попадал в 1632 году на два года в ссылку в Никольский Корельский монастырь за неодобрительные слова о царском походе на поляков. После своего освобождения Неронов

возвращается в Нижний Новгород, а затем поселяется в Москве, где по ходатайству царского духовника становится в 1645 году протопопом Казанского собора на Красной площади. Это был его «звездный час». Послушать Неронова приходила вся Москва во главе с царем и царицей. Стены Казанского собора не могли вместить всех желающих, так что порой приходилось писать текст проповедей на специальных досках, размещаемых на стенах собора.

*

В 1646 году к кружку ревнителей благочестия присоединился Никон. При этом религиозные взгляды Никона менялись в соответствии со стремительно менявшейся «генеральной линией». Если в 1646 году он выступает еще как сторонник древнерусского благочестия, то к 1648 году становится ярким грекофилом. Иоанн Неронов впоследствии не преминет ему об этом напомнить: «Иноземцев ты законоположение хвалишь и обычаи тех приемлешь, благоверны и благочестни тех родители нарицаешь, а прежде сего от тебя же слыхали, что многажды ты говаривал: гречане де и Малые Росии потеряли веру и крепости и добрых нравов нет у них, покой де и честь тех прельстила, и своим де нравом работают, а постоянства в них не объявилось и благочестия ни мало»^[107].

Итак, завоевав царские симпатии, Никон вскоре занял исключительное положение в Москве. В 1649 году он уже рукоположен в митрополиты Новгородские и Великолуцкие, на одну из крупнейших архиерейских кафедр, — на место еще живого, отправленного на покой в нарушение церковных правил митрополита Аффония. Скорее всего, патриарх Иосиф был против этого вопиющего поступка, поэтому епископскую хиротонию И марта 1649 года в Успенском соборе Кремля совершил сам иерусалимский патриарх Паисий, находившийся тогда в Москве и всячески расхваливавший Новоспасского архимандрита.

Обычно удаление человека от двора, от «светлых государевых очей» влечет за собой ослабление его позиций. Однако с Никоном этого не произошло. «Оказалось, что чем он дальше, тем сильнее его притяжение, — пишет историк И. Л. Андреев. — Царь нуждался в постоянном общении с «собинным другом». На станциях — ямах — между Москвой и Новгородом не успевали менять лошадей: столь часты были пересылки между царем и митрополитом. Сам Никон пребывал в постоянном движении, почасту наезжая в Москву. Влияние его возросло настолько, что

уже ни одно мало-мальски серьезное дело не обходилось без его совета и благословения»^[108]. Особенно стал нуждаться в опытном советнике падкий на чужие влияния царь после удаления от дел боярина Б. И. Морозова.

Добившись архиерейской власти, Никон принялся за введение новшеств в доверенной ему Новгородской земле. Фактически Новгородская епархия превратилась в «испытательный полигон» реформаторов. Никон единолично вершит суд и расправу на Софийском дворе, а вскоре по царскому повелению начинает рассматривать и уголовные дела, причем жестоко расправляется с новгородцами, попробовавшими жаловаться на него царю. «И тако Никон попущением Божиим седе на престоле премудрости Божии, обладаем же властолюбием, надхненною дияволом гордостию, нача умышляти, еже бы что необычное святому уставу и новое вводити, нача древнее церковное пение презирати». Никон запретил в Новгородской епархии распространенное в Русской Церкви «многогласие» и начал борьбу с древним, так называемым хомовым пением. Вместо древнего унисонного пения он завел в Новгороде партесное — по западному образцу. Впоследствии Никон перенес это пение и в Москву, выписав польских певцов, певших «согласием органным», а для своего хора — композиции знаменитого в свое время директора капеллы рорантистов в Кракове — Мартина Мильчевского. Царь Алексей Михайлович, услышав певчих митрополита Никона, с которыми тот приезжал в Москву, тотчас завел такое пение и в своей придворной церкви. Как некогда принятию православия на Руси при великом князе Владимире предшествовало эстетическое впечатление от «ангелоподобного» древневизантийского пения, так и никоновскую «псевдоморфозу» православия предваряло увлечение пением, только на этот раз уже западным, католическим. «И законы и уставы у них латинские, руками машут и главами кивают и ногами топчут, как де обыкли у латинников по органом», — скажет впоследствии о подобном пении протопоп Аввакум.

Подражая духовному вождю кружка боголюбцев Иоанну Неронову, который «изношаше от сокровищ сердца своего, яже положи в нем Дух Святый, умудрив сеяти семя учения Господня во всем народе несумненно», Никон стал произносить устные проповеди перед своей паствой. Основательно забытая к концу XVI — началу XVII века на Руси, устная проповедь воспринималась в то время как несомненное «новшество».

Так и не сумев завоевать любовь новгородцев, Никон пытался прибегать к популистским мерам: на испрашиваемые у царя средства устраивал богадельни, во время голода организовывал раздачу пищи бедным. «В окно из палаты нищим деньги бросает, едучи по пути нищим

золотые мечет! — вспоминал Аввакум. — А мир-от слепой хвалит: государь такой-сякой, миленькой, не бывал такой от веку!» Но и это не помогало: подначальные духовные люди невзлюбили Никона за его чрезмерную строгость и взыскательность, миряне же не питали к нему расположения за его крутой властолюбивый нрав. Особенно требователен он был к окружающим его людям. Характерен отзыв дворянина Василия Отяева о Никоне: «Лутче бы, де, нам на Новой Земле за Сибирью с князь Иваном Ивановичем Лобановым пропасть, нежели, де, с Новгородским митрополитом, как, де, так, что силою заставляет говеть, никого, де, силою не заставить Богу веровать».

Отправляя Никона на Новгородскую митрополию, царь поручил ему наблюдать не только за духовным, но и за мирским управлением, доносить ему обо всем и давать советы. Результат не замедлил себя ждать: 1 марта 1650 года в Пскове и Новгороде начались народные волнения, переросшие к 15 марта в открытое восстание. Никон предал проклятию всех восставших и укрыл у себя воеводу князя Ф. А. Хилкова, за что был восставшими нещадно избит.

События в Великом Новгороде еще более расположили царя к Никону. Получив взаимные жалобы митрополита и новгородцев, Алексей Михайлович принял сторону Никона, которого называл в своих письмах не иначе как «великим Солнцем сияющим», «избранным крепкостоятельным пастырем», «возлюбленником своим и содружебником». При этом, прекрасно понимая, что строгостью нельзя добиться прекращения мятежа, Никон сам советовал царю простить виновных.

15 апреля 1652 года, после внезапной непродолжительной болезни, умер патриарх Иосиф. Никон, находившийся тогда на Соловках, куда он отправился за мощами митрополита Филиппа, поспешил вернуться в Москву. Преемник Иосифу был уже давно predetermined царем и его духовником Стефаном Внифантьевым. Уже 23 июля 1652 года Никон был наречен патриархом, а 25 июля состоялось его торжественное возведение на патриаршество. Рукоположение было совершено на Соборе русских архиереев во главе с митрополитом Казанским и Свияжским Корнилием в присутствии царя и множества народа по специально составленному «Чину избрания, наречения, благовествования, посвящения Никона...». Никон был одет в саккос святого митрополита Петра. В своей речи он ясно дал понять, что его интересы ограничиваются не только Русской Церковью, но распространяются на весь православный мир. Он обещал молиться, чтобы «благочестивое царство прославилось от моря и до моря и от рек до конца вселенной».

По случаю рукоположения нового патриарха царем был устроен в Грановитой палате богатый стол. «И из стола святейший Никон патриарх Московский и всеа Руси встав, ездил кругом города Кремля на осляти. А осля водили под патриархом бояре и окольничие те ж, которые были у стола». Среди знатнейших бояр и окольничих, сопровождавших нового патриарха, присутствовал и отец боярыни Морозовой Прокопий Федорович: «И как патриарх ходил около города, и за ним ходили по государеву указу бояря князь Алексей Никитич Трубецкой, да князь Федор Семенович Куракин, да князь Юрья Алексеевич Долгорукой, да Прокофей Федорович Соковнин»^[109]. Русские архиереи, участвовавшие в поставлении Никона, дали ему настольную грамоту за своими подписями и печатями. В грамоте говорилось: «С великою нуждею умолиша его на превысочайший святительский престол». В этот день патриарху были поднесены богатые подарки, а через некоторое время царь пришлет ему золотую митру-корону — по образцу тех, что носили греческие патриархи, — вместо обычной до того времени русской патриаршей шапки, опушенной горностаем...

Пройдет совсем немного времени, и при поддержке царя новый патриарх приступит к реформированию Русской Церкви по новогреческому образцу.

Раскол

Задумались, сошедшися между собою; видим, яко зима хочет быти; сердце озябло и ноги задрожали.

«Житие» протопопа Аввакума

Всё началось с того, что в 1653 году, в начале Великого поста, патриарх Никон разослал по храмам указ — «память», в которой всем православным с этого дня предписывалось: «...не подобает в церкви метания (то есть поклоны) творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны, еще же и трема персты бы крестились». Эта пресловутая «память», изданная патриархом единолично, без предварительного соборного обсуждения, была как гром среди ясного неба. Особенно тяжелое впечатление произвела она на ревнителей церковного благочестия — боголюбцев. Протопоп Иоанн Неронов на неделю затворился в келье московского Чудова монастыря, непрестанно молясь. И был ему глас от иконы Спасителя: «Время приспе страдания, подобает вам неослабно

страдати!» Протопопы Аввакум и Даниил Костромской, собрав выписки из богослужебных книг о сложении перстов и о поклонах, подали их царю, который отдал челобитную протопопов непосредственно патриарху...

С лета 1653 года начался разгром боголюбцев. Было отправлено в ссылки более десяти протопопов — вождей этого движения. С Иоанна Неронова Никон снял скуфью и заточил в Спасо-Каменный монастырь, на Кубенском озере; Логина Муромского он лишил священнического сана и сослал в муромские пределы; Даниила Костромского лично мучил в Чудовом монастыре, а после сослал в Астрахань, где его уморили в земляной тюрьме; Аввакума сослали в Сибирь, и лишь заступничество царя спасло его от извержения из священного сана... По стране было сослано множество священников и мирян, сторонников боголюбцев, а некоторые из сосланных даже казнены.

Устранив наиболее активных своих противников, Никон решил созвать собор для узаконения своих беззаконий. Собор состоялся в Москве в следующем, 1654 году. Председательствовали на соборе царь и патриарх. Среди участников было пять митрополитов, четыре архиепископа, один епископ, И архимандритов и игуменов, 13 протопопов, несколько приближенных царя. Кандидатуры участников собора были самым тщательным образом подобраны патриархом и царем, что дало повод отцу Иоанну Неронову назвать собор «соньмищем иудейским». Постановления собора предрешались уже самим способом принятия решения: первым голос подавал царь Алексей Михайлович.

Однако, несмотря на тщательный подбор «кадров», проводившийся царем и патриархом перед началом собора, всё же нашлись недовольные, а один из епископов открыто выступил в защиту старых книг. Это был епископ Павел Коломенский, который и стал первой жертвой гордого и властолюбивого патриарха. «Мы новой веры не примем», — прямо заявил Никону епископ Павел. (Суть этой «новой веры» впоследствии очень точно выразит новообрядческий патриарх Иоаким, принимавший активное участие в допросах боярыни Морозовой: «Я не знаю ни старой, ни новой веры, но что велят начальницы, то я готов творить и слушать их во всем».)

Пытаясь «вразумить» непокорного епископа и обосновать необходимость книжной «справы», Никон заявил, что речь-де идет совсем не о новой вере, а лишь о некоторых «исправлениях» и что «ко исправлению требуется грамматическое художество», на что епископ Павел резонно отвечал: «Не по правилам грамматики новшества вносятся; какая грамматика повелевает вам трисоставный крест с просфор отметить? Но не по правилам грамматики седмицу просфор на службе отместете, символ

приложеньми и отложенъми умножаете». Перечислил епископ и прочие новшества, вводимые отнюдь не по грамматическим правилам: и троение «аллилуйи», и сложение перстов, а вместо подписи своей под соборными постановлениями написал: «Если кто от преданных обычаев святой соборной церкви отъимет, или приложит к ним, или каким-либо образом развратит, анафема да будет».

Это привело Никона в ярость. Он собственноручно избил епископа Павла на соборе, сорвал с него мантию, без соборного суда лишил епископской кафедры и велел немедленно отправить в ссылку в далекий северный монастырь, где тот вскоре и погиб при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Последовать примеру епископа Павла и открыто протестовать против новшеств никто из епископов не решился, хотя многие были с Никоном и несогласны. Через два месяца после завершения собора, в июле того же года, Москву постигла тягчайшая эпидемия моровой язвы. Многими православными это было воспринято как наказание Божие за отступничество церковной иерархии от веры предков. В народе прекрасно чувствовали пролатинскую сущность церковной реформы Никона. В 1654 году в Москве произошел бунт, среди требований которого, в частности, было и прекращение церковной реформы. Один из лозунгов восставших прямо называл вещи своими именами: «Патриарх ненадежен в вере и действует не лучше еретиков и иконоборцев».

Между тем властолюбие и гордость Никона, стремившегося стать в православном мире тем же, кем в мире западном был римский папа, вскоре привели его к разрыву даже с поддерживавшим и направлявшим его царем Алексеем Михайловичем. Да, прав был А. Мейерберг, когда писал о царе Алексее: «Любимцы у него непрочны, не только по общему пороку всех дворов, по которому положение любимцев, следуя непрочности всех человеческих дел, всегда шатко и легко рушится в прах от всякого, хоть бы и слабого, удара, но и потому еще, что это люди без твердых оснований в какой бы то ни было добродетели, укрепившись на которых громоздкое здание государевой милости стоит прочно, поддерживаемое заслугами»^[110].

В 1658 году Никон, официально титуловавшийся «великим государем», самовольно оставляет патриарший престол, бросая таким образом свою паству на произвол судьбы. Поступая так, он, вероятно, рассчитывал на то, что царь, одумавшись, начнет его упрашивать вернуться на патриаршество и выполнит новые его требования. Но Никон, собственно, уже был не нужен царю и его окружению. «Мавр сделал свое дело» — чудовищный маховик реформы был запущен.

В чем же заключалась суть никоновской, а точнее, алексеевской «реформации»? Формальным поводом послужило исправление якобы неисправных богослужебных книг. Реформаторы утверждали, что со времени принятия христианства при князе Владимире в богослужебные книги по вине «невежественных» переписчиков вкралось такое множество ошибок, что необходима серьезная правка. Эта мысль явилась из сличения оригиналов и переводов. Но что в данном случае принималось за оригинал? Новогреческие богослужебные книги, напечатанные в иезуитских типографиях Венеции и Парижа! Греки тогда находились под иггом турок-османов, и собственные типографии им заводить запрещали. Помимо того что за семь веков, прошедших со времени Крещения Руси, греки, заразившись латинским духом, сами существенно изменили чинопоследования многих церковных служб, к этим изменениям добавлялись еще сознательные еретические искажения, внесенные хозяевами типографий — иезуитами, стремившимися всеми правдами и неправдами подчинить православный мир римскому папе.

Тем самым никоновская «справа» стала не исправлением богослужебных книг, а их настоящей порчей, искажением. «Объективное сравнение текстов богослужебных книг предреформенных, иосифовской печати, и послереформенных не оставляет сомнений в ложности утверждения о недоброкачественности предреформенных богослужебных книг — описок в этих книгах, пожалуй, меньше, чем опечаток в современных нам книгах, — пишет историк Б. П. Кутузов. — Более того, сравнение текстов позволяет сделать как раз противоположные выводы: послереформенные тексты значительно уступают по доброкачественности предреформенным, поскольку в результате так называемой правки в текстах появилось огромное количество погрешностей разного рода и даже ошибок (грамматических, лексических, исторических, догматических и пр.)»^[111].

Когда сравниваешь старые и новые тексты, то невольно соглашаешься с протопопом Аввакумом. Он в таких словах передавал наказ патриарха Никона по «исправлению» книг «справщику», выученику иезуитов Арсению Греку: «Правь, Арсен, хоть как, лишь бы не по-старому». И там, где в богослужебных книгах ранее было написано «отроки» — стало «дети», где было написано «дети» — стало «отроки»; где была «церковь»

— стал «храм», где «храм» — там «церковь»... Появились и такие откровенные нелепости, как «сияние шума», «уразуметь очесы (то есть очами)», «видеть перстом», «крестообразные Моисеевы руки», не говоря уже о вставленной в чин крещения молитве «духу лукавому». Удивительный перевод! Но удивление исчезает, когда начинаешь сличать переводы с подлинниками. Оказывается, все венецианские и парижские издания греческих богослужебных книг, по которым и проводилась никоновская «справа», в текстуальном отношении весьма сильно разнятся между собой. При этом разница между изданиями может состоять не только в нескольких строках, но иногда в странице, двух и больше...

Со временем стало очевидно, что Никон и царь хотят не просто исправления каких-то погрешностей переписчиков, а изменения всех старых русских церковных чин и обрядов в соответствии с новыми греческими. «Трагедия расколоторческой реформы в том и состояла, что была предпринята попытка «править прямое по кривому», провозгласив содержавшие погрешности формы религиозного культа позднейшего времени древнейшими, единственно верными и единственно возможными, а всякое отклонение от них — злом и ересью, подлежащей насильственному уничтожению»^[112].



Боярыня. Художник К. Е. Маковский



Боярская семья XVII века

Боярская площадка в Московском Кремле. Художник Ф. Я. Алексеев





Выход боярыни. Художник А. М. Васнецов



У Мясницких ворот Белого города в XVII веке. Художник А. М. Васнецов



Алексей, человек Божий, и Мария Египетская.

Икона, написанная к бракосочетанию царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны. 1648 г.



Выбор невесты Алексеем Михайловичем. Художник Г. С. Седов



Царица Мария Ильинична Милославская



Царь Алексей Михайлович



Царская площадка и Красное крыльцо Грановитой палаты в Кремле. Художник А. М. Васнецов



В горнице древнерусского дома московских времен. Художник А. М. Васнецов



Под венец. Художник К. Е. Маковский



Церковь Святых Бориса и Глеба в Зюзине



Русские женщины XVII столетия в церкви. Художник А. П. Рябушкин



Царь Алексей Михайлович



Патриарх Никон со своим клиром. Художник Ф. Г. Солнцев



Вид на Теремной дворец и собор Спаса на Бору, Художник Ф. Я. Алексеев



Царица Наталья Кирилловна Нарышкина



Царевна Ирина Михайловна



Основные различия между старыми и новыми обрядами. Старообрядческий лубок XIX в.



Боярин Артамон Сергеевич Матвеев



Патриарх Питури́м



Московский за́стенок. Ко́нец XVI века. Художник А. М. Васнецов



Боярыня Морозова на допросе у митрополита. Миниатюра конца XVIII в.



Новодевичий монастырь



Боярыня Морозова посещает протопопа Аввакума в темнице. Художник П. Щеглов



Боярыня Морозова, Художник В. И. Суриков



*Боровские мученицы Ф. П. Морозова, княгиня Е. П. Урусова и М. Г. Данилова,
Миниатюра конца XIX в.*



Пафнутьев Боровский монастырь

Днѣмъ твоимъ бѣгоу помилю на волюбивыи
мой (С)вѣтлыи (Е)н (С)вѣтлыи Хрѣсто по Христе
Хорошо пишете оуше величїица оуше величїица
Христе прии (С)вѣтлыи оуше Христе
те твоя родима лубовна по Христе любите
Дрѣдъ дрѣдъ и братъ берегите и дрѣдъ урите
Брата (С)вѣтлыи твоя говоритъ ему лубовно
Келеситъ оуше оуше (С)вѣтлыи мой (С)вѣтлыи
шкыи добрая моя не забвѣа мѣна пѣтлыи
полюбъ тѣ (С)вѣтлыи моя молдъ утѣа бѣтлыи
Сти тѣ (С)вѣтлыи (С)вѣтлыи и тѣ (С)вѣтлыи
мѣна величїица бѣтлыи не забвѣа (С)вѣтлыи
мало пишете и забвѣа оуше величїица лубовна не полюб
Оуше хорошо написа (С)вѣтлыи молитѣя (С)вѣтлыи
шиль (С)вѣтлыи (С)вѣтлыи оуше величїица молитѣя
полюбъ тѣ родима бѣтлыи и лубовна и про
попѣя ана (С)вѣтлыи говоритъ канѣи по Ха
лѣтлыи оуше величїица канѣи говоритъ

Фрагмент письма княгини Е. П. Урусовой



*Юлия Мельникова в роли боярыни Морозовой в фильме Н.Н. Достая «Раскол»
(2011 год)*



Могилы святых мучениц Феодоры и Евдокии. 1910-е гг.



Старообрядческая часовня на месте гибели боровских мучениц боярыни Ф. П. Морозовой, княгини Е. П. Урусовой и М. Г. Даниловой

И действительно, изменений было множество. Перечислим лишь некоторые, наиболее важные с точки зрения православной догматики и церковных канонов:

1. Двоперстие, древняя, унаследованная от апостольских времен форма перстосложения при крестном знамении, было названо «арменскою ересью» и заменено на троеперстие. В качестве священнического перстосложения для благословения была введена так называемая малакса, или именованное перстосложение. В толковании двоеперстного крестного знамения два протянутых перста означают две природы Христа (Божественную и человеческую), а три (пятый, четвертый и первый), сложенных у ладони, — Святую Троицу. Введя троеперстие (означающее только Троицу), Никон не только пренебрег догматом о Богочеловечестве Христа, но и вводил «богострастную» ересь (то есть, по сути, утверждал, что на кресте страдала не только человеческая природа Христа, а вся Святая Троица). Это новшество, введенное в Русской Церкви Никоном, было очень серьезным догматическим искажением, поскольку крестное знамение во все времена являлось для православных христиан видимым Символом веры. Истинность и древность двоеперстного сложения подтверждаются многими свидетельствами. К ним относятся и древние изображения, дошедшие до нашего времени (например, фреска III века из Усыпальницы Святой Прискиллы в Риме, мозаика IV века с изображением Чудесного лова из церкви Святого Аполлинария в Риме, писаное изображение Благовещения из церкви Святой Марии в Риме, датируемое V веком); и многочисленные русские и греческие иконы Спасителя, Божией Матери и святых угодников, чудесно явленные и древлеписанные (все они подробно перечисляются в фундаментальном старообрядческом богословском труде «Поморские ответы»); и древний чин принятия от ереси ияковитов, который, по свидетельству Константинопольского собора 1029 года, Греческая Церковь содержала еще в XI веке: «Иже не крестит двема перстома, яко Христос, да будет проклят»; и древние книги — Иосифа, архимандрита Спасского Нового монастыря, келейный Псалтырь Кирилла Новоезерского, в греческом оригинале книги Никона Черногорца и прочие: «Аще кто не знаменуется двема персты, якоже Христос, да будет проклят»^[113]; и обычай Русской Церкви, принятый при Крещении Руси от греков и не прерывавшийся вплоть до времен патриарха Никона. Этот обычай был соборно подтвержден в Русской Церкви на Стоглавом соборе в 1551 году: «Аще кто двема персты не благословляет, якоже Христос, или не воображает двема персты крестнаго знамения; да будет проклят, якоже Святии Отцы рекоша». Кроме сказанного выше, свидетельством того, что

двуперстное крестное знамение является преданием древней Вселенской Церкви (а не только Русской поместной), служит и текст греческой Кормчей, где написано следующее: «Древние христиане иначе слагали персты для изображения на себе креста, чем нынешние, то есть изображали его двумя перстами — средним и указательным, как говорит Петр Дамаскин. Вся рука, говорит Петр, означает единую ипостась Христа, а два перста — два естества Его». Что касается троеперстия, то ни в каких древних памятниках до сих пор не найдено ни одного свидетельства в его пользу.

2. Были отменены принятые в дораскольной Церкви земные поклоны, являющиеся несомненным церковным преданием, установленным Самим Христом, о чем есть свидетельство в Евангелии (Христос молился в Гефсиманском саду, «пад на лице Свое», то есть делал земные поклоны) и в святоотеческих творениях. Отмена земных поклонов была воспринята как возрождение древней ереси непоклонников, поскольку земные поклоны вообще и в частности совершаемые в Великий пост, являются видимым знаком почитания Бога и Его святых, а также видимым знаком глубокого покаяния. В предисловии к Псалтырю 1646 года издания говорилось: «Проклято бо есть сие, и с еретики отвержено таковое злочестие, еже не творити поклонов до земли, в молитвах наших к Богу, в церкви во уреченныя дни. Тако же о сем, и не не указахом от устава святых отец, зане во мнозех вкоренися таковое нечестие и ересь, еже коленное непрекланяние, во Святыи Великии пост, и не может убо слышати всяк благочестивый, иже соборныя церкви апостольския сын. Таковаго нечестия и ереси, ни же буди в нас таковое зло в православных, яко же глаголют святии отцы»^[114].

3. Трисоставный восьмиконечный крест, который издревле на Руси был главным символом православия, заменен двусоставным четырехконечным, ассоциировавшимся в сознании православных людей с католическим учением и называвшимся «латинским» (или «ляцким») «крыжом». После начала реформы восьмиконечный крест изгонялся из церкви. О ненависти к нему реформаторов говорит тот факт, что один из видных деятелей новой церкви — митрополит Димитрий Ростовский — называл его в своих сочинениях «брынским», или «раскольническим». Только с конца XIX века восьмиконечный крест начал постепенно возвращаться в новообрядческие церкви.

4. Молитвенный возглас — ангельская песнь «аллилуйя» — стал четвериться у никониан, поскольку они поют трижды «аллилуйя» и четвертое, равнозначное, «Слава Тебе, Боже». Тем самым нарушается

священная троичность. При этом древняя «сугубая» (то есть «двойная») аллилуйя» была объявлена реформаторами «богомерзкою македониевой ересью».

5. В исповедании православной веры — Символе веры, молитве, перечисляющей основные догматы христианства, из слов «в Духа Святаго Господа истиннаго и животворящаго» изъято слово «истиннаго» и тем поставлена под сомнение истинность Третьего Лица Святой Троицы. Перевод слова «то Киριου», стоящего в греческом оригинале Символа веры, может быть двояким: и «Господа», и «истиннаго». Старый перевод Символа включал в себя оба варианта, подчеркивая равночестность Святого Духа с другими лицами Святой Троицы. И это нисколько не противоречит православному учению. Неоправданное же изъятие слова «истиннаго» разрушало симметрию, жертвуя смыслом ради буквального калькирования греческого текста. И это у многих вызвало справедливое возмущение. Из сочетания «рожденна, а не сотворенна» выброшен союз «а» — тот самый «аз», за который многие готовы были идти на костер. Исключение «аза» могло мыслиться как выражение сомнения в нетварной природе Христа. Вместо прежнего утверждения «Его же царствию несть (то есть нет) конца» введено «не будет конца», то есть бесконечность Царствия Божия оказывается отнесенной к будущему и тем самым ограниченной во времени. Изменения в Символе веры, освященном многовековой историей, воспринимались особенно болезненно. И так было не только в России с ее пресловутым «обрядоверием», «буквализмом» и «богословским невежеством». Здесь можно вспомнить классический пример из византийского богословия — историю с одной только измененной «йотой», внесенной арианами в термин «единосущный» (греческое «омоусиос») и превратившей его в «подобосущный» (греческое «омиусиос»). Это искажало учение святого Афанасия Александрийского, закрепленное авторитетом Первого Никейского собора, о соотношении сущности Отца и Сына. Именно поэтому Вселенские соборы запретили под страхом анафемы любые, даже самые незначительные перемены в Символе веры.

6. В никоновских книгах было изменено само написание имени Христа: вместо прежнего «Исус», встречающегося до сих пор и у других славянских народов, было введено «Иисус», причем единственно но правильной была объявлена исключительно вторая форма, что возводилось новообрядческими богословами в догмат. Так, по кощунственному толкованию митрополита Димитрия Ростовского, дореформенное написание имени «Исус» в переводе якобы означает «равноухий»,

«чудовищное и ничего не значащее»^[115].

7. Была изменена форма Иисусовой молитвы, имеющей, согласно православному учению, особую мистическую силу. Вместо слов «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя грешнаго» реформаторы постановили читать «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй мя грешнаго». Иисусова молитва в ее дониконовском варианте считалась молитвой вселенской (универсальной) и вечной как основанная на евангельских текстах, как первое апостольское исповедание, на котором Иисус Христос создал Свою Церковь.^[116] Она постепенно вошла во всеобщее употребление и даже в Устав церковный. Указания на нее есть у святых Ефрема и Исаака Сирина, святого Исихия, святых Варсонофия и Иоанна, святого Иоанна Лествичника. Святитель Иоанн Златоуст говорит о ней так: «Умоляю вас, братие, никогда не нарушайте и не презирайте молитвы сей». Однако реформаторы выбросили эту молитву из всех богослужебных книг и под угрозой анафем воспретили ее произносить «в церковном пении и в общих собраниях». Ее стали называть потом «раскольнической».

8. Во время крестных ходов, таинств крещения и венчания новообрядцы стали ходить против солнца, в то время как, согласно церковному преданию, это полагалось делать по солнцу (посолонь) — вслед за Солнцем-Христом. Здесь нужно отметить, что подобный ритуал хождения против солнца практиковался у разных народов в ряде вредоносных магических культов.

9. При крещении младенцев новообрядцы стали допускать и даже оправдывать обливание и окропление водой, вопреки апостольским постановлениям о необходимости крещения в три погружения (50-е правило Святых Апостол). В связи с этим был изменен чиноприем католиков и протестантов. Если по древним церковным канонам, подтвержденным Собором 1620 года, бывшим при патриархе Филарете, католиков и протестантов требовалось крестить с полным троекратным погружением, то теперь они принимались в господствующую церковь только через миропомазание.

10. Литургию новообрядцы стали служить на пяти просфорах, утверждая, что иначе «не может быть сущее тело и кровь Христовы» (по старым Служебникам полагалось служить на семи просфорах).

11. В церквях Никон приказал ломать «амбоны» и строить «рундуки», то есть была изменена форма амвона (предалтарного возвышения), каждая часть которого имела определенный символический смысл. В

дониконовской традиции четыре амвонных столба означали четыре Евангелия, если был один столб — он означал камень, отваленный ангелом от пещеры с телом Христа. Никоновские пять столбов стали символизировать папу и пять патриархов, что содержит в себе явную латинскую ересь.

12. Белый клобук русских иерархов — символ чистоты и святости русского духовенства, выделявший их среди вселенских патриархов, — был заменен Никоном на «рогатую колпашную камилавку» греков. В глазах русских благочестивых людей «клобуцы рогатые» были скомпрометированы тем, что не раз обличались в ряде полемических сочинений против латинян (например, в рассказе о Петре Гугнивом, входившем в состав Палеи, Кириловой книги и макарьевских Четых Миней). Вообще при Никоне произошла перемена всей одежды русского духовенства по новогреческому образцу (в свою очередь, подвергшемуся сильному влиянию со стороны турецкой моды — широкие рукава ряс наподобие восточных халатов и камилавки наподобие турецких фесок). По свидетельству Павла Алеппского, вслед за Никоном пожелали переменить свои одеяния многие архиереи и монахи. «Многие из них приходили к нашему учителю (патриарху Антиохийскому Макарию. — К. К.) и просили его подарить им камилавку и клобук... Кому удалось приобрести их и на кого возложил их патриарх Никон или наш, у тех лица открылись и сияли. По этому случаю они наперерыв друг перед другом стали заказывать для себя камилавки из черного сукна по той самой форме, которая была у нас и у греческих монахов, а клобуки делали из черного шелка. Они плевали перед нами на свои старые клобуки, сбрасывая их с головы, и говорили: «Если бы это греческое одеяние не было божественного происхождения, не надел бы его первым наш патриарх»»^[117]. По поводу этого безумного оплевания своей родной старины и низкопоклонства перед иностранными обычаями и порядками протопоп Аввакум писал: «Ох, ох, бедныя! Русь, чего-то тебе захотелось немецких поступов и обычаев!» и призывал царя Алексея Михайловича: «Воздохни-тко по-старому, как при Стефане, бывало, добренько, и рцы по русскому языку: «Господи, помилуй мя грешнаго!» А кирелеисонот^[118] отставь; так елленя (греки. — К. К.) говорят; плюнь на них! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так и подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его. Чево же нам хочется лучше тово? Разве языка

ангельска? Да нет, ныне не дадут, до общаго воскресения»^[119].

13. Была изменена древняя форма архиерейских посохов. По этому поводу протопоп Аввакум с негодованием писал: «Да он де же, зломудренный Никон, завел в нашей Росии со единомысленники своими самое худое и небогоугодное дело — вместо жезла святителя Петра чудотворца доспел внов святительския жезлы с проклятыми змиями погубльшими прадеда нашего Адама и весь мир, юже сам Господь проклял от всех скотов и от всех зверей земных. И ныне они тую проклятую змию освящают и почитают паче всех скотов и зверей и вносят ея во святилище Божие, во олтарь и в царския двери, яко некое освящение и всю церковную службу с теми жезлами и с проклятыми змиями соделанными действуют и везде, яко некое драгоценное сокровище, пред лицом своим на оказание всему миру тех змей носити повелевают, ими же образуют потребление православныя веры»^[120].

14. Вместо древнего пения было введено новое — сначала польско-малороссийское, а затем итальянское. Новые иконы стали писать не по древним образцам, а по западным, отчего они стали более похожими на светские картины, чем на иконы. Всё это способствовало культивированию в верующих нездоровой чувственности и экзальтации, ранее не свойственных православию. Постепенно древнее иконописание было сплошь вытеснено салонной религиозной живописью, раболепно и неискусно подражавшей западным образцам и носившей громкое наименование «икон итальянского стиля» или «в итальянском вкусе», о которой старообрядческий богослов Андрей Денисов так отзывался в «Поморских ответах»: «Нынешние же живописцы, тое (то есть апостольское. — К. К.) священное предание изменивше, пишут иконы не от древних подобий святых чудотворных икон греческих и российских, но от своерасудительнаго смышления: вид плоти одебелевают (утолщают), и в прочих начертаниих не подобно древним святым иконам имеюще, но подобно латинским и прочим, иже в Библиях напечатаны и на полотнах малиованы. Сия живописательная новоиздания раждают нам сомнения...»^[121] Еще более резко характеризовал подобного рода религиозную живопись протопоп Аввакум: «По попущению Божию умножися в нашей русской земли иконнаго писма неподобнаго изуграфы... Пишут Спасов образ Еммануила; лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедра толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен, лишю сабли той при бедре не писано. А то все писано по плотскому умыслу: понеже сами

еретицы возлюбиша толстоту плотскую и опровергоша долу горняя... А Богородицу чревату в Благовещение, яко же и фрязи поганья. А Христа на кресте раздутова: толстехунек миленькой стоит, и ноги-те у него, что стулчики»^[122].

15. Были допущены браки с иноверцами и лицами, состоящими в запрещенных Церковью степенях родства.

16. В новообрядческой церкви был отменен древний обычай избрания духовных лиц приходом. Его заменили постановлением по назначению сверху.

17. Наконец, впоследствии новообрядцы уничтожили древнее каноническое церковное устройство и признали светскую власть главой церкви — по образцу протестантских церквей.

Были и другие новшества, которые со временем всё более умножались. Так, если в «Поморских ответах» (начало XVIII века) перечисляется 58 статей, по которым реформированная новообрядческая церковь отличалась от древлеправославной, то к концу XVIII столетия в старообрядческом трактате «Щит веры» перечисляется уже 131 вид изменений! Новшества росли словно снежный ком. При этом многие древние чинопоследования церковных таинств были существенно сокращены и изменены (чин крещения, покаяния, венчания, хиротоний), а некоторые древние чины и вовсе упразднены (чин омовения трапезы, омовения святых мощей, причащения богоявленской водой, пострижения инокини, братотворения, чин «хотящему затвориться», чины пещного действия, начала индикта). Одновременно вводились новые, неизвестные православию чинопоследования, заимствованные из Требника митрополита Киевского Петра Могилы, образцом для которого, в свою очередь, служили католические требники.

Но самое главное — это изменение в духе Церкви. После Никона новообрядческая церковь утрачивает дух соборности, подпадает под власть государства и вынуждена прогибаться при каждой новой смене правительства, изменяя при этом и приспособлявая к новым веяниям свое учение — вплоть до наших дней. Наподобие католической церкви, новообрядческая церковь разделяется на «церковь учащую» и «церковь учимую». Согласно позднему богословию новообрядческой церкви, истинная церковь — это иерархия, епископы и священники, а народ — ничто в церкви, и его дело — беспрекословно подчиняться решениям иерархии, даже если они противоречат духу Христовой веры и здравому смыслу. Ни о какой выборности священства и епископата, как было в древней Церкви, и речи быть не может. Всё это способствовало появлению

в русском народе лжепослушания и лжесмирения. Далее появились и еще более отвратительные явления в жизни церкви: совершение таинств за деньги, нарушение тайны исповеди (что прямо предписывалось «главой церкви» — императором Петром I), совершение таинств над людьми неверующими, приходящими креститься и венчаться «по традиции» или «на всякий случай», коммерциализация и секуляризация церкви...

*

Чем же руководствовались Никон и стоявший за его спиной царь, предпринимая неслыханные по своему масштабу реформы? Что толкало их к такому решительному разрыву со всей прежней богослужебной традицией, освященной авторитетом многочисленных русских святых? Соображения, которыми руководствовались реформаторы, были исключительно политическими и к духовной жизни никакого отношения не имели. Перед прельщенными взорами царя и патриарха заманчиво блистал цареградский венец. И тот и другой грезил об освобождении Константинополя от турок и о византийском престоле. Льстивые восточные патриархи распускали перед ними павлиньи веера, рисуя картины земного торжества православия, обещая им восстание поработенных греков в ответ на объявление Россией войны турецкому султану. Русский царь должен был занять престол Константина Великого, а московский патриарх Никон — стать вселенским патриархом. Но для достижения территориального единства православных народов требовалась лишь одна незначительная «мелочь»: сначала надо было прийти к единству обрядовому, поскольку русские чинопоследования и церковные обычаи того времени сильно отличались от греческих.

«Царь Алексей Михайлович, воспитавшийся в грекофильских воззрениях, был искренним, убежденным грекофилом, — писал историк Н. Ф. Каптерев. — Вместе со своим уважаемым духовником, — благовещенским протопопом Стефаном Вонифатьевичем, он пришел к мысли о необходимости полного единения во всем русской церкви с тогдашнею греческою и уже ранее патриаршества Никона... предпринял ряд мер для осуществления этой мысли, которой он остался верен до конца своей жизни. Сам Никон как реформатор-грекофил был, в значительной степени, созданием царя Алексея Михайловича и, сделавшись благодаря ему патриархом, должен был осуществлять в свое патриаршество мысль государя о полном единении русской церкви с тогдашнею греческою,

причем царь оказывал ему в этом деле постоянную, необходимую поддержку. Без энергичной и постоянной поддержки государя одному Никону, только своею патриаршею властью, провести свои церковные грекофильские реформы было бы решительно невозможно»^[123].

Другой причиной являлось то, что после воссоединения Украины с Россией (1654) возникла необходимость в создании единых норм богослужения и богослужебного языка (южнорусский, киевский извод славянского языка значительно отличался от московского извода). Грекофильская ориентация царя и патриарха привела Русскую Церковь к принятию не московской нормы богослужения (наиболее близкой к ранневизантийской), а южнорусской, в большей степени соответствовавшей греческим текстам и традициям XVII века. Здесь следует сказать, что на Украине реформа, аналогичная никоновской, была проведена на 50 лет ранее вышеназванным митрополитом Петром Могилой и привела к тому, что киевское богословие и богослужение оказались сильно заражены католическим влиянием.

О том, что в подобной реформе были в первую очередь заинтересованы католические круги, говорит тайная инструкция, данная польскими иезуитами в 1605 году самозванцу Лжедмитрию II, о том, как ввести унию с католиками в России, то есть, по сути, подчинить русских власти римского папы. В инструкции, в частности, говорилось:

«...д) Самому государю заговаривать об унии редко и осторожно, чтоб не от него началось дело, а пусть сами русские первые предложат о некоторых *неважных предметах веры* (курсив мой. — К. К.), требующих преобразования, и тем проложат путь к унии;

е) издать закон, чтобы в Церкви Русской *всё подведено было под правила соборов отцов греческих*, и поручить исполнение закона людям благонадежным, приверженцам унии: возникнут споры, дойдут до государя, он назначит собор, а там можно будет приступить и к унии...

з) намекнуть черному духовенству о льготах, белому о наградах, народу о свободе, всем — о рабстве греков;

и) учредить семинарии, для чего призвать из-за границы людей ученых, хотя светских»^[124].

Подобные «прожекты» еще в XVI веке предлагал царю Ивану Васильевичу Грозному папский посол иезуит Антонио Поссевино, однако великий государь имел тогда мудрость ответить на это: «Греки нам не Евангелие». Ну а в царствование Алексея Михайловича политика иезуитов стала блестяще осуществляться, и заезжие греческие авантюристы в глазах

недалекого царя и послушного ему патриарха, похоже, заслонили собою евангельские заповеди.

В результате осуществления упомянутого выше иезуитского плана были убиты сразу два зайца. С одной стороны, втянувшись в «греческий проект», Россия отвлекала на себя значительные силы турок, возобновивших как раз в это время экспансию в Европу. В 1650 году серьезные административные изменения в Стамбуле возродили былую воинственность османов. В 1660 году они захватили остров Крит, принадлежавший Венеции, и, сжав кольцо вокруг Венгрии, продолжали свое продвижение по Дунаю в Австрию. В 1683 году они осадили Вену, находящуюся в самом сердце Европы, на пол пути между Стамбулом и Падде-Кале...

С другой стороны, втягивая Россию в «греческий проект» и непосредственно связанную с ним церковную реформу, европейцы значительно ослабляли своего давнего конкурента: успевшая оправиться после Смуты и начинавшая стремительно развиваться Россия была расчленена — если пока не физически, то духовно уж точно. Русская Церковь раскололась, причем та ее часть, которая вынуждена была принять под давлением правительства реформы, на столетия заразилась духом латинства, а впоследствии — и протестантизма, усвоив многие западные обычаи и догматы.

*

Однако, к счастью, была и другая часть Русской Церкви, получившая у историков название «старобрядцев». Само название «старобрядчество», введенное в гражданский лексикон при Екатерине II, — хоть и вынужденное, но совершенно неточное, не выражающее сути этого сложного явления, поскольку оно сводит все различия между сторонниками и противниками никоновских реформ исключительно к обрядовым, «внешним», как бы второстепенным. Но, во-первых, само слово «обряд» в данном значении — позднее; оно не встречается ни в учении апостолов, ни в трудах Отцов Церкви, ни в постановлениях Вселенских соборов. Ни византийское, ни древнерусское богословие не знало такого понятия. Введено оно было уже в Петровскую эпоху и прочно вошло в обиход господствующей церкви из протестантского богословия, которое заимствовало его, в свою очередь, из средневековой латинской схоластики. Это слово — не церковное. Древность знает понятия «тайнство», «чин»

или «последование», но не знает слова «обряд».

Во-вторых, для православного сознания вообще нехарактерны разделение на «внешнее» и «внутреннее» и их противопоставление. Святой Иоанн Златоуст писал: «Господь Бог глубиной мудрости Своя человеку, видимым телесем облеченному, под видимыми и телесными знаменами невидимыя дары Своя дает. Ибо аще бы точию едину имел человек душу без телесе, ящии же суть ангели, то убо без сих вещественных и чувственных и видимых знамений взимал бы дары Божия, но понеже телесем обложен есть человек, сего ради кроме видимых и чувственных знамений благодать Божию не может прияти»^[125]. Аналогичную мысль высказывал святой Симеон Фессалоникийский: «Так как мы двойственны, состоя из души и тела, то и священнодействия Христос предал нам, имеющие две стороны, так как и Сам истинно соделался ради нас сугубым пребывая истинным Богом и соделавшись истинным Человеком. Таким образом, Он благодатию Духа мысленно освящает наши души, а чувственными водою, елеем, и хлебом и чашею, и прочим, что освящается Духом, освящает и тела наши и дарует всесовершенное спасение»^[126].

О значении обряда в жизни Церкви очень точно написал видный старообрядческий богослов Ф. Е. Мельников: «Обряд есть плоть живая, тело всякого священнодействия. Нет ни одного таинства церковного, ни одного священнодействия, ни одного церковного богослужения, которые можно было бы совершить без обряда, без видимого проявления, без формы, вернее, — без тела, без плоти и крови. Как, например, могло бы совершиться величайшее таинство Христово — Божественная Литургия, св. Причащение без хлеба и вина? Как можно совершить миропомазание без самого мира, без вещества, из которого оно состоит? То же можно спросить и обо всех церковных таинствах. Разве может быть св. крещение без воды, без купели, без крещаемого и без крестителя? Без обряда нет самого таинства, нет даже религии. Самая благодать Св. Духа преподается через видимое вещество, через плоть или тело, видимое, осязаемое, воспринимаемое нашими телесными чувствами. Сам Сын Божий не мог явиться к людям без плоти и крови, без воплощения. Бог Отец также всегда проявлял себя в видимой и слышимой форме-обряде: в виде облака, горящего куста; голоса человеческого, как при крещении Иисуса Христа; необычайного сияния, как на горе Фаворе. Дух Святой в виде голубя или огненных языков. В этом и есть сущность таинства, в этом соединении Божества с плотью, в этом проявлении его через обряд, видимую или осязаемую форму или вещество, материю»^[127].

Следовательно, внутреннее и внешнее, духовное и материальное неразрывно связаны в церковных таинствах и чинах, как, по определению Халкидонского собора, «нераздельно и неслиянно» сочетаются во Христе две Его природы — Божественная и человеческая. А потому совершенно невозможно выделять в таинствах внешнее, якобы неважное, несущественное, вторичное, так называемый обряд-оболочку, и внутреннее — главное, существенное, первичное. Изменение формы всегда ведет к изменению содержания, равно как и наоборот. Следовательно, более правильным было бы самоназвание, которое усвоили себе последователи древнего благочестия: «староверы», или «древлеправославные христиане».

О старообрядцах, или староверах, часто говорили как об «отделившихся», «отколовшихся» от Русской Православной Церкви — подразумевая под словом «церковь» исключительно ту часть русского общества, которая приняла насильственно навязанные сверху реформы. Подобные определения, к сожалению, нередко повторяются во многих современных религиозно-исследовательских исследованиях и справочных изданиях. Однако данные определения противоречат важнейшим положениям старообрядческой религиозной доктрины, согласно которой старообрядчество никогда не отделялось от Православной Церкви и, как ее часть, возникло в I веке по Рождестве Христовом вместе с основанием христианства. Противоречат они и простой логике. Известный мыслитель В. Г. Сенатов справедливо писал: «Не при Никоне патриархе оно (старообрядчество. — К. К.) возникло и окрепло, а раньше его, так что изначальный момент старообрядчества должен быть отодвинут в глубь веков, он простирается в страшную историческую даль, доходит до самых цветущих времен восточной церкви и апостольского века. Раньше же Никона старообрядчество развивалось в удивительно пышный цвет, оно торжествовало на Стоглавом соборе, его исконным представителем является митрополит Макарий, его исповедовали и князья, и цари московские, и целые сонмы русских святых, оно именно было господствующим исповеданием на русской земле до Никона патриарха, воспитавшегося в нем же и имевшего силу изменить ему. При Никоне патриархе старообрядчество не началось, не зародилось, а было смещено, заменено чем-то иным, новым, старообрядчество же раскидано было по всей русской земле. То, что обыкновенно называют старообрядчеством, или расколом, в сущности есть не что иное, как часть некогда великой и цветущей церкви, искони живой, растущей, одухотворенной»^[128]. Так что гораздо корректнее и логичнее говорить не об отделении старообрядчества от Православной Церкви, а о разделении некогда единой Православной

Церкви и об отходе от нее — как в учении, так и в практике — новообрядчества.

Впрочем, современному человеку может показаться странной такая преданность вере, желание умереть за «единый аз», как может показаться совершенно непонятной суть разногласий между старо-и новообрядцами. Но не следует мерить других людей своим аршином. Если мы чего-то не понимаем, в этом скорее наша слабость, а не преимущество. Вспомним о том, что древнерусский человек жил в атмосфере религиозности и что монастырский уклад жизни был принят в каждой благочестивой семье. Главнейшей его потребностью была не только телесная пища, но и духовная.

Христианство русские восприняли от греков еще в X веке и свято и нерушимо хранили православную веру, хранили апостольское предание. После церковного раскола 1054 года, разделившего единую до того Церковь Христову на православных и католиков, и падения в 1453 году «второго Рима» — Константинополя — Москва фактически оказалась последним оплотом православной веры на земле. К XVI веку Московская Русь — «Третий Рим», как всё чаще ее стали теперь называть, — выросла в сильное независимое государство и по праву сделалась наследницей Византии. Это византийское наследство понималось тогда прежде всего в духовном, а не политическом плане, то есть как величайшая ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям неповрежденного апостольского предания во всей его полноте. Благочестие, процветавшее в русском народе, вызывало изумление у иноземных гостей, с благоговением взиравших на недостижимые высоты человеческого духа.

Вместе с тем сколь бы ни были важны для средневековой картины мира обрядовые различия, трещина в русском обществе XVII века, разделившая его на старообрядцев и новообрядцев, проходила гораздо глубже. С никоновскими реформами, устлавшими путь последующим преобразованиям Петра I, жизнь русского человека сильно изменилась. Началось обмирщение древнерусской культуры, обмирщение жизни. Под воздействием западной культуры происходит обособление русской культуры от Церкви и превращение светской, обмирщенной культуры в автономную область. Это повлекло за собой расслоение русского общества. Если раньше русское общество (при всех различиях в социальном положении) в культурно-религиозном отношении было однородным, то западное влияние, по словам историка В. О. Ключевского, разрушило эту нравственную цельность: русское общество, не одинаково проникаясь

западными влияниями, расколось наподобие неравномерно нагреваемого стекла.

Со времен никоно-алексеевского раскола и последовавших за ним петровских преобразований в России, по сути дела, существовало два народа, каждый со своей собственной культурой. Одна культура — светская, прозападно ориентированная — укоренилась в центре культурной и общественной жизни, другая — религиозная, ориентированная национально, вынуждена была уйти на периферию национально-исторического развития. Когда говорят о русской культуре XVIII–XX веков, то подразумевают преимущественно первую культуру («культуру барина», в терминологии В. П. Рябушинского), лишь вскользь упоминая о второй («культуре мужика») или вообще о ней не упоминая.

Однако парадоксальным образом оказывалось, что «начитанный, богатый купец-старообрядец с бородой и в русском длиннополом платье, талантливый промышленник, хозяин для сотен, иногда тысяч человек рабочего люда и в то же время знаток древнего русского искусства, археолог, собиратель икон, книг, рукописей, разбирающийся в исторических и экономических вопросах, любящий свое дело, но полный и духовных запросов, — такой человек был «мужик»; а мелкий канцелярист, выбритый, в западном камзоле, схвативший кое-какие верхушки образования, в сущности малокультурный, часто взяточник, хотя и по нужде, всех выше себя стоящих втайне критикующий и осуждающий, мужика глубоко презирающий, один из предков грядущего русского интеллигента, — это уже «барин»»^[129].

Выброшенная на периферию магистрального развития русской культуры, та часть русского народа, которая категорически не приняла никоно-петровской реформации и получила у историков название «старообрядцев», а у своих гонителей — презрительную кличку «раскольников», поразительным образом сумела сохранить прежний духовный идеал, вдохновлявший наших предков со времен Крещения Руси, и пронести его сквозь века до начала третьего тысячелетия. Это была самая убежденная часть русского народа — «последние верующие», как метко назвал их философ В. В. Розанов. И боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова станет ярчайшей представительницей и вдохновительницей этого духовного движения.

«Вдова я молодая после мужа своего, государя, осталася»

Как поначалу отнеслась к никоновским «новинам» Феодосия Прокопьевна? Об этом мы не знаем, но, скорее всего, как и большинство православных русских людей, отрицательно. Не могла принять ее чистая душа новой веры и отречься от освященной веками веры отцов. Однако ее высокое положение обязывало... «Общественное и служебное положение мужа Морозовой боярина Глеба Ивановича... не позволяло допускать каких-либо проявлений открытого протеста против властей, даже если Морозова и при жизни мужа тайно сочувствовала старообрядчеству», — писал А. И. Мазунин^[130]. Но время шло и всё расставляло по своим местам.

1 ноября 1661 года скончался боярин Борис Иванович Морозов. В последние годы он страдал подагрой и совсем не выходил из дома. Царь, как свидетельствует А. Мейерберг, часто «навещал его, утратившего уже всякое чувство и сознание, не пропуская ни одного дня, по одному только простому долгу, а не в видах будущих заслуг за то». Но от «будущих заслуг», впрочем, царь тоже не отказался. Шотландский генерал на русской службе Патрик Гордон сообщает в своем «Дневнике» за 1662 год: «В эту зиму умер боярин Борис Иванович Морозов, не оставив после себя детей; свое огромное состояние и массу наличных денег он завещал царю, иностранным же офицерам завещал выплатить месячное их жалование рейхсталерами, что и было исполнено»^[131].

Узнав о том, что боярин Морозов находится при смерти, патриарх Никон, оставивший Москву и пребывавший в самовольном изгнании в Новом Иерусалиме, прислал ему свое прощение и благословение. Одновременно Никон просил у Морозова пожертвовать вотчину или денежное жалованье выстроенному им Воскресенскому Новоиерусалимскому монастырю и обещал в случае смерти боярина в этом монастыре его и похоронить. Возможно, это было сделано из политических соображений: Никон надеялся, что царь приедет на похороны своего любимца в резиденцию опального патриарха и лично встретится с ним. Однако Борис Иванович был похоронен на кладбище кремлевского Чудова монастыря — родовой усыпальницы Морозовых. Погребение его состоялось 2 ноября 1661 года, и на нем присутствовал сам царь. «Ноября в 2 день ходил Государь в Чюдов монастырь: слушал обедни в соборной церкви Чюдо Архистратига Михаила и был на погребение боярина Бориса Ивановича Морозова. А на Государе было платья: опошень понахидной, зуфь вишнева, нашивка торочковая тафтяная, пуговицы серебряны золочены; ферези, тафта зелена, испод черева бельи; зипун, обьярь

лазорева; шапка, сукно вишнево, петли низаны жемчугом. Посох каповой, подножье сукно багрец червчет»^[132]. На пышные похороны боярина Морозова царем из казны было выделено 10 тысяч рублей. 3 ноября царь присутствовал и на третинной панихиде в той же церкви Чуда Архангела Михаила.

И в дальнейшем царь постоянно поминал своего умершего «дядьку». Особенно торжественной была поминальная служба по Морозову летом 1667 года, во время пребывания в Москве «вселенских» патриархов. «У вечерни был святейший Иоасаф патриарх, в Чюдове монастыре в трапезе, у понахиды были и Вселенские оба патриарси; после понахиды боярин Илья Данилович Милославской подносил всем трем патриархом золотые и ефимки да по сороку соболей. Наутрее литургию божественную служили вси трие патриарси, в Чюдове монастыре, в церкви Архистратига Михаила: в то время указали Вселенские патриарси, на литургии, сначала говорить возгласы, в олtare, архимандритом первым; в то время начал говорить Филарет архимандрит Рожественного монастыря из Володимеря и с прочими архиереи и со властьюми. И всем архиереям были денги с вечера, по росписи, и причетником патриаршим и властелинским были ж; певчие дьяки патриарши и подьяки обедали по прежнему, у Анны Ильичны в дому, с протопопами и со священники. Государь царь пел понахиду по боярине Илье Иоанновиче преж того, июля в 18 день (день рождения боярина Морозова. — К. К.), в четверг с вечера: у понахиды сам государь царь был, да был у вечерни и у понахиды святейший Иоасаф патриарх с прочими архиереи и со властьюми, и литургию божественную служил в церкви Архангела Михаила; а Вселенские патриарси тогда не были, ни с вечера, ни с утра»^[133].

Относительно наследства боярина Бориса Морозова до сих пор многое остается неясным. Выше уже цитировалось сообщение П. Гордона о завещании всего огромного состояния Морозова царю. Однако вряд ли это было так. Кроме вдовы, царской свояченицы Анны Ильичны, оставались еще двое младших братьев — Глеб и Михаил, а также племянник, молодой Иван Глебович — продолжатель династии Морозовых. Некоторые исследователи (в их числе А. М. Панченко и А. И. Мазунин) считали, что именно младший брат Глеб наследовал всё состояние Бориса Ивановича^[134]. Но как же тогда быть с вдовой? Неужели покойный супруг оставил ее без средств к существованию? Документы говорят о другом. Основываясь на описных книгах, калужский краевед А. Е. Храбров достаточно убедительно доказывает, что А. И. Морозова оставалась и после

смерти супруга владелицей многочисленных вотчин в Коломенском, Звенигородском, Каширском, Арзамасском, Тверском, Волоколамском, Вяземском, Нижегородском, Курмышском, Алатырском, Темниковском, Галицком и Рязанском уездах. Анна Ильинична скончалась 26 сентября 1667 года, а уже в октябре ее вотчины были отписаны в казну^[135].

Однако не по всем морозовским вотчинам сохранились документы. Вполне возможно, что дело обстояло сложнее, и огромное состояние боярина Морозова было разделено на несколько частей: значительная часть отошла в царскую казну, что-то наследовала вдова Анна Ильинична, а какая-то часть лакомого морозовского пирога досталась Глебу Ивановичу, а затем его сыну и вдове.

Младший брат ненадолго пережил старшего и скончался в 1662 году. Глеб Иванович был похоронен рядом с братом в Чудовом монастыре. Всё свое состояние он оставил двенадцатилетнему сыну Ивану Глебовичу, но фактически им распорядилась его мать, молодая вдова Феодосия Прокопьевна Морозова. В том же году скончался и отец Морозовой, окольный Прокопий Федорович Соковнин, так что она почти сразу оказалась и вдовой, и сиротой...

Было ей всего тридцать лет, и она была в самом расцвете своей красоты. Вот какой портрет Морозовой рисует великий мастер слова протопоп Аввакум: «Лепота лица твоего сияла, яко древле во Израили святыя вдовы Июдифы, победившыя Навходоносорова князя Алоферна. И знаменита была в Москве пред человеки, яко древняя Деввора во Израили, Есфирь жена царя Артаксеркса. Молящутися на молитве Господу Богу, слезы от очей твоих яко бисерие драгое схождаху, из глубины сердца твоего въздыхания утробу твою терзаху, яко облацы въздух възмуцаху, глаголы же уст твоих яко камение драгое удивителны пред Богом и человеки бываху. Персты же рук твоих тонкостны и действены... Очи же твои молненосны, держастася от суеты мира, токмо на нищих и убогих призирают. Нозе же твои дивно ступание имеют...»^[136]

Палаты боярыни Морозовой были первыми в Москве, ее любили и уважали при царском дворе, и сам царь Алексей Михайлович отличал ее перед другими боярынями. Она именовалась «кравчей царской державы» и была, по словам Аввакума, «в четвертых боярнях». Богатство ее было сказочно. Тот же Аввакум писал о ней: «Жена ты была боярская, Глеба Ивановича Морозова, вдова честная, вверху чина царева, близ царицы. Дома твоего тебе служащих было человек с триста, у тебя же было крестьян 8000, имения в дому твоём на 200 000, или на полтретьи (250

тысяч. — К. К.) было. У тебя же был наследник сын, Иван Глебович Морозов. Другое и сродников в Москве множество много. Ездил к ним на колеснице, еже есть в корете драгой, и устроенной мусиею и серебром, и аргамаки многи, 6 или 12,3 гремьчими цепьми. За тобою же слуг, рабов и рабынь, грядущих 100, или 200, а иногда человек и триста оберегали честь твою и здоровье»^[137].

При своем высоком положении Морозова и одевалась роскошно, в соответствии с тогдашней модой. Аввакум пишет о каких-то невообразимых головных уборах — «треухах», в которых щеголяла молодая боярыня. У историка И. Е. Забелина читаем описание такого «треуха»: «*Треух* — шапка с тремя ушами, защищавшими уши и затылок. Его *верх* (тулья, покрывка) шился из шелковой или золотной ткани, из камки или атласу и алтабасу, которых в кроенье выходило 10, 12 и 16 вершков; но какой формы была эта тулья, в виде ли столбунца или скуфьи, — неизвестно. Впрочем, можно полагать, что это был по покрою тот же каптур, только крытый не мехом, а тканью. Испод у него, как и у каптура, кроился из собольих пупков или из пластин; выходило 5 пупков, а пластин 2 пары. Верх опушался также соболем, на что выходила пара; а кругом опушки поверх соболя *треух* украшался низаньем из жемчуга, или круживом, или запонами с каменьями. Кроме того, у *треуха* были, как и у кик, *лепести*, на которые выходило тафты 2 вершка, во всю ширину (1^{1/2} аршина). *Треухи* принадлежали однако ж, к таким нарядам, которые употреблялись довольно редко. У царицы Евдокии Лукьяновны в казне находим только один *треух* собольий, покрыт атласом червчатым гладким; у Марьи Ильичны также один, а у Натальи Кирилловны 3. У царицы Агафьи Семеновны их было 4; притом они шились уже из богатых тканей и украшались жемчугом и каменьями, что заставляет предполагать, что в конце XVII столетия *треухи* стали входить, так сказать, в моду: «*Треух* атлас виницейский по золотной земле травы и разводы шелк червчат, испод и опушка пластины соболя кругом опушки поверх низано жемчугом кафимским. *Треух* алтабас по золотной земле травы кубы серебряны; испод и опушка пластины соболя; вместо кружева запаны золоты с каменьями с алмазы и с яхонты червчатыми, с городы; кругом запан обнизано жемчугом скатным»»^[138].

К Морозовой сваталось множество самых знатных в России женихов. Казалось бы, о чем еще можно мечтать молодой красивой женщине, к тому же еще и богатой? Но, оставшись вдовой, она целиком посвятила себя делам благочестия и воспитанию своего малолетнего сына Ивана. Ожидая

Жениха Небесного, она отказывала женихам земным. Теперь, как писал И. Е. Забелин, «ее постническое набожное настроение мыслей получает широкий простор для своих действий, для стремлений к заветным идеалам»^[139].

Смерть супруга коренным образом изменила жизнь боярыни Морозовой. Прежде всего изменился ее статус в обществе. Если замужняя женщина или девушка в допетровской Руси, как правило, была человеком домашним, не общественным, зависимым, и жизнь ее проходила в тесных стенах терема, то «матерая вдова», то есть вдова, являвшаяся матерью сыновей, находилась на особом положении. «В одном только случае самостоятельность женщины являлась законною и неоспоримою — в том случае, когда она становилась главою дома... когда по смерти мужа она оставалась *матерою* вдовою... И мы видим, что *матерая* вдова в древнем русском обществе играет в некоторых отношениях мужскую роль; мы видим, что тип этой личности приобретает сильные самостоятельные черты и в общественной жизни, и в исторических событиях, а следовательно, и в народной поэзии, в былинах и песнях. Она пользуется и значительными юридическими правами»^[140].

Боярыня Морозова сама управляла людьми и работала по хозяйству. Целыми часами разбирала она нужды своих крестьян, «любовию и милостию на дело Господне побуждая». Сама пряла и ткала, шила простое платье и белье, а ночью тайком вместе со своей верной служанкой Анной Амосовной или другими близкими подругами-богомолками раздавала его бедным. «До полунощи со Анною домочадицею своею тайно бродишь по темницам и по богаделням, милостынню от дому своего нося, денги и ризы, и потребная комуждо неимущему довольно, овому рубль, а иному десять, а инде пятьдесят Рублев, и мешок сотной», — вспоминал протопоп Аввакум. Щедро подавала боярыня на монастыри и на церкви. Двери морозовского дома всегда были открыты для всех нищих, убогих и странников. При этом она сама кормила нищих, ухаживала за больными и калеками, обмывала им раны, выполняя тем самым завет Христов. «Еще же она, блаженная вдова, имела пред враты своими нища клосна^[141] и расслабленна. Устроили ему келейцу, и верная ее Анна Амосова покоила его, яко матери чадо свое, и гнойные его ризы измываху, и облачаху в понявы^[142] мягкие. Сама же по вся нощи от него благословение приемлюще, рабыня же не отлучашеся от нищего по вся времена»^[143].

Всю свою душу вкладывала Феодосия Прокопьевна в дела благотворительности, являя собой образец подлинной христианской любви.

Протопоп Аввакум, который станет впоследствии духовным отцом боярыни Морозовой, писал об этой любви в таких замечательных словах: «...Разумеете ли силу любви? Не сию, глаголю, любовь, еже любит рачитель блудный рачительницу или пьяница пьяницу; тако же любятся тати с татями и мытарь с мытарем: ядят и пьют и друг друга, восхитя чужая, с любовию да пият. Ни, ни! — се бо есть пагубная, бесовская любовь. Истинная же любовь о Господе Бозе и Спасе нашем, Иисусе Христе; сия есть от трудов и пота лица своего. Алчна накорми; жадна напой; нага одежи; странна в дом свой введи; священство и иночество почитай, главу свою до земли им преклоняй; в темницу пришед, сидящим упокоение сотвори; о вдовице и о сиром попекись; грешника на покаяние приведи; заповедь Божию творити научи; должника искупи; обидимаго заступи; мимоходящему путь укажи и проводи и поклонись. И о всех и за вся молитвы Богу приноси, о здравии и спасении всех православных христиан. Се бо есть сила любви. Аще время привлечет и пострадать брата ради, не оторцыся по Христову словеси»^[144].

Пьер Паскаль пишет: «Боярыня Морозова была истинной христианкой. Ничто — ни тщеславие окружающего ее светского общества, ни ее сестра, ни ее сын — не могло отвлечь ее от приготовления к смертному часу. В среде, стремившейся прежде всего следовать разным прихотям царя, она никогда не хотела покоряться новым обычаям: она всегда крестилась двумя перстами. Она проводила целые часы за молитвой...»^[145]

В доме боярыни Морозовой строго соблюдался церковный устав. День начинался и заканчивался молитвой. Вместе с хозяйкой молились и все домочадцы. Молитва эта всегда была глубокой и сердечной, так что часто можно было увидеть, как из глаз боярыни лились слезы — «яко бисерие драгое схождаху». Часто молилась она и по ночам, ведь известно, что молитва особенно благодатна в ту пору, когда, по словам святого Иоанна Златоуста, «никто не смущает, когда ум спокоен, когда великая тишина и нет никакого волнения в доме, потому что никто не препятствует нам заняться молитвою и не отвлекает от нее, когда возбужденная душа может обстоятельно высказать всё Врачу душ». Ночью боярыня сама вставала на молитву, не давая будить себя слугам, по совету отца духовного клала 300 поклонов да творила 700 молитв Иисусовых...

Однако ни придворные обязанности, ни хозяйственная и благотворительная деятельность, ни даже воспитание любимого сына не могли удовлетворить такую незаурядную женщину, какою была Феодосия

Морозова. Несмотря на свою близость к царскому двору, никоновских нововведений боярыня не приняла, продолжая придерживаться старой православной веры, хотя ей и приходилось порой «лицемериться».

Встреча с протопопом Аввакумом полностью изменила ее жизнь. В нем Морозова увидела живой пример мученичества за веру, того духовного подвига, к которому с юных лет страстно стремилась ее душа. Под влиянием его пламенных речей и длительных бесед с ним Феодосия Прокопьевна становится не просто горячей поклонницей, но и духовной дочерью огнепального протопопа. Вслед за ней духовной дочерью Аввакума стала и ее младшая сестра Евдокия, княгиня Урусова.

Глава четвертая

«Аще и умру, не предам благоверия»

Видев же [И су с] народы, милосердова о них, яко веху смятени и отвержени, яко овца не имуща пастыря. Тогда глагола учеником Своим: жатва убо многа, делателей же мало. Молитесь убо Господину жатве, яко да изведет делателя на жатву Свою.

Мф. 9, 36–38

Огнепальный протопоп

Протопоп Аввакум Петрович родился в селе Григорове Закудемского стана Нижегородского уезда в семье священника местной церкви Петра Кондратьева 25 ноября 1620 года. Основные деятели движения боголюбцев были земляками Аввакума: патриарх Никон, протопоп Иоанн Неронов, епископ Павел Коломенский, архиепископ Иларион Рязанский. Со всеми этими людьми в дальнейшем будет тесно связана его жизнь.

Воспитанием детей в семье занималась мать Мария (в иночестве Марфа) — большая постница и молитвенница, сумевшая передать своим детям горячую веру во Христа. Под ее влиянием у Аввакума с юных лет развивается стремление к аскетической жизни. Матери он обязан и своей любовью к чтению божественных книг.

Аввакум рос впечатлительным ребенком. Как-то раз, увидев у соседа умершую скотину, он был настолько сильно потрясен, что встал среди ночи перед образами и долго плакал, помышляя о своей душе и о предстоящей с неизбежностью смерти. С тех пор он привык к ночной молитве...

Пятнадцати лет Аввакум остался без отца, а в семнадцать, по настоянию матери, женился на скромной односельчанке — дочери кузнеца Анастасии Марковне, которая стала его верной помощницей и соратницей. На двадцать первом году он был рукоположен в диаконы, а в 1644 году поставлен в священники к церкви Рождества Христова в селе Лопатищи.

Став священником, Аввакум начал вести поистине подвижнический образ жизни. Вся его жизнь превратилась в почти непрерывное богослужение. Перед тем как служить Божественную литургию, он почти не спал, проводя время за чтением. Когда подходило время заутрени, сам

шел благовестить в колокол, а когда на звонницу прибежал проснувшийся пономарь, передавал колокол ему и шел в церковь читать полунощницу. Продолжительная заутреня сменялась правилом ко Святому Причастию, которое Аввакум также вычитывал сам. На службе он учил прихожан стоять с благоговением и до самого отпуста не выходить из храма. После обедни читалось душеполезное поучение. Пообедав и отдохнув два часа, Аввакум снова брался за книгу. Затем служились вечерня и павечерница, а после ужина еще читались дополнительные каноны и молитвы. С наступлением ночи, уже в потемках, Аввакум клал земные поклоны: сам делал 300 поклонов, говорил 600 молитв Исусовых и 100 молитв Богородице; супруге же, которая была такой же строгой подвижницей с юных лет, делал снисхождение: «понеже робятка у нее пищат» — 200 поклонов и 400 молитв.

Столь добросовестное и ревностное исполнение своих священнических обязанностей и строгость нравственных требований к себе и к пастве, с одной стороны, привлекали к Аввакуму множество людей, желавших быть его духовными чадами, а с другой — нажили ему немало врагов, негодовавших на его суровые обличения. Аввакум смело обличал недостатки и нравственную распущенность прихожан, невзирая на их богатство и знатность. «Нищим подати не хочет, — говорил Аввакум про одного своего прихожанина, — а что подаст, ино смеху достойно, денежку и полденежку, или кусок корки сухие. А имеет тысящи серебра и злата, и на псах ожерелья шелковые».

Первый конфликт произошел уже в Лопатицах. Аввакум начал укорять местного начальника за неправду и был жестоко избит и волочен по земле прямо в священнических ризах. Другой начальник его также избил и даже пытался застрелить. Наконец в 1646 году у Аввакума отняли всё его имущество и выгнали из села...

*

Изгнанный Аввакум бежит в Москву. Здесь он находит покровительство у царского духовника Стефана Внифантьева и у протопопа Казанского собора Иоанна Неронова. Он был представлен самому царю Алексею Михайловичу и с царской грамотой возвратился в Лопатищи. Однако в начале 1652 года вновь был изгнан оттуда местными властями и вновь появляется в Москве.

Аввакум пробыл в столице до весны 1652 года. Он принимал самое

активное участие в кружке ревнителей благочестия. 23 марта его назначили протопопом в Юрьевец-Повольский, куда он прибыл вдохновленный идеями ревнителей благочестия об исправлении церковных нравов. Однако не прошло и двух месяцев, как Аввакум своей обличительной проповедью, требовательностью к пастве и настойчивым проведением единогогласного пения восстановил против себя юрьевецкое духовенство и народ. «Дьявол научил попов, и мужиков, и баб: пришли к патриархову приказу, где я духовныя дела делал, и вытаща меня ис приказу собранием, — человек с тысящу и с полторы их было, — среди улицы били батожем и топтали. И бабы были с рычагами, грех ради моих убили за мертва и бросили под избной угол. Воевода с пушкарями прибежал и, ухватя меня, на лошади умчал в мое дворишко, и пушкарей около двора поставил. Людие же ко двору приступают, и по граду молва велика»^[146]. Аввакуму снова пришлось спасаться в Москве.

Как раз к этому времени патриархом Московским и всея Руси становится Никон, активно взявшийся за проведение церковной реформы. Его новшества вызвали широкий протест, в ответ на который незамедлительно последовали репрессии. В августе 1653 года, когда на Кубенское озеро под строгий «начал» был отправлен выступивший против Никона Иоанн Неронов, Аввакум (заменивший его в должности настоятеля Казанского собора на Красной площади в Москве) и костромской протопоп Даниил подали челобитную царю, прося за сосланного протопопа. Так началась открытая борьба членов кружка ревнителей благочестия с новым патриархом.

Аввакум активно проповедует неприятие никоновских «новин»: «Ну-ка! Воспрянь и исповедуй Христа Сына Божия громко предо всеми! Полно таиться. А хотя и бить станут или жечь, ино и слава Господу Богу о сем. Не задумывайся! С радостью Христа ради постражди! Осветилась земля русская кровью мученическою. Я бы умер, да и паки умер по Христе Бозе нашем».

Его голос звучит властно, но понятно и проникает в сердца простых людей. Свою убежденность и образы он черпает из Священного Писания и из творений Святых Отцов. «Аз есмь ни ритор, ни философ... Простец человек и зело исполнен неведения... Подобен я нищему человеку, ходящу по улицам града и по окошкам милостыню просящу. День той скончав и препитав домашних своих, на утро паки поволокся. Тако и аз... У богатова человека, царя Христа, из Евангелия ломоть хлеба выпрошу; у Павла апостола, у богатова гостя, из полатей его хлеба крому выпрошу, у Златоуста, у торгова человека, кусок словес его получю; у Давыда царя и

у Исаии пророков, у посадцких людей, по четвертине хлеба выпросил. Набрав кошел, да и вам даю, жителям в дому Бога моего»^[147].

Не подчинившись приказу Никона молиться по новым книгам, Аввакум вынужден оставить Казанский собор и продолжает служить по старому чину в сушиле (сарай) во дворе Иоанна Неронова. «Ибо в иную пору, — говорит он, — и конюшня лучше церкви бывает». За Аввакумом в сушило переходит и значительная часть его паствы.

12 августа 1653 года Аввакум, обличая нововведения, «чел поучение на паперти... лишние слова говорил, что и не подобает говорить», а в ночь с 13-го на 14-е, во время совершения всенощного бдения в сушиле, по доносу Иоанна Данилова, был взят под стражу Борисом Нелединским со стрельцами и доставлен на Патриарший двор, где посажен на цепь. Взятые вместе с ним 60 человек были посажены в тюрьму и «от церкви отлучены».

Наутро, в воскресенье 14 августа, Аввакума, закованного в цепи, отвезли в Андроньев Спасов монастырь на Яузе. Здесь его держали четыре недели в земляной тюрьме, жестоко избивали и морили голодом. «И тут на чепи кинули в темную палатку, ушла в землю, и сидел три дни, не ел, ни пил; во тьме сидя, кланялся на чепи, не знаю — на восток, не знаю — на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно»^[148]. Но истязания не сломили железную волю протопопа.

15 сентября в Успенском соборе Кремля было назначено расстрижение Аввакума. Однако по личной просьбе царя Алексея Михайловича протопопу оставили его духовное звание, а сам он был сослан в Тобольск.

Через полтора года, когда до Москвы дошли вести о том, что Аввакум не прекратил своих обличений никоновских реформ и что его проповеди пользуются большим успехом среди местного населения, пришел указ об отправке опального протопопа еще далее — на Лену, в Якутский острог. Но перевод Аввакума туда не состоялся — в 1656 году его отправили в качестве полкового священника с экспедицией воеводы А. Ф. Пашкова в далекую Даурию...

Поход Пашкова был сопряжен со всевозможными лишениями и опасностями. Приходилось переносить и холод, и голод, подвергаться нападениям туземцев и диких зверей. «О, горе стало! Горы высокие, дебри непроходимыя, утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову! В горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси и утицы — перие красное, вороны черные, а галки серые; в тех же горах орлы, и соколы, и кречаты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные

дикие — многое множество птицы разные. На тех же горах гуляют звери многие дикие: козы, и олени, изубри, и лоси, и кабаны, волки, бараны дикие — во очию нашу, а взять нельзя! На те горы выбивал меня Пашков, со зверьми, и со змиями, и со птицами витать... Потом доехали до Иргеня озера: волок тут, — стали зимою волочитца... А дети маленькие были, едоков много, а работать некому: один бедной горемыка-протопоп нарту сделал и зиму всю волочился за волок. У людей и собаки в подпряшках, а у меня не было; одинова лишо двух сынов, — маленькие еще были, Иван и Прокопей, — тащили со мною, что кобельки, за волок нарту. Волок — верст со сто: насилу бедные и перебрели. А протопопица муку и младенца за плечами на себе тащила; а дочь Огрофена брела, брела, да на нарту и взвалилась, и братья ее со мною помаленьку тащили... Робята те изнемогут и на снег повалятся, а мать по кусочку пряничка им даст, и оне, съедши, опять лямку потянут... Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошедьми идти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кольско горазд! На меня, бедная, пеняет, говоря: «долго ли муки сея, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самыя смерти!» Она же вздохня, отвечала: «добро, Петрович, ино еще побредем»»^[149].

Кроме всего прочего, отношения у Аввакума с Пашковым не сложились. Воевода был человек буйный по отношению к подчиненным, и это приводило к резким столкновениям. Не раз протопоп испытывал на себе гнев «озорника»-воеводы, который однажды избил его до потери сознания. Но настал конец и сибирским мучениям протопопа, чему способствовало удаление Никона с патриаршего престола. За время одиннадцатилетней сибирской ссылки Аввакуму с семьей пришлось вытерпеть немало мучений, пережить смерть двоих сыновей.

Но даже в столь нечеловеческих условиях благочестивый протопоп не оставлял молитвы и своего келейного правила. Аввакум обладал прекрасной памятью, помнил наизусть весь Псалтырь, многие церковные службы. В своих произведениях, написанных впоследствии в земляной яме за полярным кругом, где никакой библиотеки у него, естественно, не было и в помине, он приводит на память целые тексты из Маргарита, Палеи, Хронографа, Толковой Псалтыри. «Егда в Даурах был... идучи, или нарту волоку, или рыбу промышляю, или в лесе дрова секу, или ино что творю, а сам и правило в те поры говорю, вечерню и заутреню, или часы — што прилучится... А в санях едучи, в воскресныя дни на подворьях всю церковную службу пою, а в рядовыя дни, в санях едучи, пою; а бывало, и в воскресныя дни, едучи, пою... Якоже тело алчуще желает ясти и жаждуще

желает пити, так и душа — брашна духовного желает»^[150].

В 1661 году по ходатайству московских друзей Аввакуму было дозволено возвратиться из сибирской ссылки. Обратный путь занял около трех лет! Воодушевленный надеждой на восстановление старой веры, Аввакум на всем протяжении своего пути выступал с горячей проповедью против никоновых «новин». В городах и селах, в церквах и на торжищах раздавалась его страстная речь, имевшая огромное влияние на народ. «Аввакум всегда и всем проповедовал о гибели православия на Руси вследствие церковной реформы Никона, о необходимости всем истинно верующим стать за родную святую старину, ни под каким видом не принимать никонианских новшеств, а во всем твердо и неуклонно держаться старого благочестия, если потребуется, то и пострадать за него, так как только оно одно может вести человека ко спасению, тогда как новое — никонианское — ведет к неминуемой вечной гибели, — писал Н. Ф. Каптерев. — Эта проповедь святого страдальца и мученика за правую веру и истинное благочестие везде имела успех, везде Аввакум находил себе многочисленных учеников и последователей, которые всюду разносили молву о великом страдальце и крепком поборнике истинного благочестия»^[151].

В 1664 году он, наконец, добрался до столицы и был ласково («яко ангел») принят боярами — противниками Никона. Достаточно милостиво отнесся к нему и царь Алексей Михайлович. «Велел меня поставить на монастырском подворье в Кремле, и, в походы мимо двора моего ходя, кланялся часто со мною низенько-таки, а сам говорит: «благослови-де меня и помолися о мне!» И шапку в ыную пору, мурманку, снимаючи с головы, уронил, едучи верхом! А из кореты высунется, бывало, ко мне. Таже и все бояря после ево челом да челом: «протопоп, благослови и молися о нас!» Как-су мне царя тово и бояр тех не жалеть?»^[152]

В Москве Аввакум посещал дома многих знатных людей, сочувствовавших старой вере. Бывал у князей Хованских — стольник Иван (младший сын боярина Ивана Никитича Хованского и племянник Петра Салтыкова) был его учеником; часто гостил у ревнительницы старой веры Анны Петровны Милославской, урожденной княжны Пожарской, родной внучки героя 1612 года князя Дмитрия Михайловича Пожарского, вдове по первому мужу князя Афанасия Репнина, а затем — боярина Ивана Андреевича Милославского, приходившегося царице Марии Ильиничне троюродным дядей. Приверженцы старой веры были и в других родовитых семействах — Долгоруких, Хрущевых, Хилковых, Волконских. Однако

пути Аввакума и его покровителей резко разошлись. Если московские бояре боролись лично против Никона, то Аввакум шел против никонианства: против церковных новшеств, подлинным автором которых был сам царь вместе со своим ближайшим окружением. Бояре убеждали опального протопопа примириться с новой верой — хотя бы внешне, хотя бы на время, обещая высокое общественное положение и какое угодно место, вплоть до места царского духовника. Но компромисс в делах веры был для Аввакума невозможен.

В столь тяжелую минуту Аввакум находил поддержку в своей жене, Анастасии Марковне, мужественно разделявшей с ним все его лишения. «Жена, что сотворю? — в сомнении спрашивал он. — Зима еретическая на дворе: говорить мне или молчать? Связали вы меня». На это его верная спутница отвечала: «Что ты, Петрович, говоришь? Аз тя и с детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие попрежнему, а о нас не тужи. Дондеже Бог изволит, живем вместе; а егда разлучат, тогда нас в своих молитвах не забывай. Поди, поди в церковь, Петрович, обличай ересь»^[153]. Ободренный женою, он ревностно продолжает обличать «еретическую блудню».

*

Когда произошло знакомство боярыни Морозовой и Аввакума? Судя по всему, сразу же после его возвращения из Сибири, хотя, как справедливо утверждает исследователь «Повести о боярыне Морозовой» А. И. Мазунин, «конечно, Морозова была наслышана о нем гораздо раньше, бывая при царском дворе. Сестра царя Ирина Михайловна очень сочувствовала Аввакуму, посылала ему в Сибирь ризы, писала туда...»^[154]. Уже с весны 1664 года, то есть со времени прибытия ссыльного протопопа в Москву, отношения Морозовой и Аввакума были очень близкими. А летом боярыня предложила Аввакуму и его многочисленному семейству пристанище в своем доме. Он называл ее любовно «сестрой», ставил необычайно высоко: «моей дряхлости жезл и подпора, и крепость, и утверждение».

Впоследствии в пустозерской ссылке Аввакум с теплотой будет вспоминать о своих московских беседах с Морозовой: «Многими дньми со мною беседующе и рассуждающе о душевном спасении. От уст бо ее аз, грешный протопоп, яко меда насыщашеся. Глаголаше бо благообразная ко мне словеса утешительная, ношаше бо на себе тайно под ризами власяницу

белых власов вязеную, безрукавую, да же не познают человецы внешнии. И, таящися, глаголюще: «Не люблю я, батюшко, егда кто осмотрит на мне. Уразумела-де на мне сноха моя, Анна Ильична, борисовская жена Ивановича Морозова. И аз-де, батюшко, ту волосяницу искинула, да потаемне тое сделала. Благослови-де до смерти носить! Вдова-де я молодая после мужа своего, государя, осталася, пускай-де тело свое умучю постом, и жаждею и прочим оскорблением. И в девках-де, батюшко, любила Богу молитися, кольми же во вдовах подобает прилежати о души, вещи бессмертней, вся-де века сего суета тленна и временна, преходит бо мир сей и слава его»... Печаше бо ся о домовном рассуждении и о христианском исправлении, мало сна приимаше и на правило упражняшися, прилежаше бо в ноци коленному преклонению. И слезы в молитве, яко струи, исхождаху изо очей ее. Пред очами человеческими ляжет почивати на перинах мягких под покрывалы драгоценными, тайно же снидет на рогозину и, мало уснув, по обычаю исправляше правило. В банях бо тело свое не парила, токмо месячную нужду омываше водою теплою. Ризы же ношаше в доме с заплатами и вшами исполненны, и пряслице прилежаше, нитки делая. Бывало, сию с нею и книгу чту, а она прядет и слушает, или отписки девицы пред нею чтут, а она прядет и приказывает, как девице грамота в вотчину писать. И нитки — свои труды — ночью по улицам побредет да нищим дает. А иное — рубах нашьет и делит, а иное — денег мешок возьмет и раздаст сама, ходя по крестцам (перекресткам. — К. К.), треть бо имения своего нищим отдая. Подробну же добродетели ее не достанет ми лето повествовати: сосуд избранный видеша очи мои!»^[155]

Часто Аввакум бывал в светлице у Морозовой, беседовал с ней или читал вслух церковные книги, а она в это время пряла и слушала или же отдавала своим служанкам приказы по хозяйству — «как девице грамоту в вотчину писать». В своих беседах с Аввакумом, ставшим ее духовным отцом, Феодосия Прокопьевна делилась сокровенными мыслями, не дававшими ей покоя: «Едина-де мне печаль: сын Иван Глебович молод бе, токмо лет в четырнатцеть; аще бы ево женила, тогда бы и, вся презрев, в тихое пристанище уклонилася». Душа ее желала иноческого жития и бегства от суетного мира.

29 июня 1664 года, на Петров день, в Москве случился страшный пожар, который уничтожил множество домов и церквей. Пламя подошло уже и к дому боярыни Морозовой, угрожая уничтожить на своем ходу всё, но тут случилось чудо. «Бысть же в Петров день пожар великий в Москве, — воспоминает Аввакум, — и приближающься огонь ко двору ея; аз бо

замедлив в дому Анны Петровны Милославские, добра же ко мне покойница была. Егда бо приидох к Феодосье в дом, и двое нас, отшед, тайно молебствовали. Быша бо слезы от очию ея, яко река, воздыхание бо утробы ея, яко пучина морская колебашеся, глас же тонкий изо уст ея гортанный исхождаше, яко ангельский: «Увы! — глаголаше, — Боже, милостив буди мне, грешнице!» И поразится о мост каменный, яко изверг некий, плакавше. Чюдно бе видимое: отвратило пламя огненное от дому ея, усрамявися молитвы ея сокрушенныя; обыде и пожже вся окрест дому ея, а за молитв ея и прочих не вредило тут. Аз же тому бысть самовидец сам, и паче слуха видения: моя молитва при ней, яко дым, ея же изо уст, яко пламя, восхождаше на небо»^[156].

Под влиянием бесед со своим духовным отцом боярыня Морозова всё более укреплялась в старой вере. Как отмечает автор «Повести о боярыне Морозовой» (которым, по всей вероятности, был ее старший брат Федор Соковнин): «Научена же бысть добродетелному житию и правым дагматом священномучеником Аввакумом протопопом. Егда же токмо уведe, о православии возревнова зело и развращеннаго всего отвратися»^[157].

*

Возглавив московскую староверческую общину, протопоп Аввакум повел борьбу с «новолюбцами» смело и решительно. Ему неоднократно приходилось вести прения о вере. Так, Иоанн Неронов упоминает о беседах Аввакума «наедине» с архиепископом Иларионом Рязанским и с новым царским духовником Лукьяном Кириловым — «о сложении перстов, и о трегубой аллилуйи, и о прочих догматех» старых и «нынешних нововводных».

Однако самые ожесточенные споры в те летние дни 1664 года проходили в доме царского постельничего Феодора Михайловича Ртищева за кремлевскими Боровицкими воротами на углу Знаменки и Моховой, куда Аввакум «бранитца со отступниками ходил». Известно, что дом Ртищева был местом постоянных столкновений по вопросам церковной реформы и до приезда Аввакума в Москву. Отец царского окольного Михаила Алексеевича Ртищев осуждал за приверженность старой вере боярыню Феодосию Прокопьевну Морозову, которая приходилась ему двоюродной племянницей и частенько бывала у Ртищевых в гостях. Дядя Ртищева по матери, игумен московского Покровского монастыря Спиридон Потемкин

ссорился с его сестрой Анной Михайловной, поклонницей Никона.

На личности Анны Михайловны Ртищевой (в замужестве — Вельяминовой) стоит остановиться отдельно. Как старшая сестра, она имела колоссальное влияние на Феодора Михайловича, который ее «аки мать почиташе», а она была ему «во всяком благотворении споспешница». Рано овдовев (в 1642 году ее муж Внифантий Кузьмич Вельяминов был убит крестьянами в своем тульском имении, видимо, за жестокое с ними обращение), она жила в доме своего младшего брата, где пользовалась неограниченным влиянием. Как царицына кравчая и «вторая верховая боярыня» имела она влияние и при царском дворе, и в патриарших палатах. Недаром дьякон Феодор называл ее насмешливо «Анна, Никонова манна». Благодаря незаурядному уму и женскому обаянию она сумела стать интимной советницей Никона при его стремительном восхождении на патриарший престол. «Царь ево на патриаршество зовет, — вспоминал Аввакум, — а он бытто не хочет, мрачил царя и людей, а со Анною по ночам укладывают — как, чему быть? — и, много пружався со дьяволом, взошел на патриаршество Божиим поущением, укрепя царя своим кознованием и клятвою лукавою»^[158]. Убийственную характеристику дала этой женщине боярыня Морозова, которая приходилась ей троюродной сестрой. «А боярыня-покойница, — пишет тот же Аввакум, — дочь мне была духовная, Феодосия Морозова, ревнивой человек была, свет моя, уставщицу ту, сестру свою Анну Веньяминовну, и в дому и в Верху: «Ты-де блядь, Никоновы отирки, церковию колеблешь»»^[159].

Став патриархом, Никон зажил «широко». «Бабы молодые, — свидетельствует Аввакум, — и черницы, в палатах тех у него верременницы, тещат его, великого государя пресквернейшаго. А он их холостит, блядей. У меня жила Максимова попадья, молодая жонка, и не выходила от него: когда-сегда дома побывает воруха, всегда весела с воток да с меду; пришед песни поет: у святителя государя в ложнице была, вотку пила. А иные речи блазнено и говорить. Мочно вам знать и самим, что прилично блуду. Простите же меня за сие. И больи тоя безделицы я ведаю, да плюнуть на все»^[160].

Особое место среди никоновских «верременниц» принадлежало Анне, которая сыграла немалую роль и в проведении церковных реформ, будучи горячей и убежденной сторонницей грекофильской партии. Желая оправдать царя Алексея Михайловича, Аввакум поначалу даже считал ее чуть ли не главной виновницей никоновских «затеек»: «Ум отнял у милова

(царя), у нынешнева, как близ его был. Я веть тогда тут был, все ведаю. Всему тому сваха Анна Ртищева со дьяволом». Но и после удаления Никона в 1658 году Анна продолжала играть важную роль при дворе. Она заводит нового «любимого пастыря», лютого гонителя староверов «краснощечкого Павлика», митрополита Крутицкого, который вскоре становится местоблюстителем патриаршего престола. «А о Павле Крутицком мерско и говорить: тот явной любодей, церковной кровоядец и навадник, убийца и душегубец, Анны Михайловны Ртищевой любимой владыка, подпазушной пес борзой, готов зайцов Христовых ловить и во огонь сажать»^[161] — такую убийственную характеристику дает Аввакум этому «князю церкви».

О ярко выраженной латинской ориентации Анны Михайловны и активной поддержке ею «греческого проекта» свидетельствует ее спор по поводу «кислого хлеба» и «опресноков» с дядей Спиридоном Потемкиным, немало времени прожившим на оккупированных польскими католиками землях. Как известно, некогда в XI веке именно спор о том, каким должен быть хлеб для причастия, явился главным формальным поводом для разрыва между католиками и православными: католики считали, что надо причащаться «опресноками», а православные — «кислым хлебом». Аввакум так передает спор между дядей и племянницей: «Слышал я, промышленница и заступница еретическая Анна Ртищева... Спиридону Потемкину говорит: «Что-де, дядюшка, разнствует хлеб со опресноком?» И старик-от ей хорошо сказал: «Вижу-де, Михайловна, половина ты ляховки!» Так она рожу ту закрыла рукавом». Впоследствии Анна Ртищева сыграет роковую роль в конфликте своей троюродной сестры с царем Алексеем Михайловичем. Но она ненадолго переживет Феодосию Прокопьевну — умрет почти сразу после нее, в ноябре 1675 года...

Оказавшись в доме Ртищева после своего возвращения из Сибири, Аввакум активно включается в полемику: «В дому у него с еретиками шумел много». Ко всем таким диспутам он тщательно готовился, собирал материалы, делал нужные выписки из Священного Писания и святоотеческих творений. Среди своих оппонентов Аввакум называет прежде всего Симеона Полоцкого и Епифания Славинецкого. «Епифания римлянина» он знал еще «до мору, егда он приехал из Рима». С «Семенкой чернецом», который «оттоле же выехал, от римского папежа», он только что познакомился.

Первоначальное образование Симеон получил в латинизированной Киево-Могилянской коллегии, затем продолжил свое образование в польской иезуитской коллегии в Вильно. Впоследствии в книге «Остен» о

«полоцком старце» говорилось: «Он же Симеон, аще бяхе человек и учен и добронравен, обаче предувещан от иезуитов, папешников сущих, и прелщен бысть от них: к тому и книги их латинския токмо чтяше: греческих же книг чтению не бяхе искусен, того ради мудрствоваше латинския нововымышления права быти. У иезуитов бо кому учившуся, наипаче токмо латински без греческаго, неможно быти православному веема восточныя церкви искреннему сыну»^[162]. В 1656 году, когда царь Алексей Михайлович посетил Полоцк, проходя походом на Ригу, Симеон поднес ему свое сочинение «Метры на пришествие великого государя» и тем обратил на себя внимание царя. В 1664 году, после того как Полоцк снова перешел под власть Польши, Симеон переселяется в Москву, где обучает латинскому языку молодых подьячих Тайного приказа, а спустя некоторое время становится воспитателем царских детей и придворным стихотворцем.

Феодор Ртищев, будучи убежденным грекофилом и одним из вдохновителей «греческого проекта», всячески покровительствовал «недобрым киевским старцам». Увлечение его западной ученостью доходило до того, что он проводил в беседах с киевлянами целые ночи, забывая о сне. Точно так же три дня и три ночи беседовали они с Аввакумом после его возвращения в столицу.

Внешне Ртищев играл роль миротворца. Первоначально он примыкал к боголюбцам, был единомыслен со Стефаном Внифантьевым, почитал за «советника своего» Иоанна Неронова, переписывался с его учеником игуменом Феокистом. В период гонений на Неронова Ртищев давал ему в своем доме приют на «многие дни». Впоследствии он поддерживал связи и с отставленным от патриаршества Никоном. В ртищевском доме встречались как сторонники никоновской реформы, так и ее непримиримые противники. Однако, как замечает историк Б. П. Кутузов, «многим гостям, вероятно, было невдомек, что дом Ртищева был тогда фактически отделением первой российской тайной полиции, Приказа тайных дел, во главе которого стоял царский окольныйчий... Искательных царедворцев, впрочем, это не смущало: «Один только меценат Федор Ртищев имеет обыкновение держать открытыми уши для хвалебных голосов литераторов», — писал по-латыни из Москвы в Киево-Печерскую лавру Симеон Полоцкий»^[163]. Всё, о чем говорилось в ртищевском доме, сразу же становилось известно царю.

Несмотря на упорство Аввакума, царь всё же не оставлял попыток привлечь его на свою сторону, поскольку это позволило бы заглушить

нарастающую день ото дня оппозицию церковным реформам — как в боярской среде, так и среди широких народных масс. Видя, что тот не хочет соединиться с никонианами, царь послал к нему от своего имени боярина Родиона Стрешнева. Боярин уговаривал Аввакума «молчать», прекратить свои проповеди против официальной церкви — по крайней мере до церковного собора, который должен будет решить вопрос о Никоне. Протопоп утешил боярина Стрешнева, говоря, что царь «от Бога учинен, а се добренек до меня», и рассчитывая, что с удалением из Москвы Никона Алексей Михайлович сам «помаленьку исправится».

Поняв, что место царского духовника не прельщает несговорчивого протопопа, царь делает ему более заманчивое предложение: обещает с 1 сентября место справщика на Печатном дворе («а се посулили мне Симеонова дни сесть на Печатном дворе книги править»). Это была реальная возможность влиять на ход церковной реформы и исправление богослужебных книг. Посулы сопровождалась обильными денежными «дарениями». «Пожаловал, ко мне прислал десеть рублей денег, царица десеть рублей же денег, Лукьян духовник десеть рублей же, Родион Стрешнев десеть рублей же, а дружище наше старое Феодор Ртищев, тот и шесть десят рублей казначею своему велел в шапку мне сунуть; а про иных нечева и сказывать: всяк тащит да несет всячиною!» Тронутый таким вниманием царя и вдохновленный надеждой на место справщика на Печатном дворе, Аввакум действительно на некоторое время замолкает.

Однако компромисс в делах веры был для него невозможен. Неустрашимый протопоп не мог долго молчать. «Да так-то с пол года жил, да вижу, яко церковная *ничто же успеваает, но паче молва бываает*, — паки заворчал...» Не прошло и пол года, как Аввакум возобновил свои обличения никонианского духовенства, называя представителей его в своих проповедях «отщепенцами» и «униатами»: «Они — не церковные чада, а дияволя». «Берегитесь, — обращается он к своим духовным чадам, — Господа ради, молю вы, никониян, еретиков, новых жидов! Обкрадывают простых душа словесы масленными, плод же — горесть и червие. Лутче принять чувственнаго змия и василиска в дом, нежели никониянская вера и учение»^[164].

Все предложения высоких мест Аввакум вменил «яко уметы», предпочитая временным благам вечную жизнь и земным почестям — спасение души. Он снова пишет проповеди и послания, обличая «мерзость никоновских исправлений», призывая твердо стоять за древнее благочестие. За время своего кратковременного пребывания в Москве Аввакум написал несколько сочинений в защиту старой веры, которые, к сожалению, до

наших дней не сохранились. Самому царю он пишет особую челобитную, в которой высказывает свой взгляд на положение церковных дел того времени: «...чтоб он старое благочестие взыскал и мати нашу общую — святую церковь — от ересей оборонил и на престол бы патриаршейский пастыря православнова учинил вместо волка и отступника Никона, злодея и еретика». Это было, по словам самого Аввакума, «Моленейце к великому государю о духовных властех, ихже нужно снискать», или «Роспись, кто в которые владыки годятца», как эта челобитная называется в бумагах игумена Феоктиста. «Судя по тому, что Аввакум решился ходатайствовать за других, указывать государю кандидатов на епископские кафедры, можно заключать, что его авторитет в это время был значительный, что он чувствовал за собой некоторую силу, если решался выступить с такими указаниями, — пишет А. К. Бороздин. — Кроме того, мы знаем, что эта челобитная не ограничивалась одними подобными указаниями, а касалась вообще церковных дел, и о них-то именно и «ворчал» протопоп»^[165].

Челобитную царю сам Аввакум передать не мог, поскольку был в это время нездоров. Он отдал ее своему духовному чаду Феодору юродивому, чтобы тот вручил письмо царю во время его переезда из дворца в церковь. «Он же с письмом приступил к царево корете со дерзновением, и царь велел ево посадить и с письмом под красное крыльцо, — не ведал, что мое; а опосле, взявше у него письмо, велел ево отпустить. И он, покойник, побывав у меня, паки в церковь пред царя пришед, учал юродством шаловать, царь же, осердясь, велел в Чюдов монастырь отслать. Там Павел архимарит и железа на него наложил, и Божию волею железа рассыпались на ногах пред лю[дь]ми. Он же, покойник-свет, в хлебне той после хлебов в жаркую печь влез и голым гузном сел на полу и, крошки в печи побираючи, ест. Так чернцы ужаснулись и архимариту сказали, что ныне Павел митрополит. Он же и царю возвестил, и царь, пришед в монастырь, честно ево велел отпустить»^[166].

Аввакумовская челобитная решила участь мятежного протопопа. «Эта челобитная показала государю, что Аввакум крепкий, убежденный сторонник русской церковной старины и что он добивается собственно полной отмены произведенной церковной реформы и всецелого возвращения к старым церковным порядкам, при которых «никоновы затейки» не имели бы места», — писал Н. Ф. Каптерев^[167]. Попытка царя Алексея Михайловича примирить Аввакума хотя бы с частью никоновских реформ потерпела поражение.

Царь и церковные иерархи были сильно смущены огнепальной

ревностью Аввакума: «И с тех мест царь на меня кручиноват стал: не любо стало, как опять я стал говорить; любо им, как молчю, да мне так не сошлось. А власти, яко козлы, пырскать стали на меня и умыслили паки сослать меня с Москвы, понеже раби Христовы многие приходили ко мне и, уразумевше истинну, не стали к прелесной их службе ходить». Успех проповеди Аввакума в московском обществе привел духовные власти в самую настоящую ярость. Они решили принять меры против него и просили государя о его высылке, так как он «церкви запустил».

29 августа 1664 года Аввакум вместе со своим семейством был отправлен в ссылку в далекий Пустозерск, однако на этот раз он добрался только до Мезени...

Царская поединщица

После ссылки протопопа Аввакума на Мезень дом боярыни Морозовой становится самым настоящим центром московской оппозиции никоновским реформам. Здесь проживали изгнанные из монастырей за приверженность старой вере монахини, находили убежище и приют различные старцы-пустынники, обитали известные московские юродивые. Большая часть дворовых «жонок» и холопов, как явствует из следственных дел Тайного приказа, также разделяла взгляды своей госпожи. В домово́й церкви служили только по старопечатным книгам.

Частыми гостями в доме Морозовой были епископ Александр Вятский, открыто осуждавший никоновскую реформу и помогавший вождям оппозиции составлять челобитные, подбирая для них материалы и доказательства; инокини кремлевского Вознесенского девичьего монастыря, также придерживавшиеся древлего православия; бывший игумен московского Златоустовского монастыря Феоктист, ученик Иоанна Неронова и автор посланий в защиту старой веры.

Игумен Феоктист после того, как вынужден был покинуть Москву, состоял в переписке с боярыней Морозовой. В своих посланиях он называл ее «избранной рабой Христовой» и «воистинну равноапостольной», обращаясь к ней в таких возвышенных выражениях: «Радуйся о Господе, о христолюбивая, воистинну чадо света и дни, и мужайся о благих, ревнуя равноапостольным женам, пользуя мать твою, святую соборную и апостольскую церковь, странных питателнице, милость к милости приложи, а язь от общаго врага душ наших наветы и ловления, яко уметы вменя, и в женской немощной плоти преславно Христовою благодатию

диявола победы. Возмогай о благодати, о ластовице церковная! Господь присно да будет сохраняяй тя, и не убойся, со пророком зовя: *Господь просвещение мое и спаситель мой, кого ся убою!*»^[168]

Вероятно, бывал в доме Морозовой и «богомудрый и благородный старец» Спиридон (в миру Симеон Феодорович) Потемкин — архимандрит Покровского монастыря в Москве, уроженец Смоленска, выходец из боярской аристократии. Как уже говорилось выше, он приходился родным дядей Феодору Ртищеву (через свою сестру Ульяну Феодоровну), был человеком весьма образованным, знал пять языков, в том числе греческий, латинский и древнееврейский. С самого начала никоновских реформ Спиридон Потемкин выступил с их резкой критикой, заявляя, что любое изменение «буквы» обрядов открывает путь антихристу для окончательного покорения «под свою руку» последнего в мире православного царства — Святой Руси, Третьего Рима. Реформаторы пытались склонить старца Спиридона на свою сторону, предложив ему кафедру митрополита Новгородского, но он был непреклонен: «Лучше аз на виселицу поеду с радостью, нежели на митрополию на новые книги».

В своих сочинениях в защиту старой веры Спиридон Потемкин переносит спор с деталей обряда и личных выпадов на теоретическую, строго богословскую почву. Никоновские новшества неправильны и бесполезны уже потому, что Церковь Христова «и не требует никакова исправления; того ради яко непогрешити может... яко никогда же погрешити ей, не точию в вере или крещении или священстве, но ни в малейшем от догмат святых в чем поползнутися... А еже прият того вовеки не оставит, и не может быти недействена: ни един час, и не может погрешити ни во едином слове, ни во псалмех ни во ермосах, ни во обычаех и нравех писаных и держимех, вся бо церковная свята суть, и держание не пресечеса ни на един день»^[169].

Тем самым всякая попытка изменить, а точнее, исказить церковное предание, переправить или заново отредактировать богослужебные тексты и чинопоследования подрывает самые основы веры. Старец Спиридон обращал внимание верующих на то, что «ныне выходят книги еретическими реформовании, полны злых догмат, из Рима, из Парижи, из Венецыи, греческим языком: но не по древнему благочестию, их же прелагают на словенский язык, ныне же реформованная з горшими расколы». Но и это еще не всё. Новые церковные вожди ради «науки грамматики, риторики и философии» «еллинских учителей возлюбиша паче апостолов Христовых», то есть ради древнегреческой и вообще

секуляризированной культуры и науки забыли веру Христову и отходят от корней православия. Спиридон с горечью восклицает: «О л юте время нас постиже, разлучают нас со Христом истинным Богом нашим и приводят к сыну погибели!» «В его глазах этот отход от Христа к светской секуляризированной культуре является предзнаменованием «последнего времени», конца истории, прихода антихриста, — писал С. А. Зеньковский. — Что можно ожидать от таких вождей церкви, которые ради преимуществ преходящей светской науки и цивилизации изменяют святым догматам и старому церковному обряду? Они способны всё сделать, они готовы отступить от правой веры и не далек день, когда они «дадут славу зверю пестрому» и «устелют путь гладок своему антихристу сыну погибели»»^[170]. В своих эсхатологических построениях старец Спиридон Потемкин близок к западнорусским богословам Стефану Зизанию и Захарии Копыстенскому, разделяя их теорию поэтапного, трехчастного завоевания мира антихристом. Так же, как они, он ожидал появления антихриста в 1666 году, видя все признаки наступающего Апокалипсиса: «...и что будет по шести летех, но и сего уже главизны являются». Но до 1666 года дожить старцу было не суждено...

*

Всё более укрепляясь в старой вере под влиянием своего духовного отца, с которым она продолжала вести переписку, боярыня Феодосия Прокопьевна «всего новооставления церковнаго» отвратилась. Всё чаще уклоняется она от богослужений в дворцовых храмах, где должна была присутствовать в соответствии с придворным этикетом. Старалась она реже бывать и при царском дворе. Однако даже бывая «вверху» у царицы Марии Ильиничны, она никогда не оставляла своего церковного и келейного правила. При этом Морозова, как вспоминал Аввакум, «на беседах же никониян мужеска полу и женска безпрестанно обличая, и потязая от пути истиннаго заблудивших и ходивших вслед прелести никониянской: везде им являшеся яко лев лисицам»^[171]. Она была начитанна в богословской литературе и находилась в самой гуще ожесточенных споров старообрядцев с никонианами. Это не могло не бросаться в глаза, и о симпатиях боярыни к старой вере скоро становится известно царю.

О начале противостояния боярыни Морозовой с царем Алексеем Михайловичем протопоп Аввакум повествует в своем сочинении «О трех

исповедницах слово плачевное» в таких словах: «Егда же расвирупела буря никониянская и сослала меня паки с Москвы на Мезень во отоки окиянские, она же, Феодосья, прилежаше о благочестии и бравшеся с еретики мужественне, собираше бо други мои тайно в келью к преждереченному нищему Феодоту Стефанову и писавше выписки на ересь никониянскую, готовляше бо, ожидающе собора правого. И уразумевше бо сродники ее Ртищевы, и наустиша холопей ее воровским умыслом, и оклеветаша ю ко царю. Царь же, лаская ее, присылал к ней ближних своих — Иякима архимарита, патриарха нынешнего, развращая ее от правоверия»^[172].

Присылка архимандрита кремлевского Чудова монастыря Иоакима вместе с ключарем Петром состоялась осенью 1664 года по инициативе царя. Архимандрит Иоаким (в миру Иван Савелов) — по меткой характеристике диакона Феодора, «человекоугодник и блюдолиз», впоследствии выслужившийся до патриаршего сана, стал олицетворением новой реформированной церкви. На вопрос М. А. Ртищева, посланного от имени царя выяснить религиозные убеждения Иоакима, тот отвечал: «Азде, государь, не знаю ни старья веры, ни новья, но что велят начальницы, то и готов творити и слушати их во всем»^[173], после чего и был назначен чудовским архимандритом.

Однако уговоры царских посланцев оказались напрасны. Морозова «крепко свидетельствовала и зело их посрами». «Аще-де и умру, не предам благоверия! — мужественно отвечала боярыня. — Издетска бо обykle почитать Сына Божия и Богородицу, и слагаю персты по преданию святых отец, и книги держу старья, нововводная же ваши вся отmeshу и проклинаю вся! Аще-де вера наша старая неправа суть, но яко же есть права и истинна, яко солнце на поднебесной блестяшеся. Скажите царю Алексею: «почто-де отец твой, царь Михайло так веровал, яко же и мы? Аще я достойна озлоблению, — извергни тело отцово из гроба и передай его, проклявше, псам на снеть. Я-де и тогда не послушаю!»»^[174].

Посланники возвратились к царю и рассказали ему всё, что слышали от Морозовой. Царь пришел в неопишемую ярость, но физически расправиться с такой близкой к царской семье и родовитой боярыней пока не решился. Да и царица Мария Ильинична всё время заступалась за свою родственницу, «понеже зело милостива к ней была и любила ея за добродетель», как вступалась в свое время за протопопа Аввакума. Алексей Михайлович решил действовать иначе: он запретил Морозовой съезжать со двора и летом 1665 года отобрал у нее половину ее вотчин, причем лучших

— «две тысячи христиан».^[175] Как всегда, нашлись и «доброжелатели», готовые оклеветать впавшую в опалу боярыню: «А холопи в приказе клеветают на ню, яко блудит и робят родит и со осужденным Аввакумом водится. Он-де ее научил противиться царю»...

В конфликте царя Алексея Михайловича с боярыней Морозовой имущественная сторона играла далеко не последнюю роль, что, впрочем, никоим образом не должно принижать ее духовного подвига. Современный историк П. В. Седов пишет: «Полагаем, что в истории боярыни Морозовой проявились не только уникальные черты ее личности и противостояние сторонников и противников церковной реформы, но и соперничество дворцовых группировок в борьбе за власть и их имущественные интересы. Вряд ли можно разделить религиозные и мирские мотивы в поведении исторической боярыни Морозовой, поскольку синкретизм средневековой культуры не подразумевал существования одного без другого»^[176].

И действительно, уже на страницах составленной в Выговском старообрядческом общежительстве Краткой редакции ее Жития (XVIII век) достаточно четко проводится эта мысль: «На сия же два великая изъобилия, благочестие глаголю и на стяжание благороднейших княгинь имения, возведошася люте два завистливая ока — дияволе и новолубцев. И едино убо яряшеся и последнюю благочестия искру, в пепеле терпения оных крыемую, угасити. Другое же горяше стяжание ею восхитити...»^[177]

Царь Алексей Михайлович, состоя в свойстве с Морозовыми, являлся одним из наследников богатейших морозовских вотчин и считал себя вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Так, после смерти Б. И. Морозова значительная часть его земель отошла в царскую казну, так же как и огромные владения других родственников Алексея Михайловича, приходившихся ему дядями: боярина Н. И. Романова и боярина С. Л. Стрешнева. «В 1650–1660-х гг. Алексей Михайлович собрал в ведении приказа Тайных дел колоссальные земельные владения своих умерших родственников. Для царя вступление во владение морозовскими вотчинами было дележом семейного наследства. В 1670 г. умер отец семейства — боярин И. В. Морозов, и судьбу морозовского наследства предстояло решить вновь. Боярыня Морозова дважды оказала неповиновение царю: сначала после смерти мужа, а затем после смерти тестя. Оба раза вставал вопрос о семейном наследстве, и оба раза Феодосия Морозова шла на конфликт с царем. Вопросы собственности были частью конфликта, который развивался в различных сферах: религиозной, придворной и имущественной»^[178].

Показав, «кто в доме хозяин» и чем может окончиться дальнейшее сопротивление, царь Алексей Михайлович подослал к Феодосии Прокопьевне окольного Ф. М. Ртищева. «Потом приехал в дом к ней сродник ее, Феодор Ртищев, шиш антихристов, и, лаская, глаголаше: «Сестрица, потешь царя того и перекрестися тремя перстами, а втайне, как хочешь, так и твори. И тогда отдаст царь холопей и вотчины твоя»». По мнению протопопа Аввакума, боярыня тогда «смалодушничала, обещалася тремя персты перекрестится», после чего царь «на радостях повеле ей всё отдать». Результатом такого отступничества Морозовой явилась тяжелая болезнь: «она же по приятии трех перст разболевся болезнию и дни с три бысть вне ума и расслабленна. Та же образуясь, прокляла паки ересь никониянскую и перекрестилась истинным святым сложением, и оздравела, и паки утвердилася крепче и перваго»^[179].

В Житии боярыни Морозовой ничего об этом не говорится, а возвращение отнятых ранее вотчин объясняется заступничеством царицы Марии Ильиничны, неизменно благоволившей своей родственнице. И действительно, исторические документы подтверждают данный факт: спустя некоторое время, по прошению царицы и в связи с рождением царевича Иоанна Алексеевича (будущего царя Иоанна V), отнятые вотчины были Морозовой возвращены по царскому указу от 1 октября 1666 года. В указе говорилось: «Октября в 1 день великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия, и Малыя, и Белья России самодержец, пожаловал для прошения государыни благоверной царицы и великие княгини Марьи Ильичны и для всемирные радости рождения сына своего государева благоверного царевича и великого князя Иоанна Алексеевича, всея Великия, и Малыя, и Белья России, пожаловал Глеба Ивановича Морозова жену боярыню вдову Федосью Прокофьевну, велел вотчины подмосковные и иных городов, которые отписаны были на него, великого государя, отдать ей боярыне Федосье Прокофьевне, оприч 20 дворов с семьями и со племянем, которые взяты из Ордуновской волости на житье в село Чашниково, а родственники, хотя будет жили и своими дворами, а для переводу тех крестьян указал великий государь ис Помесного Приказу подъячего добра. И о том сей свой государев указ указал он, великий государь, послать ис Приказу своих государевых Тайных Дел в Поместной Приказ к думному к Григорью Караулову с товарищи. — Таков государев указ послан в Поместной Приказ того ж

числа за приписью дьяка Федора Михайлова с подьячим с Петром Кудрявцовым»^[180].

Получив возвращенное имение, боярыня с еще большим рвением принимается за дела благотворительности и благочестия. В это время она знакомится с некоей «инокиней благоговейной» Меланией и «призвавши ю и слышав словеса ея, возлюби зело, изволи ю в мать себе избрати. И смирившись Христа ради, отдадеса ей под начал, и до конца отсече свою волю. И сице пребысть до конца опасная послушница, яко и до дне смерти своя ни в чем повеления ея не ослушалася. И от тоя Мелании наставляема уже в конец постиже разумети и сотворити всякое богоугодное дело»^[181].

Старица Мелания (известная в доме Морозовой так же как Александра Григорьевна) была одной из ярчайших личностей в первом поколении русских старообрядцев. О ней высоко отзывался протопоп Аввакум, величая ее «блаженной и трблаженной матерью». В одном из своих писем боярыне Морозовой он пишет: «А Меланью ту твою веть я знаю, что она доброй человек, да пускай не розвешивает ушей, стадо то Христово крепко пасет, как побраню. Ведь я не сердит на нея, — чаю, знаешь ты меня. Она мне и малины прислали, радеют, миленькие... Я браню ея, а она благословения просит. Видишь ли, совесть та в ней хороша какова? Полно уже мне ея искушать. Попроси у ней мне благословения: прощается-де пред тобою! Да вели ей ко мне отписать рукою своею что-нибудь»^[182].

С инокиней Меланией Феодосию Прокопьевну познакомил «страдалец отец» Трифилий — бывший иннок московского Симонова монастыря, также происходивший от «благородного корене». Впоследствии он был заточен за исповедание древлеправославия в Кирилло-Белозерский монастырь и окончил там свою жизнь в конце 1660-х годов. Сама Мелания до появления в доме Морозовой подвизалась в Белёвском Крестовоздвиженском женском монастыре, а на исповедь ходила к своему духовному отцу, черному попу Боголепу в Жебынскую (Жабынскую) пустынь, в семи верстах к северо-востоку от Белёва по дороге в Лихвин,^[183] основанную еще в конце XVI века и известную своей приверженностью старой вере. У Морозовой также часто бывал «тое же пустыни старец Спиридон». Из Белёва, судя по всему, пришли в дом боярыни и другие пять инокинь, так что недаром ее двоюродная сестра Анна Михайловна Ртищева сокрушалась по этому поводу: «О, сестрица, голубушка! Съели тебе старицы белёвки, проглотили твою душу аки птенца, отлучили тебе от нас!»

Наставляемая старицей Меланией, Морозова превратила свой дом в монастырь в миру и сердечно радовалась, стоя на ночном правиле и сидя за

трапезой с жившими в ее доме инокинями. Она начала вести фактически монашеский образ жизни, пешком ходила по темницам, щедро раздавая милостыню заключенным, совершала паломничества по святым местам, к чудотворным иконам и мощам святых угодников.

«Вдова по понятиям и убеждениям века уже носила в своем положении смысл монахини. Честное вдовство само собою уже приравнялось к обету иноческому. Поэтому вся жизнь вдовы со всею ее обстановкою естественным и незаметным путем преобразовывалась в жизнь монастырскую. Так же точно, естественным и незаметным путем, устраивалась и жизнь честного девства, например жизнь царевен. Не первая и не последняя была Федосья Прокопьевна, устроившая свой дом по-монастырски. Таков был господствующий идеал для женской личности, свободной от супружества», — писал И. Е. Забелин^[184].

Под влиянием монашеских настроений Морозова начинает еще больше удаляться от светской жизни, от всего земного. Молодая боярыня ведет крайне аскетический образ жизни: отказывается от всяких удовольствий, соблюдая строгий пост, под одеждой носит власяницу. Вместе с тем она не устает обличать своих родных и близких, принявших новую веру. Часто приходили к боярыне ее единомышленницы, также духовные дочери протопопа Аввакума, — сестра княгиня Евдокия Урусова и жена стрелецкого полковника Акинфия Ивановича Данилова Мария Герасимовна.

*

Особую группу при домашнем монастыре боярыни Морозовой составляли юродивые. Юродство представляло собой один из самых удивительных и трудных подвигов христианского благочестия. Выражение «Христа ради юродивый» впервые применил к себе апостол Павел, говоря: «Мы безумны Христа ради». В послании к Коринфянам он объясняет, что сама проповедь о распятом Богочеловеке является безумием для людей мира сего: «Слово о кресте для погибающих есть юродство, а для нас спасаемых — сила Божия... Когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих»^[185]. Христиане, в силу своей веры в распятого Богочеловека, уже являлись в глазах неверующих язычников «юродивыми». Однако как особый вид подвижничества юродство Христа ради возникло в

середине IV века в Египте — одновременно с монашеством.

В основе юродства лежала пламенная любовь ко Христу, сочетавшаяся с великим самоотвержением, чрезвычайным беспристрастием к себе, борьбой с гордостью, терпением поруганий и презрения со стороны людей, перенесением голода и жажды, зноя и других лишений, связанных со скитальческой жизнью. При этом юродивые всегда сохраняли возвышенный дух, непрестанно возводили очи ума и сердца к Богу, постоянно горя духом перед Ним. Приобретая великое смирение и духовную чистоту, юродивые Христа ради становились особенно любезными Богу и получали от Него особые дары Божией благодати — дары чудотворения и прозорливости. Святое юродство, утвердившись в человеке, приближало его к пророческому служению. Не стесняясь говорить правду в глаза, юродивые своими словами или необыкновенными поступками то грозно обличали и поражали несправедливых людей, часто властных и сильных, то радовали и утешали людей благочестивых и богобоязненных. Юродивые большей частью вращались в самых порочных кругах общества с целью исправить этих людей и спасти их — и многих из таких отверженных обращали на путь добра. Будучи близкими Богу, они своими молитвами нередко избавляли сограждан от грозивших им бедствий и отвращали от них гнев Божий.

Из нескольких десятков юродивых, почитаемых Православной Церковью, только шесть подвизались на христианском Востоке — еще до Крещения Руси: Исидора (IV век), Серапион Синдонит (V век), Виссарион Египтянин (IV–V века), палестинский монах Симеон (VI век), Фома Сирийский (VI век) и, наконец, Андрей Цареградский (X век), житие которого пользовалось особой популярностью на Руси.

Вместе с принятием христианства юродство появилось и на Руси, причем получило здесь особенное развитие. Русское юродство ведет начало от преподобного Исаакия Печерского, о котором повествуется в Киево-Печерском патерике (умер Исаакий в 1090 году). Юродство явилось одной из форм проявления русской духовной мысли и религиозности. Юродивые презирали все земные удобства, часто поступали вопреки здравому смыслу, но делали это во имя высшей правды. Юродивые принимали на себя подвиг нарочитого безумия, чтобы достичь свободы от соблазнов мира, — однако в юродстве не было и тени презрения к миру или отвержения его. Юродство низко ценило внешнюю, суетную сторону жизни, презирало мелочное угождение себе, боялось житейских удобств, богатства, но не презирало человека и не отрывало его от жизни. Юродство было прежде всего проявлением устремленности к высшей правде.

Расцвет русского юродства приходится на XV — первую половину XVII столетия. Среди русских канонизированных юродивых имена Авраамия Смоленского, Прокопия Устюжского, Василия Блаженного Московского, Николы Псковского Салоса, Михаила Клопского... «По источникам легко заметить, что общественная роль юродства возрастает в кризисные для Церкви времена, — писал А. М. Панченко. — Нет ничего удивительного в том, что юродство расцветает при Иване Грозном, когда Церковь утратила самостоятельность, склонившись перед тираном, а затем в эпоху раскола»^[186].

Но если в прежние времена, в эпоху Средневековья, юродивый представал как одиночка, обличающий пороки сильных мира сего, то с началом никоновского раскола его роль резко меняется. «Как только в XVII веке динамизм стал овладевать умами, как только началась переориентация Руси — на Запад, новизну, перемены, — юродивый перестал быть одиночкой, он превратился в человека партии, примкнув, конечно, к консервативному течению. Это произошло при патриархе Никоне.

Ни один мало-мальски заметный и активный юродивый не принял его церковной реформы. Все они объединились вокруг протопопа Аввакума и его сподвижников. Одиночество уже не было абсолютным: в хоромах боярыни Морозовой жила маленькая община юродивых. Когда боярыню арестовали, власти ставили ей это в вину»^[187].

Поначалу и царь Алексей Михайлович, при котором состоял даже «личный» юродивый Василий Босой, и патриарх Никон всячески благоволили к юродивым. Однако по мере продвижения церковной реформы и по мере усиления влияния «вселенских» патриархов симпатии эти стали заметно ослабевать. Приехавший в составе антиохийского патриаршего посольства архидиакон Павел Алеппский с изумлением описывал прием у патриарха Никона: «В этот день патриарх посадил подле себя за стол нового Салоса, который постоянно ходит голый по улицам. К нему питают великую веру и почитают его свыше всякой меры как святого и добродетельного человека. Имя его Киприан; его называют Человек Божий. Патриарх непрестанно подавал ему пищу собственными руками и поил из серебряных кубков, из которых он сам пил, причем получал последние капли в свой рот, ради освящения, и так до конца трапезы. Мы были удивлены»^[188].

Никон, еще в мае 1652 года, в сане митрополита Новгородского, самолично отпевавший Василия Босого, через некоторое время, под влиянием «вселенских», стал отрицать юродивых как институт,

предвосхитив тем самым реформатора-рационалиста Петра 1. В одном старообрядческом сочинении так прямо и говорилось: «Он же, Никон, юродивых святых бешеными нарицал и на иконах их лика писать не велел». Отсюда уже недалеко и до развенчания юродства как особого чина святости. «Так, блаженный Киприан Суздальский, хотя при жизни ни в чем особо «юродском» замечен не был, но по кончине своей в 1622 году был объявлен «похабом»... и за это поплатился уже в XVIII веке, когда его иконы были изъяты «инквизитерами». Почитание подозрительного и агрессивного Симона Юрьевоцкого... было запрещено в 1722 году... Запрет был повторен в 1767 году»^[189]. В 1716 году Холмогорский и Важеский архиепископ Варнава «разжаловал» преподобного Георгия юродивого, Шенкурского чудотворца. Даже знаменитый Василий Блаженный, чье имя закрепилось за самым известным русским храмом и кто некогда являлся официальным покровителем царской семьи и казны государевой, не избежал этой участи: в 1659 году его память 2 августа перестали праздновать в Успенском соборе Кремля, с 1677 года патриархи перестали служить, как прежде, в церкви Покрова на Рву, а в 1682 году она вообще стала единственным местом, где святой поминался...

В числе юродивых, невозбранно приходивших в дом боярыни Морозовой и живших там подолгу, были знаменитые ревнители древлего благочестия Феодор, Киприан и Афанасий. Феодор, которого Аввакум привез с собою в 1664 году из Великого Устюга, ходил в одной рубашке, мерз на морозе босой, днем юродствовал, а ночью со слезами стоял на молитве. О нем так рассказывал Аввакум: «Отец у него в Новгороде богат гораздо... А уродствовать... обещался Богу... — так морем ездил на ладье к городу с Мезени... упал в море, а ногами зацепился за петлю и долго висел, голова в воде, а ноги вверх, и на ум взбрело обещание... и с тех мест стал странствовать. Домой приехав, житие свое девством прошел... Многие борьбы блудные бывали, да всяко сохранил Владыко...»^[190]

«Много добрых людей знаю, — отзывался о Феодоре юродивом Аввакум, — а не видал подвижника такого! Пожил у меня с полгода на Москве, — а мне еще не могло, — в задней комнате двое нас с ним, и, много, час-другой полежит да и встанет; тысячу поклонов отбросает, да сядет на полу и иное, стоя, часа с три плачет, а я таки лежу — иное сплю, а иное неможется; егда уж наплачется гораздо, тогда ко мне приступит: «долго ли тебе, протопоп, лежать тово, образумься, — веть ты поп! как сорома нет?» И мне неможется, так меня подымает, говоря: «Встань, миленькой батюшко, — ну-таки встащися как-нибудь!» Да и розкачает

меня. Сидя мне велит молитвы говорить, а он за меня поклоны кладет. Тот друг мой сердечной был!»^[191]

С Феодором юродивым связана одна не вполне выясненная история. Поселившись в конце 1668 года в доме Морозовой, он через некоторое время был изгнан оттуда со скандалом. Феодосия Прокопьевна жаловалась в письмах своему духовному отцу Аввакуму на Феодора, который, по видимому, злоупотребив гостеприимством, проявил сексуальную агрессию либо по отношению к ней самой, либо по отношению к ее сестре княгине Урусовой. В письме жене Аввакума Анастасии Марковне Морозова писала: «В таких своих суетах мирских и душевных печалех сокрушаюся; по вся дни и часы опасаяся; и мне и так тошно, а еще нынешния печали и в конец меня сокрушили, что такими святыми душами смутил один человек, его же имя сами ведаете. Прежде сего мутит он мне на твоих детей всячески, каковы оне высокоумны и каковы непостоянны, нельзя де их тебе жаловать. И о том много вам писать, что не токмо с вами мутит, и со всеми Христовыми рабы, и всем домом моим мутит, и в том судит его Господь.

А как я отказала ему, и он всем стал мутить на меня, и детям твоим, и всем оглашал, и поносил меня не делом, и так поносил, что невозможно не токмо писанию предать, но и словом изрещи невозможно. Не убоясь он суда Божия, и не помянув смертнаго часа, и в том не постави ему Господь греха сего. Только ты, матушка, опасайся такового — лукав есть и зело злокознен; истинно несть в нем страха Божия, и вам бы отнюдь тому веры не ять, и ко мне попрежнему любовь иметь, и я к вам такожде всею душею всегда рада, и николи у меня ненависти не было; только мне то печально, что он и вашими душами возмутит»^[192].

Однако в разгоревшемся конфликте протопоп Аввакум встал на сторону Феодора. Гневно отвечал он своей духовной дочери: «Да пишешь ты ко мне в сих грамотках на Федора, сына моего духовнаго, чтоб мне ему запретите от святых тайн по твоему велению, и ты, бытго патриарх, указываешь мне, как вас, детей духовных, управляти ко Царству Небесному. Ох, увы, горе! бедная, бедная моя духовная власть! Уж мне баба указывает, как мне пасти Христово стадо! Сама вся в грязи, а иных очищает; сама слепа, а зрячим путь указывает! Образумься! Веть ты не ведаешь, что клушишь! Я веть знаю, что меж вами с Феодором сделалось. Писал тебе преж сего в грамотке: пора прощатца — петь худо будет, та язва будет на тебе, которую ты Феодору смышляешь. Никак не по человеку стану судить. Хотя мне 1000 литр злата давай, не обольстишь, не блюдишь, яко и Елифания Евдоксия^[193]. Дочь ты мне духовная — не уйдешь у меня

ни на небо, ни в безну. Тяжело тебе от меня будет.

Да уж приходит к тому. Чем боло плакать, что нас не слушала, делала по своему хотению — и привел боло диявол на совершенное падение. Да еще надежа моя, упование мое, Пресвятая Богородица заступила от диявольскаго осквернения и не дала дияволу осквернить душу мою бедную, но союз той злый расторгла и разлучила вас, окаянных, к Богу и человеком поганую вашу любовь разорвала, да в совершенное осквернение не впадете! Глупая, безумная, безобразная, выколи глазища те свои челноком, что и Мастридия.^[194] Оно лутче со едином оком внити в живот, нежели две оце имуще ввержену быти в геену. Да не носи себе треухов тех, сделай шапку, чтоб и рожу ту всю закрыла, а то беда на меня твои треухи те»^[195].

Впрочем, в конце письма Аввакум, желая смягчить тон предшествующего сурового наставления, пишет: «Ну, дружец мой, не сердитуй жо! Правду тебе говорю. Кто ково любит, тот о том печется и о нем промышляет пред Богом и человеки. А вы мне все больны: и ты и Федор». Вместе с тем самому Феодору Аввакум писал с иронией: «Ведаю веть я и твое высокое житье, как у нея живучи, кутил ты!»

«Видимо, протопоп «прочитывает» его (юродивого Феодора. — К. К.) поведение как закономерный акт юродства, — пишет современный исследователь. — Но вряд ли Морозова (которая и сама неплохо знала житийные каноны) решила бы на разрыв с товарищем по вере и борьбе, вряд ли рискнула бы навлечь на себя неудовольствие обожаемого учителя, если бы не имела на то самых веских оснований. Был грех! Видимо, не столько обет толкал Федора на путь юродства, сколько тот странный образ жизни, который предписывался этой аскезой, и в котором чрезмерное умерщвление плоти извиняло отдельные случаи чрезмерного потакания ей»^[196].

Уже после казни Феодора юродивого на Мезени Аввакум писал Морозовой: «Он не болно пред вами виноват был, — обо всем мне пред смертью... писал: стала-де ты скупа быть, не стала милостыни творить и им-де на дорогу ничево не дала, и с Москвы от твоей изгони съехал...» После ссылки Аввакума в Пустозерск Феодор был заключен в Рязани, но бежал в Москву, а затем, видимо, с сыновьями Аввакума зимой 1668/69 года пришел на Мезень к Анастасии Марковне. Через Феодора Аввакум стремился установить связь с восставшим Соловецким монастырем, оборонявшимся от царских войск. Он возлагал на юродивого важное поручение: «В Соловки те Федор хотя бы подъехал; письма те спрятав, в

монастырь вошел, как мочно тайно бы, письма те дал, и буде нельзя, ино бы и опять назад совсем». Однако ему не суждено было исполнить этого поручения...

Другой живший в доме Морозовой юродивый, Киприан, был известен даже царю, бывая во дворце среди «верховых богомольцев». Не раз молил он царя о восстановлении старой веры, ходил по улицам и торжищам, свободным языком обличая Никоновы «новины». Как-то раз бежал по Москве за царским экипажем, выкрикивая: «Добро бы, самодержавный, на древнее благочестие вступить!» Впоследствии оба юродивых будут сосланы на север: Феодор — на Мезень, Киприан — в Пустозерск, и там казнены: первый будет повешен в 1670 году, второй обезглавлен в 1675-м...

Юродивый Афанасий, происходивший из нижегородских пределов, был духовным сыном и учеником протопопа Аввакума. Рано начав скитаться по монастырям, он имел возможность ознакомиться с книжными сокровищами многих прославленных русских обителей, что в дальнейшем позволило ему в своих сочинениях представить многочисленные свидетельства в пользу старой веры. Юродствуя, бродил босиком в одной рубашке и зимой и летом, «плакать зело же был охотник». «А с кем молыт, и у него слово тихо и гладко, яко плачет». Впоследствии, когда Аввакума сошлют в ссылку на Мезень, Афанасий оставит подвиг юродства и возглавит старообрядческую оппозицию, приняв в 1665 году иночество с именем Авраамий. Обличая новых «князей церкви», он напишет: «Начальницы славою света сего суетнаго прельстишася, и аки тмою, сластолюбием и сребролюбием помрачишася...»^[197]

После собора 1666–1667 годов и ссылки вождей церковной оппозиции в Пустозерск инок Авраамий будет служить связующим звеном между ними и их сторонниками в столице. В 1667–1669 годах он составит обширный полемический сборник «Христианоопасный щит веры против еретического ополчения», в котором будут собраны его полемические произведения, послания его друзей (протопопов Аввакума и Иоанна Неронова, диакона Феодора, игумена Феоктиста), автобиографическая «Записка» инока Епифания, некоторые сочинения писателей прошлого (в частности, преподобного Максима Грека). К сборнику он напишет два стихотворных предисловия, выступив тем самым как первый поэт-старообрядец. 6 февраля 1670 года Авраамий будет арестован за переписку с Аввакумом и заключен на Мстиславском дворе. Его подвергнут строжайшим допросам и притеснениям. Однажды на допросе митрополит Павел Крутицкий, придя в бешенство от того, что не может сломить его упорство, с силой дернет его за бороду и надает пощечин.

Но и в тюрьме инок Авраамий ухитрился написать еще несколько произведений, в том числе трактат, известный под названием «Вопрос и ответ старца Авраамия», и знаменитую челобитную царю Алексею Михайловичу. Он не прекращал и своей переписки с Аввакумом. 13 августа 1670 года Авраамий был расстрижен и Великим постом 1672 года сожжен в Москве «на Болоте» — «яко хлеб сладок принесется Святей Троице»...

«Имея и ум, да сочтет число зверево»

*В тысящи шестьсот Шестьдесят шестой
Антихрист возмути всю вселенную, Отнял благолепие
церковное, Издал же свою печать мерзкую.*

Духовный стих «О Никоне»

Наступил роковой 1666 год, пророчески предсказанный еще в 1644 году в вышедшей в Москве и ставшей необычайно востребованной после начала никоновских реформ «Книге о вере». В Москве полным ходом шла подготовка к церковному собору. О необходимости такого собора говорили как сторонники никоновских «новин», так и их оппоненты. В Москву ехали восточные патриархи для суда над Никонем, что вселяло определенные надежды на возвращение к старой вере. Сторонники «древлего благочестия» собирались у нищего Ивана Федотовича, жившего в келье на дворе боярыни Морозовой, и составляли «выписки на ересь никонианскую» для предстоящего церковного собора.

Рядовое духовенство в массе своей не желало принимать реформы, а те, кто вынужден был служить по-новому, переучивались с трудом и нехотя. В богослужебной практике того времени царил полный хаос. Эту богослужебную какофонию ярко изобразил в своей челобитной к царю священник Никита Добрынин:

«Во многих градах твоя благочестивыя державы, наипаче же в селех церкви Божии зело возмущены. Еже есмь много хождах и не обретох двух или трех церквей, чтобы в них единочинно действовали и пели, но во всех разнствие и велий раздор. В той церкви по книгам Никоновым служат и поют, а в иной по старым. И где на праздники, или на освящении церкви два или трое священников литургию Божию служат, и действуют по разным служебникам. А иные точию возгласы по новым возглашают, и всяко пестрят. Наипаче же в просформисании священнодействуют и просформисают семо и овамо. Овии от них по старине Агнец Божий

прободают, инии же — по Никонову толкованию, в другую страну; и Богородичну часть с девятью частми полагают. А прочии части выимают и полагают, что и сказать неведомо как: овии от них треугольно части выимают, инии же щиплят копием и части все смешивают в груду.

К тому и диаконы со иереи не согласуются: ов священнодействует по новому, а другой по старому Инии же священники, против 52 главы никоницкие книги, велят диаконам Агнец выимати. И о том в смятении все. Такожде и певцы меж собою в несогласии: на клиросе поют тако, а на другом инако. И во многих церквах служат и поют ни по новым книгам, ни по старым. И Евангелие и Апостол и паремии чтут и стихиры кананархисают ни греческим, ни словенским согласием: понеже старое истеряли, а новое не обрели. И священнотайственная Божия служба и весь чин церковный мнется: одни служат и поют тако, инии же инако; или — ныне служат тако, наутрие инако. И указуют на Никоновы печатные книги и на разные непостоянные указы. Такожде и в прочих всех службах раздор и непостоянство... И во всем, великий государь, в христоименитой вере благочестивого твоего государства раскол и непостоянство. И оттого, великий государь, много христианских душ, простой чади, малодушных людей погибает, еже во отчаяние впали и к церквам Божиа пооскуду учили ходить, а инии и не ходят и отцов духовных учили не иметь»^[198].

Внутренней разноголосице богослужения соответствовала и ее внешняя «пестрота», бросавшаяся в глаза, прежде всего в одеждах духовенства.

«Богомольцы твои, — продолжает Никита Добрынин, — святители Христовы меж собою одеждою разделились: ови от них носят латынские рясы и новопокройный клобук на колпашных камилавках, инии же, боясь суда Божия, старины держатся. Также и черные власти и весь священнический чин одеждою разделились ж: овии священники и диаконы ходят в однорядках и скуфьях, инии же поиноземски в ляцких рясах и в римских и в колпашных камилавках. А иные, яко ж просты людины, просто волосы и шапку с соболем с заломы носят. А иноки не по иноческому чину, но поляцки, без манатей, в одних рясах аки в жидовских кафтанах и римских рогатых клобуках. В том странном одеянии неведомо: кое поп, кое чернец, или певчий дьяк, или римлянин, или лях, или жидовин»^[199].

Сам царь Алексей Михайлович в 1665 году в своем письме иерусалимскому патриарху жаловался: «В России весь церковный чин в несогласии, в церквах Божиих каждый служит своим нравом». Впрочем,

это вовсе не означало, что царь готов был вернуться к старому обряду.

Пользовавшийся общепризнанным авторитетом среди ревнителей древнего благочестия старец Спиридон Потемкин видел в будущем церковном соборе единственное средство устранить все еретические нововведения реформаторов и восстановить в Церкви желанный мир, а в храмах Божиих — бывшее благолепие. По свидетельству диакона Феодора, старец Спиридон «проси собора у царя Алексея часто на никониянскую пестрообразную прелесть и на новыя книги его, хотя их обличити доконца, понеже зная откуда приидоша, и что в себе принесоша. Царь же глагола ему с лестию: «Будет собор, отче!» И тако много время манили ему, ждуще смерти его, понеже ведуще его мужа мудра, и всякому нечестию обличителя велика, и яко за новыя книги противу ему никтоже может стояти»^[200]. Сам Спиридон пророчески говорил своим сподвижникам: «Братие, не будет у них собора, дондеже Спиридон жив; егда же изволит Бог скончати ми, по смерти моей в той же месяц воскипит у них собор скоро».

И действительно, как только старец Спиридон отошел к Богу (случилось это 2 ноября 1665 года), царь Алексей Михайлович сразу же решил вопрос о соборе в положительную сторону. Во все концы государства Российского были разсланы царские грамоты. Большой Московский собор, на который для придания ему большей авторитетности приглашались и восточные вселенские патриархи, должен был, по замыслу царя, «убить сразу двух зайцев». Предполагалось превратить его в грандиозный судебный процесс, с одной стороны, над превысившим свои полномочия низложенным патриархом Никоном, а с другой — над упорствующими вождями церковной оппозиции. Всё это в конечном итоге должно было способствовать укреплению ничем не ограниченной царской власти. Вместе с тем перед собором стояла задача избрать, наконец, нового патриарха — угодного царю.

*

В конце 1665-го — начале 1666 года были арестованы остававшиеся на свободе вожди старообрядческой оппозиции, а в феврале 1666 года в Москву по царским грамотам съехались все русские архиереи и видные представители духовенства. Однако еще до открытия большого собора с участием вселенских патриархов царь хотел заручиться поддержкой русских архиереев. Для этого он устроил у себя предварительное заседание

всех высших русских иерархов и заставил каждого письменно ответить на три вопроса, обеспечивающих признание начатых им церковных реформ: 1) являются ли греческие патриархи — Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский — православными? 2) достоверны ли используемые в греческих церквях рукописные и печатные богослужебные книги? 3) является ли правильным Московский собор, бывший в 1654 году в царских палатах при патриархе Никоне?

К концу февраля царь уже имел на руках подписанные всеми русскими архиереями ответы, в которых в один голос говорилось, что греческие патриархи, греческие книги и церковные чины православны и священны, а Московский собор 1654 года — законен, и, следовательно, его постановления обязательны для всех православных русских людей.

Такому единодушию русских церковных иерархов не следует удивляться. Достаточно поверхностного взгляда на «послужной список» участников злополучного собора 1666 года, чтобы понять, что все эти люди оказались во главе Русской Церкви далеко не случайно. Фактически это была уже в прямом смысле слова созданная царем Алексеем Михайловичем «карманная» церковь, беспрекословно выполнявшая все его «затейки» и указания. К тому же за поддержку царских реформ, как свидетельствует дьякон Феодор, каждому архиерею было «дарствовано» Алексеем Михайловичем по 100 рублей «милостыни» (сумма по тем временам весьма значительная). Причем с каждым царь проводил накануне собора предварительную беседу с глазу на глаз о том, как нужно себя вести и что говорить.

Естественно, никто не посмел возражать царю. Как отмечал В. О. Ключевский, новые владыки испугались за свои кафедры: «Все поняли, что дело не в древнем или новом благочестии, а в том, остаться ли на епископской кафедре без паствы, или пойти с паствой без кафедры»^[201].

За несколько лет, прошедших с начала реформ, царь полностью сменил всё высшее руководство Русской Церкви, весь епископат и руководителей крупнейших монастырей. Даже Никон теперь обвинял Алексея Михайловича в том, что тот без всякого стеснения вмешивается в церковные дела: «Когда повелит царь быть собору, то бывает, и кого велит избрать и поставить архиереями, избирают и поставляют, велит судить и осуждать — судят, осуждают и отлучают». Из прежних архиереев, участников собора 1654 года, имевших еще старое поставление, в живых уже не было ни митрополита Корнилия Казанского, рукополагавшего Никона в патриархи (он скончался в 1656 году), ни сторонников церковной старины Макария, митрополита Великого Новгорода и Великих Лук, и

Маркела, архиепископа Вологодского и Великопермского (оба умерли в 1663 году); архиепископ Симеон Сибирский был отправлен на покой в 1664 году, и в том же году — архиепископ Макарий Псковский (он в следующем году скончался).

Остальные архиереи были уже или поставлены лично Никоном или по «исправленным» при нем книгам. Так что протопоп Аввакум имел все основания писать царю Алексею Михайловичу о новых «никонианских» архиереях в следующих словах: «Архиереи те не помогают мне, злодеи, но токмо потокают тебе: жги, государь, крестьян тех, а нам как прикажешь, так и мы в церкви и поем; во всем тебе, государю, не противны; хотя медведя дай нам в олтарет и мы рады тебя, государя, тешить, лише нам погребы давай, да кормы с дворца. Да, право, так, — не лгу»^[202]. Кстати, что касается медведя, то он здесь упомянут не ради «красного словца». Аввакум вспоминает такой случай: «Медведя Никон, смеясь, прислал Ионе Ростовскому на двор, и он челом медведю — митрополитищу, законоположник!»^[203]

Относительно духовного состояния большинства новых «князей церкви» тот же протопоп Аввакум пишет удивительно метко:

«Посмотри-тко на рожу ту, на брюхо то, никониян окаянный, — толст ведь ты! Как в дверь небесную вместится хочешь! Узка бо есть и тесен и прискорбен путь, вводяй в живот. Нужно бо есть Царство Небесное и нужницы восхищают е, а не толстобрюхие. Воззри на святые иконы и виждь угодившия Богу, како добрыя изуграфы подобие их описуют: лице, и руце, и нозе, и вся чувства тончава и измождала от поста, и труда, и всякия им находящия скорби. А вы ныне подобие их переменили, пиштите таковых же, якоже вы сами: толстобрюхих, толсторожих и ноги и руки яко стульцы. И у кажного святаго, — спаси Бог-су вас, — выправили вы у них морщины те, у бедных: сами оне в животе своем не догадалися так сделать, как вы их учинили!.. Разумный! Мудрены вы со дьяволом! Нечего рассужать. Да нечева у вас и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как куповать, как есть, как пить, как баб блудить, как робят в олтаре за афедрон^[204] хватать. А иное мне и молвить тово сором, что вы делаете: знаю все ваше злохитрство, собаки, бляди, митрополиты, архиепископы, никонияна, воры, преллагатаи, другия немцы русския»^[205].

Той же резкой критикой современной церковной иерархии пронизано «подметное письмо», найденное в Москве в декабре 1660 года и не на шутку переполошившее русских архиереев. «Священство в мире, — говорилось в письме, — яко душа в теле. Ведомо убо буди, епископ убо

вместо Бога, священник же — Христа, прочие же святых ангелов: аз же мню несть уже ни единого епископа, чтобы жил по-епископски, ни одного священника, чтобы жил посвященнически, ни инока, чтобы жил по-иночески, ни христианина, чтобы жил по-христиански; вси свой чин презреша; игумени оставиша свои монастыри и возлюбиша со мирскими женами и девицами содружатися; а попове оставивше учительство и возлюбиша обедни часто служить и кадило от грабления и от блуда на жертву Богу приносить и мерзостное и калное свое житие всем являти и благочестием лицемерствующиися, мняще частыми обеднями Бога умилостивити, недостойни и пьяни, помрачени различными злобами, и слова Божия и слышать не хотяще. О таких бо речено: проклят всяк творяй дело Божие с небрежением; не приемли имени Господа Бога твоего всуе. Что же всуе? Еже крестившеся во Христа, и не живем во Христе. Тии будут осуждены с бесы в муку вечную»^[206].

Ставя в пример нынешним архиереям ветхозаветного царя Мелхиседека как истинного священника, Аввакум писал, мысленно обращаясь к другу своей молодости архиепископу Илариону Рязанскому:

«Сей Мелхиседек, живой в чащи леса того, в горе сей Фаворской, семь лет ядый вершие древес, а вместо пития росу лизаше, прямой был священник, не искал ренских, и романей, и водок, и вин процеженных, и пива с кордомоном, и медов малиновых, и вишневых, и белых розных крепких. Друг мой Иларион, архиепископ Рязанской. Видишь ли, как Мелхиседек жил? На воронях в каретах не тешился, ездя! Да еще был царские породы. А ты кто? Воспомяни-тко, Яковлевич, попенок! В карету сядет, растопырится, что пузырь на воде, сидя на подушке, расчесав волосы, что девка, да едет, выставя рожу, по площади, чтобы черницы-ворухи унеятки любили. Ох, ох, бедной! Некому по тебе плакать! Недостоин суть век твой весь Макарьевского монастыря единыя нощи. Помнишь, как на комарах тех стояно на молитве? Явно ослепил тебя диявол! Где ты ум-от дел? Столько добра и трудов погубил! На Павла митрополита что глядишь? Тот не живал духовно, — блинами все торговал, да оладьями, да как учинился попенком, так по боярским дворам блюдолизить научился: не видал и не знает духовнаго тово жития. А ты, мила голова, нарочит бывал и бесов молитвою прогонял. Помнишь, камением тем в тебя бросали на Лыскове том у мужика того, как я к тебе приезжал! А ныне уж содружился ты с бесами теми, мирно живешь, в карете с тобою же ездят и в соборную церковь и в верх к царю под руки тебя водят, любим бо еси им»^[207].

Предостерегая правоверную «братию» от общения с подобными «духовными властями», Аввакум призывает смотреть прежде всего на их дела: «А о нынешних духовных не чаю так: словом духовнии, а делом беси: все ложь, все обман. Какой тут Христос? Ни блиско! Но бесов полки. От плод Христос научил нас познавать, а не от басен их. Можно вам, братия, разуместь реченная. По всей земли распространяя лесть, а наипаче же во мнимых духовных. Они же суть яко скомраси, ухищряют и прелщают словесы сердца незлобных. Да воздаст им Господь по делом их! Блюдитесь от таковых, и не сообщайтесь делом их неподобным и темным, паче же обличайте»^[208].

*

Итак, русские архиереи и архимандриты съехались в Москву для решения насущных церковных вопросов. Представители белого духовенства в соборе не участвовали. Что касается приглашенных восточных патриархов, то двое из них — Дионисий Константинопольский и Нектарий Иерусалимский — предпочли уклониться от суда над своим собратом Никоном, а двое других, более сговорчивых, — Макарий Антиохийский и Паисий Александрийский — прибыли в Москву только к концу 1666 года. Тем самым первая часть собора, открывшегося 29 апреля, проходила с участием одних лишь русских иерархов. Возможно, этим объясняется меньшая радикальность решений, принятых на первой части собора, по сравнению с решениями, принятыми на второй, которая, по сути, стала уже другим, совершенно самостоятельным собором (так называемый Большой Московский собор 1666–1667 годов).

Понимая, что одной силой вопрос о законности церковных реформ не решить, царь усиленно стремился склонить на свою сторону Аввакума и его сторонников и приказал заранее привезти их из ссылки в столицу. К началу собора в Москву доставили диакона Феодора Иванова, священника Лазаря, старца Ефрема Потемкина, Григория Неронова, нескольких соловецких старцев, в том числе Герасима Фирсова, бывшего архимандрита Саввино-Сторожевского монастыря Никанора и других — всего 18 человек. Для переубеждения противников никоновских реформ проводились предварительные беседы-увещевания, которыми руководили митрополит Павел Крутицкий и чудовский архимандрит Иоаким.

1 марта 1666 года в Москву из мезенской ссылки привезли протопопа Аввакума вместе со старшими сыновьями Иваном и Прокопием. В первые

же дни своего пребывания в столице Аввакум тайно встречался с боярыней Морозовой. «Аз же, приехав, отай с нею две ночи сидел, несытно говорили, како постражем за истинну, и аще и смерть приемем — друг друга не выдадим. Потом пришел я в церковь соборную и ста пред митрополитом Павликом, показуясь, яко самовольне на муку приидох. Феодосья же о мне моляшеса, да даст ми ся слово ко отвержению устом моим. Аз же за молитв ея пылко говорю, яко дивитися и ужасатися врагом Божиим и нашим наветникам»^[209].

После этого состоялись продолжительные прения Аввакума с Крутицким митрополитом Павлом, которые так ничем и не закончились. «Он же меня у себя на дворе, привлекая к своей прелестной вере, томил всяко пять дней, и козновав и стязався со мною», — вспоминал Аввакум. Убедившись в бесполезности увещеваний, Павел велел 9 марта отправить непокорного протопопа под «начал» в Боровский Пафнутьев монастырь и посадить на цепь.

Здесь, в Боровске, Аввакум снова имел возможность почувствовать нежную заботу о себе боярыни Морозовой («прислала ми потребная»), хотя сама Феодосия Прокопьевна и не могла навестить узника в темнице. Она сообщала ему через верных людей и укрепляла: «Ведаю-де я, хотят тебя стричь и проклинать. Обличай-де их с дерзновением. На соборище том-де я буду и сама». И Аввакум обличал: «за молитв ея столько напел, сколько было надобе».

Успенском соборе Кремля во время литургии после «переноса», то есть Великого входа и перенесения даров, Аввакум был расстрижен и проклят вместе со своим сподвижником диаконом Феодором. В свою очередь, Аввакум и Феодор при всем народе прокляли своих гонителей. «Зело было мятежно в обедню тут!» За несколько дней до того, 10 мая, расстригли и прокляли священника Никиту Добрынина, прозванного недругами «Пустосвятом».

Собор 1666 года, который продолжал свою работу после расстрижения и анафематствования главных вождей церковной оппозиции, объявил все произведенные в ходе никоно-алексеевской реформы изменения в богослужебных книгах и церковных чинах православными и во всем согласными с древними греческими и славянскими книгами. Собор утверждал, что церковная реформа и книжная «справа» патриарха Никона соответствуют воле восточных церквей и их якобы древней практике, а также осуществлены с совета и благословения восточных патриархов. Как первое, так и второе было ложью. Наряду с новопечатными книгами, содержащими в себе множество ошибок и изменений в текстах молитв и

церковных уставах по сравнению с книгами старопечатными, собор 1666 года утвердил следующие нововведения в церковной практике:

1) двоеперстное перстосложение для крестного знамения было заменено троеперстным, при этом собор вопреки исторической правде утверждал, что именно троеперстием «отцы и деды и прадеды издревле друг от друга приемлюще тако знаменовахуся»;

2) двоеперстное перстосложение для священнического благословения было заменено так называемым имянословным перстосложением («малаксой»);

3) восьмиконечный крест на просфорах заменялся четырехконечным;

4) была изменена форма молитвы Исусовой (вместо «Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас» собор предписал произносить: «Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас»);

5) сугубая (двойная) аллилуйя в богослужении была заменена на трегубую (тройную), то есть вместо славословия «аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже» собор предписывал произносить «аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже».

И хотя собор 1666 года формально не проклинал старых обрядов — это было сделано позже, в 1667 году, на соборе с участием «вселенских» патриархов, — тем не менее он полностью запретил их употребление в церкви, утверждая, что единственно правильными являются новопечатные книги и введенные в ходе никоновской реформы обряды.

Участники собора приняли обращенное ко всему духовенству «Наставление духовное», в котором выразили свое общее определение относительно церковного раскола. «Наставление» начиналось с перечисления «вин» старообрядцев, далее следовало повеление совершать богослужения только по новоисправленным книгам, говорилось о необходимости причащаться и исповедоваться (против вождей старообрядчества, призывавших не принимать никаких таинств от никонианских попов). В конце было сказано о том, что все священнослужители должны иметь «Наставление» и действовать в соответствии с ним, иначе они будут подвергнуты суровым наказаниям.

22 июня 1666 года русским людям было явлено мрачное знамение, ничего хорошего не предвещавшее: «В Петров пост, в пяток, в час шестый, тьма бысть; солнце померче, луна подтекала от запада же, гнев Божий являя...» К началу июля завершился печально знаменитый Московский собор 1666 года. Все предсказания ученых богословов и боговдохновенных старцев сходились в одну точку, находя страшное подтверждение в действительности...

После расстрижения Аввакума под стражей отвезли в Никольский Угрешский монастырь, где он пробыл 17 недель. И сюда боярыня Морозова продолжала присылать своему духовному отцу всё необходимое. 2 сентября царь приказал отослать Аввакума подальше от столицы, в Боровский Пафнутьев монастырь, причем игумену Парфению был дан строгий наказ «посадить Аввакума в тюрьму и беречь его накрепко с великим опасением, чтобы он с тюрьмы не ушел и дурна никакова б над собою не учинил, и чернил и бумаги ему не давать, как и прочим колодникам». 5 сентября 1666 года Аввакума доставили в Боровский Пафнутьев монастырь. Здесь он пробыл до 30 апреля 1667 года. Несмотря на строгие условия, в которых содержался Аввакум, время от времени боярыня Морозовой удавалось передавать в монастырь «потребная и грамотки».

«Разбойничий собор»

Собор 1666 года не выполнил всех задач, поставленных перед ним главным «заказчиком» — царем Алексеем Михайловичем. Хотя собор благословил начатую церковную реформу, а также расправу с главными вождями старообрядческой оппозиции, еще одна важная цель оставалась пока нерешенной: в России до сих пор не было патриарха. Царь не решался предать Никона духовному суду и извергнуть его из патриаршего сана без участия «вселенских» патриархов. К тому же и самому будущему собору уж очень хотелось придать вид вселенского. Видимо, духовного авторитета собственных, купленных за деньги и запуганных до смерти архиереев не хватало...

2 ноября 1666 года прибыли в Москву долгожданные «вселенские» — патриархи Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский. Как выяснилось позже, оба они к тому времени были свержены со своих престолов и лишь впоследствии вновь заняли патриаршие престолы благодаря вмешательству русского правительства и с помощью турецких властей. «Двух... приехавших в Москву патриархов привели туда... не заботы о русской церкви, а просто желание получить от русского правительства соответствующую мзду за осуждение своего же собрата по сану, — писал С. А. Зеньковский. — В этом отношении они не ошиблись и за свою услугу государю каждый из них лично получил из русской казны мехов, золота и подарков на 200 000 рублей по курсу 1900 года. Когда у них появлялись какие-либо сомнения или угрызения совести, то таковые

легко устранялись соответствующим финансовым давлением. Каноническое право этих двух восточных патриархов на участие в русском соборе было крайне сомнительным. Возмущенный их поездкой на суд Никона, патриарх Парфений (Константинопольский. — К. К.) и созванный им собор добились у турецкого правительства смещения этих обоих неколлегиальных владык под предлогом оставления ими паствы и церкви без разрешения властей. Вообще оба патриарха были постоянно в долгах и денежных перипетиях, а патриарх Паисий по возвращении из России на Восток попал в тюрьму по обвинению в присвоении колоссальной по тому времени суммы в 70 000 золотых»^[210].

Свою ненависть к старому русскому обряду «вселенские» патриархи-авантюристы показали уже по пути в столицу, арестовав в Симбирске (на чужой канонической территории!) престарелого местного священника Никифора, служившего по дониконовским книгам. На обратном пути из России Макарий Антиохийский написал новому патриарху из Макарьевского Желтоводского монастыря очередной донос: «В здешней стране много раскольников и противников не только между невеждами, но и между священниками: вели их смирать и крепким наказанием наказывать». В результате против одного из знаменитейших монастырей в России были приняты самые строгие меры...

5 ноября «вселенские» имели наедине с Алексеем Михайловичем достаточно продолжительную — около четырех часов — беседу, а уже 7 ноября царь пригласил в свою Столовую палату восточных патриархов, русских архиереев, бояр, окольничих и думных людей. Царь обратился к восточным патриархам с торжественной речью и передал им все материалы по «делу Никона». На ознакомление с документами было дано 20 дней. В качестве консультанта по русским делам к восточным патриархам был приставлен Паисий Лигарид, который и играл «первую скрипку» на соборе. На личности этого человека следует остановиться отдельно, поскольку в заседаниях собора он сыграет роковую роль.

Паисий Лигарид (в миру Пантелеймон, или Панталеон) — личность крайне одиозная, бывший митрополит Газы (в Палестине), тайный католик, агент иезуитов. На его примере хорошо видно, кто был по-настоящему заинтересован в проведении никоно-алексеевской реформы в России. С тринадцати лет он воспитывался и обучался в иезуитской греческой коллегии святого Афанасия в Риме, а после ее окончания получил степень доктора богословия и философии и был поставлен в священники униатским митрополитом Рафаилом Корсаком. В 1641 году он покинул Рим и отправился в Константинополь для распространения католической веры.

Позднее перебрался в Молдавию и Валахию, где был дидакалом в ясской школе. В 1650 году принимал участие в споре о вере старца Арсения Суханова с греками. На следующий год постригся в монахи, а еще через год был поставлен иерусалимским патриархом в митрополиты Газы Иерусалимской.

Хотя Лигарид и принял для видимости православие, он продолжал вести активную переписку с иезуитской конгрегацией «Пропаганда», у которой состоял на жалованье в качестве католического миссионера, и с варшавским нунцием Пиньятелли — будущим римским папой Иннокентием XII. Как ловкий дипломат, Лигарид впоследствии вел в Москве пропаганду унии Русской Церкви с Римом. Польский король Ян Казимир так обращался к Паисию: «Достопочтенный во Христе отец и свято нам любезный, в благочестивом нашем желании мы имеем ваше преосвященство единственным орудием в соседнем и дружественном нам великом княжестве Московском... Мы еще и еще просим ваше преосвященство сообщить всякое свое прилежание в составлении мира и единства латинской и греческой церкви» и обещал ему при этом «нашу королевскую милость».

Изверженный из сана иерусалимским патриархом Нектарием, Лигарид прибыл в Москву в 1662 году по приглашению патриарха Никона для помощи и придания авторитетности его реформам. Однако после падения Никона сразу же от него отвернулся и на соборе 1666–1667 годов активно помогал царю Алексею Михайловичу расправиться со своим бывшим благодетелем. Начитанный и обходительный Паисий сумел закрасться в доверие царю, угадав сокровенные его мысли: поведал о пророчестве, согласно которому греков от турок якобы должен освободить именно царь Алексей. Сохранилась его книга «пророческих сказаний» под названием «Хрисмос». Архидиакон Павел Алеппский сообщает об этой книге следующее: «Мы (патриарх Макарий Антиохийский и сам Павел. — К. К.) добыли еще от митрополита Газского другую греческую книгу, которую он составил в разных странах и из многих книг и назвал «Хрисмос», то есть книга предсказаний. Она единственная, и не имеется другого списка ее. Содержит в себе предсказания, (выбранные) из пророков, мудрецов и святых, касательно событий на Востоке: об агарянах, Константинополе и покорении ими этого города — известия весьма изумительные; также о будущих и имеющих еще совершиться событиях. Я заставил того же писца снять с нее также два списка. С большим трудом митрополит дал ее нам для переписки, но он, то есть митрополит Газский, не желал этого, пока я не добился его согласия при помощи подарков, и потому, что ему стало

совестно перед нами, и он разрешил нам списать ее. Кто прочтет эту превосходную книгу, будет поражен изумлением перед ее пророчествами, изречениями и прочим содержанием...»^[211] Если даже хорошо знавшие Лигарида восточные иерархи всерьез восприняли эту состряпанную иезуитами сомнительную компиляцию, то что уж говорить о недалеком и падком на лесть Алексее Михайловиче!..

За время пребывания в Москве Лигарид постоянно выпрашивал у царя деньги якобы на содержание Газской епархии, к которой уже не имел никакого отношения. Также он подделал грамоту патриарха Дионисия Константинопольского, выдавая себя за патриаршего экзарха. Зарабатывал и тем, что нелегально торговал мехами, драгоценными камнями, вином и запрещенным в России под страхом смертной казни табаком. «У Газского митрополита, — сообщает Аввакум, — выняли напоследок 60 пудов табаку, да домру, да иные тайные монастырские вещи, что поигравше творят»^[212].

«Митрополит Паисий Лигарид, — замечает историк С. А. Зеньковский, — в свою очередь был проклят и отлучен от церкви своим же владыкой, патриархом Нектарием Иерусалимским, а за свои нехристианские поступки и измену православию скорее заслуживал находиться на скамье подсудимых, чем среди судей»^[213]. Патриарх Нектарий в письме царю Алексею Михайловичу писал, что Паисий Лигарид «называется с православными православным», а «латыни свидетельствуют и называют его своим, и папа римский емлет от него всякий год по двести ефимков». Ему вторил константинопольский патриарх Дионисий: «Паисий Лигарид лоза не константинопольского престола, я его православным не называю».

Но даже получив от патриарха Нектария такие компрометирующие сведения, царь вовсе и не думал изгонять Лигарида как обманщика и «папешника». Он... решил купить ему разрешение и прощение у иерусалимского патриарха. Уж слишком он в нем нуждался. Новый патриарх оказался более покладистым и за большие деньги дал такое разрешение, хотя впоследствии и пожалел и даже вновь запретил Лигарида в служении как «латынщика».

*

28 ноября 1666 года в государевой Столовой палате открылся Большой

Московский собор. На нем присутствовали 29 архиереев, в том числе 12 иностранцев. Здесь были представители всех главных церквей Востока, так что действительно возникала иллюзия некоего нового «вселенского собора». Кроме двух «вселенских» патриархов Макария Антиохийского и Паисия Александрийского, для соборного суда над Никоном в Москву прибыли пять митрополитов Константинопольского патриархата — Григорий Никейский, Козьма Амасийский, Афанасий Иконийский (который, впрочем, за подделку полномочий вместо собора оказался в заключении в Симоновом монастыре), Филофей Трапезундский, Даниил Варнский и один архиепископ — Даниил Погонианский; из Иерусалимского патриархата и Палестины — уже упомянутый выше низверженный Газский митрополит Паисий и самостоятельный архиепископ Синайской горы Анания, из Грузии митрополит Епифаний; из Сербии епископ Иоаким Дьякович; из Малороссии — епископ Черниговский Лазарь (Баранович) и епископ Мстиславский Мефодий (местоблюститель Киевской митрополии). Русских архиереев участвовало 17, а именно: митрополиты — Питирим Новгородский, Лаврентий Казанский, Иона Ростовский, Павел Крутицкий, архиепископы — Симон Вологодский, Филарет Смоленский, Стефан Суздальский, Иларион Рязанский, Иоасаф Тверской, Иосиф Астраханский, Арсений Псковский; епископ — Александр Вятский. Вскоре к ним присоединились вновь избранный Московский патриарх Иоасаф II и архиереи двух новооткрытых епархий: Белгородской — митрополит Феодосий и Коломенской — епископ Мисаил. Также присутствовало множество русских и иноземных архимандритов, игуменов, иноков и священников.

Всего состоялось восемь заседаний собора по «делу Никона»: три предварительных, четыре — посвященных собственно самому суду (два — заочных, два — в присутствии обвиняемого) и еще одно — заключительное, на котором был оглашен окончательный приговор. Никон обвинялся в самовольном оставлении им патриаршей кафедры, оскорблении церкви, государя, собора и всех православных христиан, оскорблении восточных патриархов, самовольном свержении с кафедры и изгнании епископа Павла Коломенского, в следовании католическому обычаю, что выражалось в его повелении носить перед собой крест, а также в незаконном устройении монастырей за пределами Патриаршей области на землях, отнятых у монастырей других епархий. По результатам соборных заседаний Никон был приговорен к лишению сана патриарха и священства. Под приговором подписались два патриарха, десять митрополитов, семь архиепископов и четыре епископа. В ответ бывший

патриарх, обращаясь к царю, сказал: «Кровь моя и грех всех буди на твоей главе», а вечером пророчествовал о том, что всех осудивших его участников собора ждут нестерпимые муки.

12 декабря 1666 года «вселенские» патриархи сняли с Никона черный клобук с херувимом и жемчужным крестом — знак патриаршего достоинства — и панагию и возложили на него простой монашеский клобук, сняв его с присутствовавшего здесь греческого монаха. Низложенному патриарху прочитали поучение, что он не может более называться патриархом и жить в Воскресенском монастыре, но должен отправиться в Ферапонтов монастырь, жить там тихо и немятежно и каяться в своих прегрешениях. В ответ Никон сказал: «Знаю-де и без вашего поучения, как жить, а что-де клобук и панагию с него сняли, и они бы с клобука жемчуг и панагию разделили по себе, а достанется-де жемчугу золотников по 5 и 6 и больше, и золотых по 10»...

Так бесславно оканчивалось патриаршество, некогда начинавшееся столь многообещающе. Никона, которого когда-то торжественно провозглашали патриархом в переполненном Успенском соборе в присутствии царя и многочисленного православного народа, на коленях со слезами умоляя его занять первосвятительскую кафедру, теперь расстригали тайно, в отсутствие и царя, и народа.

Последующие заседания Большого Московского собора проходили в Патриаршей Крестовой палате уже без участия Алексея Михайловича. Состоялись выборы нового патриарха Московского и всея Руси. 31 января 1667 года участники собора подали царю имена трех кандидатов: Иоасафа, архимандрита Троице-Сергиева монастыря, Филарета, архимандрита Владимирского монастыря, и Саввы, келаря Чудова монастыря.

Характерно, что среди кандидатов на патриаршество не было ни одного архиерея. Это отчасти объясняется позицией, занятой некоторыми из них после низложения Никона. Так, митрополит Павел Крутицкий и архиепископ Иларион Рязанский всесоборно объявили, что «степень священства выше степени царского». «В этот драматический момент и выяснилось, что не напрасно Алексей Михайлович привечал греков. Последние были равнодушны к кровным интересам русских архиереев, не говоря уже о том, что выстраивали свои взаимоотношения с царской властью на иных началах. Потому оба восточных патриарха, под одобрительные голоса остальных греков, обвинили русских «князей церкви» в цезарепапизме и своим авторитетом помогли задавить новый бунт еще в зародыше»^[214].

Особенно лез из кожи Паисий Лигарид, без меры лстя Алексею

Михайловичу и заявляя, что «царю надлежит казаться и быть выше других» и соединять в своем лице «власть государя и архиерея». Алексей Михайлович воспринимал эти слова буквально: после своего разрыва с Никоном, примерно с 1662 года, он стал причащаться за литургией по чину священнослужителей, то есть непосредственно в алтаре и отдельно — телу и крови Христовой, подобно тому, как это делали священники и дьяконы. Такой порядок причащения Алексея Михайловича соответствовал древней византийской практике причащения императора, о чем ему, вероятно, сообщил услужливый Паисий.

«Поистине, — заливался соловьем Лигарид, — наш державнейший царь, государь Алексей Михайлович, столь сведущ в делах церковных, что можно подумать, будто целую жизнь был архиереем... Ты, Богом почтенный царю Алексие, воистину человек Божий... Вы боитесь будущего, чтобы какой-нибудь новый государь, сделавшись самовластным... не поработил бы церковь российскую. Нет, нет! У доброго царя будет еще добрее сын его наследник. Он будет попечителем о вас. Наречется новым Константином, будет царь и вместе архиерей...» В свете последующего «синодального пленения» господствующей церкви, осуществленного сыном Алексея Михайловича Петром I, который не только подчинил Церковь государству, но и объявил самого себя ее главой, эти «пророчества» старого иезуита звучат как мрачная насмешка и издевательство.

В результате на соборе было объявлено, что царь имеет преимущество в делах гражданских, а патриарх — в церковных. Однако это была не более чем этикетная формула. Гораздо чаще соборные заседания проходили в царской Столовой палате, чем в Патриаршей Крестовой. Иларион Рязанский и Павел Крутицкий были обвинены собором в том, что они «никонствуют и папствуют», и на них была наложена епитимья. Другие русские иерархи, по замечанию Паисия Лигарида, «пришли в страх от сего неожиданного наказания».

В конечном итоге царь отдал предпочтение троицкому архимандриту Иоасафу, который был «уже тогда в глубочайшей старости и недужех повседневных». Такой выбор свидетельствовал, видимо, о том, что Алексей Михайлович не хотел видеть во главе Русской Церкви деятельного и независимого человека. 10 февраля 1667 года на патриаршество был возведен новый патриарх под именем Иоасафа II. «Молчаливый потаковник прелести сатанине», — кратко и емко охарактеризует его диакон Феодор.

Хотя Большой Московский собор осуществил главную свою задачу — осудил и лишил сана патриарха Никона, церковная смута на этом не закончилась, но, наоборот, еще более усугубилась. Русский православный народ ожидал от собора не просто осуждения Никона, но отказа от всех дел его и всего наследия его. «Удаление Никона в Новоиерусалимский монастырь было воспринято сторонниками старого обряда как благоприятный знак, — пишет современный историк, — ушел главный инициатор пагубных новшеств, и с ним, по их убеждению, должны были кануть в вечность и его дьявольские нововведения»^[215]. В связи с этими событиями старообрядческая проповедь еще более усилилась. Усилилось и ее влияние на народ, что не могло не волновать царя и «духовные власти». После февральских и мартовских заседаний, на которых решались второстепенные вопросы, в апреле 1667 года иерархи вновь обратились к проблеме «церковных мятежников» и проблеме церковного обряда.

Вновь перед участниками собора предстали уже покаявшиеся церковные оппозиционеры — для нового суда и нового покаяния. «Прибывший из Соловков архимандрит Никанор был судим первым, 20 апреля. За ним прошествовали, также каясь в своих заблуждениях, священник Амвросий, дьякон Пахомий, инок Никита и уже раскаявшиеся отец Никита Добрынин и старец Григорий Неронов»^[216]. Вслед за ними на собор доставили тех, кто принимать никонианских новшеств не хотел: диакона Феодора, раскаявшегося в своем отказе от старой веры и вновь начавшего борьбу с «никонианством», соловецкого инока Елифания, специально пришедшего на собор из далекого северного скита и подавшего царю книгу обличений на новый обряд, священника Никифора, арестованного восточными патриархами в Симбирске за преданность двоеперстию и старым обрядам и привезенного в Москву, романовского священника Лазаря. Последний, представ перед судом восточных патриархов еще в декабре 1666 года, поразил их неожиданным предложением: определить правоту старого и нового обрядов Божьим судом на костре. «Повелити ми ити на судьбу Божию во огонь», — сказал он. Если он сгорит, значит, новый обряд правилен и правы «новые учителя», а если уцелеет — значит, старый обряд является истинно православным и правда за ревнителями древлего благочестия. Ошеломленные таким аргументом патриархи не знали, что отвечать.

Призвав к себе боярина и голову, они велели через переводчика

Дионисия Грека сказать царю: «Древле убо ваши русские люди не прияли просто святого крещения от наших греческих святителей, но просили знамения — Евангелие Христово положить на огонь, и аще не сгорит, тогда веруем и крестимся вси. И Евангелие кладено бысть на огонь, и не сгорело: тогда русове вероваша и крестишася. И ныне такожде поп ваш Лазарь без извещения не хошет приимати новых книг, но хошет идти на судьбу Божию во огонь; и не мы его к тому принуждали, но сам он тако изволил... А больше сего мы судить не умеем!» Царь «умолче», а «духовные власти» «вси возмутишася и страх нападе на них: от кого нечая-ли, сие изыде!». Семь месяцев царь находился в раздумье: положиться на «судьбу Божию» или нет, «понеже, — замечает диакон Феодор, — совесть ему зазираше». Наконец «помазанник Божий» решил, что уповать на «Божью правду» не очень-то надежно. А вдруг староверы окажутся правы, и «не по нас Бог сотворит»? Тогда царю со всеми «властями» «срам будет и поношение от всего мира».

Тем временем шла «промывка мозгов» восточных патриархов, которые вскоре начали смотреть на русские церковные дела глазами иезуитского выученика Паисия Лигарида. А Лигарид хотел представить старообрядцев лишь как врагов греков, грубых невежд и церковных нововводителей, прекрасно понимая, что эти истинные ревнители православия и являются главным препятствием на пути проведения будущей церковной унии с католическим Римом. Вот как пристрастно витийствовал этот изящный знаток античной языческой мифологии по поводу событий церковного раскола в Русской Церкви: «Внезапно устремился на дело лукавое другой шумный рой больших бедствий, за которыми последовал какой-то всенародный избыток соков, причинивший неисцелимую болезнь православной русской церкви... Так по чрезмерной беспечности Никона, вовсе не стоящего на одном твердом мнении, но беспрестанно меняющегося, как Протей, для всеобщей заразы российской церкви возникли некоторые новые раскольники: Аввакум, Лазарь, Епифаний, Никита, Никанор, Фирс невоздержный на слова, как Ферсит, Григорий, носящий прозвание Нерона. Бездну лжи написали они против нас, далеко превзошедшую зловонный навоз Авгия... Против сих мужей-губителей, которые для губительного заблуждения и для распространения зла извращают древние нравы церковные и обычаи отцовские, которые однако думают, что хранят постановления как бы законные; когда совершилось много преступных волнений, когда несказанные нововведения наполнили эту царственную столицу: против сих мужей, поднявшихся на человеческие унижения и облекшихся в неправоверие, на продолжительное обличение и

достаточное опровержение ереси возникшей и преуспевшей, составили мы книгу, по царскому и соборному повелению, в которой с большою подробностью опровергли писания Никиты, ефемерного Феолога, даже и концем перста не вкусившего феологии. Книга наша потом сокращенно была переведена иеромонахом Симеоном и предана тиснению на память вековечную, на бессмертную славу»^[217].

*

30 апреля, после восьмимесячного тюремного заточения в Боровске, в Москву был привезен закованный в кандалы протопоп Аввакум. Его поставили на подворье Боровского Пафнутьева монастыря на Посольской улице. Здесь он пользовался относительной свободой, имел возможность общаться со своими друзьями, единомышленниками и духовными детьми.

Боярыня Морозова, вспоминал он, «яко Фекла Павла ищущи, — увы мне, окаянному! — и обрете мя, притече во юзилице ко мне, и по многим временам беседовахом. И иных с собою привождаше, утвержая на подвиги. И всех их исповедал во юзилице: ея и Евдокею, и Иванушка, и Анну, и Неонилу, и Феодора, и святого комканя (причастия. — К. К.) сподобил их. Она же в пять недель мало не всегда жила у меня, словом Божиим укрепляясь. Иногда и обедали с Евдокеею со мною во юзилице, утешая меня, яко изверга»^[218].

3 и 11 мая Аввакума по царскому указу водили в Чудов монастырь, где чудовский архимандрит Иоаким и спасский архимандрит Сергей Волк из Ярославля допрашивали его и пытались склонить к новой вере. «Грызлись что собаки со мною власти», — вспоминает Аввакум.

Наконец протопоп Аввакум предстал перед судом «вселенских». Позднее он писал: «Июня в 17 день имали на собор сребролюбныя патриархи в крестовую, соблажняти...» Здесь же присутствовали и русские архиереи — «что лисы сидели». На соборе мятежный протопоп не покорился, «от Писания с патриархами говорил много», ибо тогда, замечает он, «Бог отверз грешные мои уста, и посрамил их Христос!». Патриархи прибегли к последнему аргументу: «Что-де ты упрям? Вся-де наша Палестина, — и серби, и албанасы, и волохи, и римляне, и ляхи, — все-де трема персты крестятся, один-де ты стоишь во своем упорстве и крестисься пятью персты!»^[219] — так-де не подобает!» Аввакум обратился к «сребролюбным патриархам» с такой речью:

«Вселенстии учителяе! Рим давно упал и лежит невсклонно, и ляхи с ним же погибли, до конца враги быша христианом. А и у вас православие пестро стало от насилия турскаго Магмета, — да и дивить на вас нельзя: немощни есте стали. И впредь приезжайте к нам учитца: у нас, Божиею благодатию, самодержство. До Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно и церковь немятежна. Никон волк со дьяволом предали трема персты креститца; а первые наши пастыри яко же сами пятью персты крестились, такоже пятью персты и благословляли по преданию святых отец наших Мелетия антиохийского и Феодорита Блаженнаго, епископа киринейскаго, Петра Дамаскина и Максима Грека. Еще же и московский поместный бывый собор при царе Иване так же слагая персты креститися и благословляти повелевает, яко ж прежнии святии отцы Мелетий и прочии научиша. Тогда при царе Иване быша на соборе знаменосцы Гурий и Варсонофий, казанские чудотворцы и Филипп, соловецкий игумен, от святых русских»^[220].

Восточные патриархи «задумались», не зная, что отвечать, а русские архиереи, «что волчонки, вскоча, завыли и блевать стали на отцев своих, говоря: «глупы-де были и не смыслили наши русские святыя, не учоные-де люди были, — чему им верить? Они-де грамоте не умели!»». Как же заезжие «просвещенные» греки сумели задурить головы русским архиереям, если те всерьез стали считать, что святость напрямую зависит от учености!..

На такой неожиданный аргумент Аввакуму только и оставалось, что «побраниться». «Чист есмь аз, — сказал он напоследок, — и прах прилепший от ног своих отрясаю пред вами, по писанному: «лутче един творяй волю Божию, нежели тьмы беззаконных!»^[221]» Исчерпав все свои аргументы, «отцы освященного собора» пришли в неизъяснимое бешенство и, уже ничего не стесняясь, дали волю рукам: ««Возьми, возьми его! — всех нас обесчестил!» Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня бросились, человек их с сорок, чаю, было, — велико антихристово войско собралось! Ухватил меня Иван Уаров да потащил. И я закричал: «постой, — не бейте!» Так оне все отскочили. И я толмачю-архимариту говорить стал: «говори патриархам: апостол Павел пишет: *таков нам подобаше архиерей — преподобен, незлобив,*^[222] и прочая; а вы, убивше человека, как литоргисать станете?» Так оне сели».

После спора с «палестинскими» Аввакума вместе с иереем Лазарем и старцем Елифанием переселили на Воробьевы горы, но при этом держали

под крепкою стражей, не давая ни с кем видеться. Однако и здесь боярыня Морозова, каким-то непостижимым образом узнавшая о местонахождении своего духовного отца, не преминула встретиться с ним. Аввакум описывает трогательную сцену своего последнего свидания с боярыней в таких словах: «Она же умыслила чином, по-боярскому в коретах ездила, бытто смотрит пустыни Никоновы, и, назад поедучи, заехала на Воробьевы ко мне и, будучи против избы, где меня держат, из кореты кричит, едучи: «Благослови, благослови!» А сама бытто смеется, а слезы текут. Потом же так и сяк, ввезли мя паки в Москву на подворье Никольское. Она же помного прихождаше ко вратам двора того и стерегущим воинам моляшеся, насилиу обрела такова сотника, яко пустил на двор ея. Она же, прибежав к окну моему, благодарит Христа, яко сподобил Бог видетися, и денег мне на братью дала. Да паки, ко вратам приходя, плакивала. Да и только видания!»

Это была их последняя встреча.

Месяц спустя, 17 июля 1667 года, Аввакуму, священнику Лазарю и соловецкому иноку Епифанию за их упорство вынесли окончательный приговор: Аввакума и Лазаря «паки... проклятию предаша», а Епифания — «проклятию предаша, и иночества обнажиша, и острищи повелеша, и осудиша отослати к грацкому суду». 26 августа 1667 года вышел царский указ о ссылке протопопа Аввакума, священника Лазаря, симбирского священника Никифора и инока Епифания в Пустозерск. На следующий день, 27 августа, Лазарю и Епифанию резали языки в Москве, «на Болоте». 30–31 августа всех осужденных из подмосковного села Братошина повезли в Пустозерский острог, откуда они уже никогда не вернутся...

Между тем работа Большого Московского собора 1666–1667 годов продолжалась, и на соборе были приняты роковые решения, которые окончательно закрепили раскол в Русской Церкви. На соборе вновь был поднят вопрос о проведенной Никоном церковной реформе, и участники собора, осудившие самого Никона, не только единодушно утвердили его дело, но и произнесли еще более тяжкие проклятия на древлеправославных христиан как на еретиков. 13 мая 1667 года на соборе торжественно были преданы проклятию древлеправославные церковные чины и обряды, свято хранимые Русской Церковью до лет патриаршества Никона: «Сие наше соборное повеление и заветание ко всем, вышереченным, чином православным. Предаем и повелеваем всем неизменно хранить и покорятся святой Восточной церкви. Аще ли же кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святой Восточной церкви и сему освященному собору, или начнет прекословити и противлятися нам: и мы такового противника данною нам властью от всесвятаго и животворящаго

Духа, аще ли будет от освященнаго чина, извергаем и обнажаем его всякаго священнодействия и проклятию предаем. Аще же от мирскаго чина, отлучаем и чужда сотворяем от Отца, и Сына, и Святаго Духа: и проклятию, и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православнаго всеочленения и стада, и от церкви Божия отсекаем, дондеже уразумится и возвратится в правду покаянием. А кто не уразумится и не возвратится в правду покаянием, и пребудет во упрямстве своем до скончания своего: да будет и по смерти отлучен, и часть его, и душа со Иудою предателем, и с распеншими Христа жидовы, и со Арием, и со прочими проклятыми еретиками: железо, камение, и дрeвеса да разрушатся, и да растлятся, а той да будет не разрешен и не растлен, и яко тимпан, во веки веков, аминь»^[223].

«Первую скрипку» на продолжившихся в 1667 году соборных заседаниях на этот раз играл скандально известный архимандрит Дионисий Грек. Чтобы охарактеризовать личность этого человека, достаточно привести один случай, получивший в Москве широкую огласку, — неслыханное кощунство, совершенное греческим архимандритом в главном храме Московской Руси — Успенском соборе Кремля. Об этом писал в своем послании архиепископу Илариону Рязанскому протопоп Аввакум: «О нем же слышах от достоверных свидетелей, что Софеинской поп Ирод ион извещал на него вам, святителем, что он, архимарит, некоего подьяка содомски блудил многое время. И по действию диаволу, прилучися ему и во олтари скверну десяти со отроком, облекши детище во святителския ризы и во амфор».

Неплохо владевший русским языком и приставленный к восточным патриархам в качестве толмача, Дионисий сумел внушить им «нужные» мысли относительно старых обрядов — то, что хотел от них услышать сам царь. Дьякон Феодор пишет: «Вси же власти русския... на толмача онаго патриарша, Дениса архимандрита, трапезы многоценныя уготавлиаху, и в дома своя призываху его, и дарами наделяху его, и ласкающе всяко, еже бы он патриархов своих уговорил, дабы по их хотению устроили вся, и сотворили деяние соборное их и не разорили бы, и царь-де любит то... Толмачь же той... и русскому языку и обычаем всем навывчен бе, и всем новым властем знаем до конца; а патриархи те внове пришли и ничего не знали, но что он им скажет, то они и знают, тому и верят, — такова плута и приставили им нарочно, каковы и сами. И той Денис блудодей развратил душа патриархов...»^[224] При этом Дионисий недвусмысленно запугивал патриархов, напоминая им о судьбе Максима Грека, не покорившегося воле

великого князя Московского и сосланного за это в монастырь.

По сути, «вселенские» начали смотреть на раскол в Русской Церкви глазами Дионисия, незадолго до собора написавшего обширное полемическое сочинение против старообрядцев — первое в своем роде. «Беспринципный наемник, Дионисий знал, что ждет от него царь Алексей, знал также западническую ориентацию царя, ставившего всё русское ни во что, поэтому и не постеснялся предать поруганию русскую церковную старину, нагло ошельмовать ее. Все особенности русского обряда церковного, заверял Дионисий, были созданы исключительно на русской почве, как следствие невежества, неразумия и самочиния русских; созданы были какими-то еретиками по наущению самого сатаны и потому «носят неправославный характер, содержат в себе прямо еретическое учение»»^[225].

Таким образом, на Большом Московском соборе 1666–1667 годов, недаром прозванном в народе «разбойничим» и «бешеным», судьба Русской Церкви оказалась в руках шайки заезжих авантюристов и откровенных корыстолюбцев, готовых за деньги на любую ложь и святотатство. Это сыграло роковую роль во всей последующей судьбе России. Народу православному стало предельно ясно, кто заправлял в те дни судьбами земной церкви, и народ в ужасе отшатнулся от предавших его иерархов.

В те дни, когда в Москве проходили заседания «разбойничего собора», Великим постом 1667 года было видение стрельцу, стоявшему на страже в Кремле у Фроловских ворот. «Виде он, — пишет дьякон Феодор, — во един от дней, по утрени, на воздусе седяща сатану на престоле, и грекотурских патриархов и русских властей седящих окрест его, и Артемона голову стрелецкаго предстояща ту (имеется в виду любимец царя А. С. Матвеев. — К. К.), и прочих от царскаго чина, над тем местом, ид еже они вси собирахуся, седяще и утверждающе Никонову прелесть и новыя книги заводу его, и на кровопролитие христианское наряжающесе, и устрояюще по нашептанию льстиваго змия, иже присно кровопролитию радуяся. И воин той нача сказовати то Богом показанное видение явно всем людем, и за сие сослан бысть в ссылку без вести. И се показа Бог простых ради людей, да разумеют вси, яко на соборе их лукавом со властми не Христос седел и не Дух Истинный учил их неправде всей, но лукавый сатана, богопротивный враг и человекоубийца. И всякое диявольское дело и действо без кровопролития не бывает; Христово же божественное дело и действо Его любовью и советом благим бывает, миром и тишиною

исправляется и совершается»^[226].

Вместе с проклятием всех старых чинов и обрядов собор, возглавляемый «грекотурскими патриархами», предал поношению и преждебывшие русские церковные соборы, в первую очередь знаменитый Стоглавый собор 1551 года: «А собор иже бысть при благочестивом великом Государе Царе, и великом Князе Иоанне Васильевиче всея России, самодержце, от Макария Митрополита Московского, и что писаша о знамени Честнаго Креста, сиречь о сложении двою перстов, и о сугубой Аллилуии, и о прочем, еже писано не разумно, простотою и невежеством, в книзе Стоглаве... Зане той Макарий Митрополит, и иже с ним, мудрствоваша невежеством своим безрассудно якоже восхотеша»^[227]. Среди этих «иже с ним» были прославленные Русской Церковью святые — Филипп, будущий митрополит Московский и всея Руси, Акакий Ростовский, Гурий и Варсонофий, Казанские чудотворцы, преподобный Максим Грек... Этими безрассудными постановлениями вся многовековая традиция русской святости была поругана и предана проклятиям.

Заключительным аккордом собора 1666–1667 годов, окончательно разоблачившим его пролатинскую сущность, стало еще одно, противное практике дораскольной Церкви, постановление: «О латинском убо крещении еже действуется во имя Отца и Сына и Святаго Духа, трикратным обливанием... весь освященный собор, слушавше выписки сия дело рассудиша: Яко не подобает приходящих от латин к святей апостольстей восточней церкви покрещевати»^[228]. Католики, по сути, были объявлены собором правоверными и православными, а их обливательное крещение признано истинным. Всякий священник, который бы теперь дерзнул принять католика через крещение, должен был быть извергнут из священного сана: «Аще же кто упорством восхоцет покрещевати латины, памятовати подобает правило святых апостол 47-е, глаголющее сице. Второе крещаяй крещеннаго истинным крещением, и не покрещеваяй оскверненнаго от зловерных, таковой святитель не священ»^[229].

В принятии такого решения, прямо противоречившего не только Поместному собору 1620 года, бывшему при патриархе Филарете, но и всей практике Древней Церкви, идущей от апостольских времен, несомненно, просматривается «рука иезуитов», действовавших на соборе через своих тайных агентов Паисия Лигарида и Дионисия Грека и давно мечтавших подчинить Москву посредством унии римскому папе. Вместе с тем была здесь и личная заинтересованность царя Алексея Михайловича в виду сложившейся в Европе политической ситуации.

Еще в 1656 году, когда Речь Посполитая оказалась в критическом положении, теснимая с одной стороны русскими войсками, а с другой — шведскими, поляки попытались приложить все усилия, чтобы вывести Россию из войны и столкнуть ее со Швецией. Для этого они на мирных переговорах в Вильно пообещали царю Алексею Михайловичу ни больше ни меньше, как... польскую корону, но только после короля Яна Казимира. «В Вильно польские и литовские послы принялись всеми способами поддерживать надежды царя на благополучное разрешение вопроса о престолонаследии. Они уверяли, что избрание — дело решенное и надо запастись лишь терпением и дождаться сейма. В проекте Виленского договора первая статья прямо говорила об избрании на польский трон Алексея Михайловича, так что московскому государю остается рассматривать Речь Посполитую как свое будущее достояние. И, соответственно, беречь ее»^[230].

Одержимый идеями «греческого проекта» и построения «вселенской православной империи», царь Алексей попался на очередную иезуитскую удочку — заключил перемирие с почти разгромленной Речью Посполитой и неосмотрительно начал войну со Швецией, которая закончилась полным поражением русских. Немалую роль в том, чтобы прекратить войну с Польшей и начать войну со шведами, сыграл тогда патриарх Никон, по некоторым сведениям, получивший за это немалую взятку от поляков^[231]. А польские шляхтичи, оправившись от прежних поражений, впоследствии выставят 21 условие, по которым русский царь не сможет получить польскую корону. Воистину, как скажет позднее протопоп Аввакум, «безумный царешко»!

*

Большой Московский собор 1666–1667 годов привел к окончательному расколу в Русской Церкви и благословил развязанный светскими и духовными властями геноцид русского народа. Как писал историк А. С. Пругавин, «при самом появлении раскола, власть захотела покончить с ним крутыми, суровыми мерами. И вот кровь полилась рекой. Все первые вожаки и предводители раскола умерли на плахе, сгорели в срубках, исчахли в заточениях. Беспощадные пытки, бесчисленные, мучительные казни следуют длинным, непрерывным рядом. Раскольников ссылали, заточали в тюрьмы, казематы и монастыри, пытали и жгли огнем, накрепко секли

плетьюми, нещадно ломали ребра, кидали в деревянные клетки и, завалив там соломой, сжигали, голых обливали холодной водой и замораживали, вешали, сажали на кол, четвертовали, выматывали жилы... Словом, всё, что только могло изобрести человеческое зверство для устрашений, паники и террора, всё было пущено в ход. Население, исповедывавшее правую веру, пришло в ужас»^[232].

Чтобы заставить народ принять новую веру и новые книги, «разбойничий собор» благословлял подвергать ослушников соборных определений тягчайшим казням: заточать их в тюрьмы, ссылать, бить говяжьими жилами, отрезать уши, носы, вырезать языки, отсекаль руки. В наказе собора духовенству говорилось: «Аще кто не послушает нас в едином чesом повелеваемых от нас или начнет прекословити и вы на таких возвещайте нам, и мы таковых накажем духовно, аще же и духовное наказание наше начнут презирати, мы таковым приложим и телесные озлобления». В оправдание гонений участники собора ссылались на Священное Писание, по-иезуитски перетолковывая его на свой лад: «Но зане же в Ветхом Завете бывшая сень, образ и прописание бяху в новой благодати содеваемых, убо и жезл сей видится нечто прообразование быти». Это незаконное и противоречащее евангельскому духу любви постановление собора церковных иерархов легло в основу всех последующих репрессий как духовной, так и светской власти по отношению к старообрядцам. Церковный историк А. В. Карташев прямо называет вещи своими именами, отмечая, что именно в этот период «впервые в жизни Русской Церкви и государства применена была система и дух западной инквизиции».

Появление «православной» инквизиции, созданной по образцу католической, явилось одним из наиболее «выдающихся» результатов церковной реформы XVII века. Впоследствии в книге «Пращица» «Святейший Синод», обосновывая необходимость создания инквизиции, будет прибегать к такому кощунственному разьяснению: «Если в ветхозаветной церкви непокорных «повелено убивати», кольми паче в новой благодати непокоряющихся святей восточной и великороссийстей церкви подобает наказанию предавати, достойно бо и праведно есть: понеже тамо сень, где же благодать; тамо образы, где же истина, тамо агнец, где же Христос». Эту идею разделяли ведущие архипастыри господствующей церкви. Так, местоблюститель патриаршего престола, митрополит Рязанский Стефан (Яворский) утверждал в начале XVIII века: «Сия же вся прилична суть еретиком: убо тех убивати достойно и праведно», и в своей книге «Камень веры» доказывал, что «Златоустый

святой с прочими татей и разбойников толкует быти еретиков... Иного на еретика врачевания несть паче смерти».

Мучения и казни совершались в различных частях Русского государства. Увлеченное «греческим проектом» правительство и покорные ему церковные иерархи жестоко преследовали людей старой веры: повсюду горели костры, людей сжигали сотнями и тысячами, резали языки, рубили головы, ломали клещами ребра, четвертовали. Все те ужасы, которые были хорошо известны русскому человеку из житий святых мучеников, пострадавших во времена языческого Рима, теперь стали страшной явью на Руси! «Чюдо, как то в познание не хотят приити, — писал протопоп Аввакум, — огнем, да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить! Которые-то апостоли научили так? — не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолом так учить, еже бы огнем, да кнутом, да виселицею в веру приводить... Татарской бог Магмет написал во своих книгах сице: «непокаряющихся нашему преданию и закону повелеваем главы их мечем подклонити». А наш Христос ученикам Своим никогда так не повелел. И те учителя явны яко шиши антихристовы, которые, приводя в веру, губят и смерти предают; по вере своей и дела творят таковы же»^[233].

Духовенство и гражданское правительство беспощадно истребляли своих же родных братьев — русских людей. Не миловали никого: убивали не только мужчин, но и женщин, и даже детей. «Мрачный герой средневековья — испанский инквизитор Торквемада — иногда бледнеет пред нашими русскими инквизиторами-палачами в митрах и вицмундирах»^[234]. Но русские люди при этом являли необычайную силу духа, терпя все лишения и пытки. Многие шли на смерть смело и решительно, подобно первым христианам.

Тогда, в XVII веке, лучшие представители русского народа земным благам предпочли путь сораспятия Христу. Не желавшие предавать веру своих предков, десятки, сотни тысяч русских людей выбрали путь мученичества и исповедничества. Другие (по подсчетам историков, от четверти до трети населения Русского государства!), не дожидаясь грозивших им мучений, устремились в непроходимые леса, на окраины государства, за его рубежи. Начался «великий исход» русского народа за пределы своего отечества. Спасаясь от преследований, староверы бежали во все концы необъятной Руси: на Дон, в Сибирь, Керженец, Стародубье, где основывали целые поселения и скиты, бежали за границу — в Литву и Польшу, Курляндию и Швецию, Пруссию и Турцию. Хранители древлего благочестия бросали свои дома и имущество, забирая с собой лишь иконы

и старопечатные книги, и на новом месте, куда их кидала судьба, бережно, по крупицам, возрождали Древнюю Русь.

К сожалению, у нас нет точной статистики относительно численности русского старообрядчества, то есть тех, кто активно не принял никоновских реформ. Да и вряд ли такая статистика возможна. Но чтобы хотя бы отчасти составить себе представление о масштабе произошедшей в XVII веке катастрофы, приведем некоторые данные. Известно, что к началу XVIII века, когда при Петре I проводили перепись населения, оказалось, что только в бегах находилось порядка 900 тысяч человек! На начало XX века историки насчитывали от 15 до 20 миллионов старообрядцев на территории Российской империи^[235]. Опираясь на анализ официальной статистики и секретных обследований 1852 года, историк С. А. Зеньковский говорит, что «в XIX и начале XX в. от 20 до 30 процентов всех великороссов было идеологически и религиозно ближе к расколу, чем к синодальной версии русского православия»^[236]. Многие современные ученые склоняются к этой цифре. Что касается статистики репрессий, то далеко не полную картину дают нам многочисленные старообрядческие синодики, где перечисляются десятки тысяч сожженных за веру, «Виноград Российский» Симеона Денисова, его же «История об отцах и страдальцах соловецких» и «История о сибирских страдальцах». В одном только Палеостровском монастыре было сожжено сначала 2500, а затем еще 1800 человек за один раз!

Невольно возникает вопрос: а возможно ли объяснить столь беспрецедентное сопротивление как минимум трети русских людей церковной реформе Никона исключительно «религиозным фанатизмом» и «невежеством», выросшим на почве «обрядоверия», как это пытались представить сначала синодальные, а затем и некоторые советские историки? Безусловно, нет.

Как писал известный церковный историк профессор А. П. Лебедев, «причина раскола лежит гораздо глубже, — она касается самого существования Церкви и основ церковного устройства и управления. Различие в обрядах само по себе не привело бы к расколу, если бы дело обрядового исправления велось не так, как повело его иерархическое всевластие. «Ничто же тако раскол творит в церквах, якоже любоначалие во властех», — писал... протопоп Аввакум в своей челобитной к царю Алексею Михайловичу. И вот это-то любоначалие, угнетающее Церковь, попирающее церковную свободу, извращающее самое понятие о Церкви (церковь — это я), и вызвало в русской церкви раскол как протест против

иерархического произвола. Любоначалие было виною, что для решения религиозно-обрядового спора, глубоко интересовавшего и волновавшего весь православный люд, собран был собор из одних иерархов без участия народа, и старые, дорогие для народа обряды, которыми, по верованию народа, спасались просиявшие в русской церкви чудотворцы, беспощадно были осуждены; и на ревнителей этих обрядов, не покорявшихся велениям собора, изречена страшная клятва, навеки нерушимая»^[237].

Несмотря на всю важность обрядов и священных текстов, вообще религиозной символики для людей того времени, речь здесь все-таки шла не о простом изменении обрядов и богослужебных текстов, а об изменении всей жизни, характера и духа народа, о подчинении чуждой, навязываемой сверху воле, что через некоторое время стало совершенно очевидным. И пусть бессознательно, но русский православный народ почувствовал это.

Французский исследователь творчества Аввакума Пьер Паскаль так пишет о произошедшем в русском обществе расколе и о его причинах: «Теперь уже дело касалось не только того, как следовало писать и читать имя Иисус, с одним или с двумя «и», следует ли сугубить аллилуйю или петь ее трижды, знаменоваться крестным знаменем двумя или тремя перстами. Эти вопросы, вызывавшие разделение верующих, конечно, сохраняли свою важность. Но в московском обществе совершилось и другое, новое разделение, уже делавшее первое бесповоротным. Правящие круги, столкнувшись с иноземной цивилизацией, были готовы оставить прежнее мировоззрение, полное героизма и аскетических устремлений, оставить монашеское христианство, бывшее дотоле традиционным в Московии. Оставив его, они были готовы перейти к другому миропониманию, еще пока плохо определившемуся, но как будто открывающему широкие возможности и для культа материальной стороны жизни. Рождались новые потребности. Стремление к возможным рискованным начинаниям и к наживе овладело всеми общественными классами. Царские люди, военные, судьи, даже священнослужители — все хотели торговать. Царь тоже увлекался торговлей. Иноземцы были прямо поражены этой жаждой наживы. Аввакум отдавал себе ясный отчет в происходящих изменениях. Ведь всем этим затрагивалась сама религия!»^[238]

Впоследствии благодаря трудам не одного поколения независимых историков стало очевидно: «Решительное и резкое осуждение собором 1667 года, руководимым двумя восточными патриархами, русского старого обряда было, как показывает более тщательное и беспристрастное

исследование этого явления, сплошным недоразумением, ошибкою и потому должно вызвать новый соборный пересмотр всего этого дела и его исправление, в видах умиротворения и уничтожения вековой распри между старообрядцами и новообрядцами, чтобы Русская Церковь попрежнему стала единою, какою она была до патриаршества Никона»^[239].

Великий постриг

После Большого Московского собора 1666–1667 годов давление «новолюбцев» на боярыню Морозову, чей дом был средоточием старообрядческой оппозиции в Москве, резко усилилось. Родственники Морозовой, близкие ко двору, — Ртищевы — всеми способами попрежнему пытались воздействовать на нее. Ее двоюродный дядя, окольныйничий Михаил Алексеевич Ртищев, со своей дочерью Анною Вельяминовой, «аки возлюбленнии сосуди Никоновы, многажды и у нея в дому сидяще, начинаху Никона хвалити, и предание его блажити, искушающе ю и надеющеся, егда како возмогут ю поколебати и на свой разум привести». Они говорили Морозовой: «Велик и премудр учитель Никон-патриарх, и вера, преданная от него, зело стройна, и добро и красно по новым книгам служити!»

Немного помолчав, Феодосия Прокопьевна отвечала: «Поистине, дядюшко, прельщени есте и такова врага Божия и отступника похваляете, и книги его, насеянные римских и иных всяких ересей, ублажаете! Православным нам подобает книг его отвращатися и всех его нововводных преданий богомерзких гнушатися, и его самого, врага Церкви Христовы, проклинати всячески!»

Убеленный сединами дядя продолжал увещевать: «О, чадо Феодосие! Что сие твориши? Почто отлучилася от нас? Не видиши ли виноград сей? — при этом он указывал на сидевших в горнице детей, среди которых был и сын боярыни Иван. — Только было нам, зря на них, яко на леторасли масличныя, веселитися и ликовати, купно с тобою ядуще и пиюще, общемою любовию, но едино между нами рассечение стало! Молю тя: остави распрю, прекрестися тремя персты и прочее ни в чем не прекослови великому государю и всем архиереям! Вем аз, яко погуби тя и прельсти злейший он враг, протопоп, его же и имени гнушаюся воспомянуги за многую ненависть, его же ты сама веси, за его же учение умрети хочещи — реку же обаче — Аввакума, проклятого нашими архиереи!»

На эти слова «безумствующего старика» боярыня, кротко улыбаясь,

тихим голосом отвечала: «Не тако, дядюшко, не тако! Несть право твое отвещание: сладкое горьким нарицаеши, а горькое сладким называвши. А отец Аввакум — истинный ученик Христов, понеже страждет за закон Владыки своего, и сего ради хотящим Богу угодити довлеет его учения послушати!»

Видя всю тщетность своих увещаний, Ртищевы пытались прибегнуть к откровенному шантажу. «О, сестрица голубушка! — говорила ей троюродная сестра Анна Михайловна Вельяминова. — Съели тебе старицы-белёвки (то есть из Белёвского уезда. — К. К.), проглотили твою душу, аки птенца, отлучили тебе от нас! Не точию нас ты презрела, но и о едиnorodном сыне своем не радиши! Едино у тебе и есть чадо, и ты и на того не глядишь. Да еще каковое чадо-то! Кто не удивится красоте его? Подобаше тебе, ему спящу, а тебе бдети над ним и поставить свечи от чистейшего воска, и не вем, каковую лампаду жещи над красотою зрака его и зрети тебе доброты лица его и веселитися, яко таковое чадо драгое даровал тебе Бог! Многожды бо и сам государь и с царицею вельми дивляхуся красоте его, а ты его ни во что полагаеши, великому государю не повинуеши. И убо еда како за твое прекословие приидет на тя и на дом твой огнепальная ярость царева, и повелит дом твой разграбити — тогда сама многи скорби подымеши, и сына своего нища сотвориши своим немилосердием!»

«Неправду глаголеши ты! — возражала на это Морозова. — Несмь бо аз прельщена, яко же ты глаголеши, от белёвских стариц, но по благодати Спасителя моего чту Бога-Отца целым умом, а Ивана люблю аз и молю о нем Бога беспрестани, и радею о полезных ему душевных и телесных, а еже вы мыслите, еже бы мне Ивановы ради любви душу свою повредить или сына своего жалеючи благочестия отступити...» Сказав эти слова, боярыня осенила себя крестным знамением и продолжила: «...Сохрани мене, Сын Божии, от сего неподобнаго милования! Не хочу, не хочу, щадя сына своего, себе погубити! Аще и едиnorodен ми есть, но Христа аз люблю более сына! Ведомо вам буди: аще умышляете сыном мне препяти от Христова пути, то никогда сего не получите! Но сице вам дерзновенно реку: аще хотите, изведите сына моего Ивана на Пожар^[240] и предадите его на растерзание псом, страша мене, яко да отступлю от веры, то аз не хочу сего сотворити! Аще и узрю красоту его псы растерзова ему, благочестия же не помыслию отступити! Ведый буди известно, яко аще аз до конца во Христове вере пребуду и смерти сего ради сподоблюся вкусить, то никто ж его от руку моею исхитити не может!»^[241]

Услышав такие слова, Анна Михайловна Вельяминова «яко от грома ужасошася» и пришла в немалое изумление от мужества и убежденности боярыни Морозовой. Однако было бы совершенно неправильно путать эту убежденность и искреннюю, глубокую веру и верность традициям благочестивых предков с религиозным фанатизмом. Как справедливо отмечал академик А. М. Панченко, «Морозова очень любила своего Ивана. Чувствуя, что терпению царя приходит конец, что беда у порога, она спешила женить сына и советовалась с духовным отцом насчет невесты: «Где мне взять — из добрыя ли породы или из обышняя. Которыя породю полутче девицы, те похуже, а те девицы лутче, которыя породю похуже». Эта цитата дает наглядное представление о Морозовой. Ее письма — женские письма. Мы не найдем в них рассуждений о вере, зато найдем жалобы на тех, кто смеет «абманывать» боярыню, найдем просьбы не слушать тех, кто ее обносит перед протопопом: «Што х тебе ни пишить, то все лошь». Та, что диктовала, а иногда своей рукой писала эти «грамотки», — не мрачная фанатичка, а хозяйка и мать, занятая сыном и домашними делами»^[242].

Вместе с тем далеко не все родственники Морозовой с таким энтузиазмом приняли никоновские «новины», как Ртищевы. Старшие ее братья Феодор и Алексей Соковнины продолжали придерживаться старой веры. Но более всего Морозова молилась Богу о том, чтобы Он даровал такую же любовь ко Христу и попечение о своей душе ее любимой младшей сестре княгини Евдокии. «Словесы же наказоваше ю (ее. — К. К.) с любовью намнозе и увеща ю, еже предатися в повиновение матери Мелании. Она же зело радостне и с великим усердием умоли матерь, еже бо попеклася о спасении души ея. Мати же надолзе отрицашеся, но обаче княгиня многими слезами возможе, и бысть послушница изрядна. И не точию во едином послушании, но и во всех добродетельных нравах ревноваше старейшей сестре своей Феодосии, и тщашеся во всем уподобится ей: постом и молитвами, и к юзникум посещением. И тако уподобися ей, яко бы рещи: «Во двою телесех едина душа!»^[243].

Вскоре боярыня Морозова лишается своей главной защитницы и покровительницы: 3 марта 1669 года царица Мария Ильинична скончалась в возрасте сорока четырех лет от родильной горячки — через пять дней после тяжелейших родов, в которых она разрешилась от бремени восьмой своей дочерью, царевной Евдокией Алексеевной младшей, прожившей лишь два дня и скончавшейся 28 февраля. К этому времени в живых оставалось десять из тринадцати ее детей.

4 марта царица Мария Ильинична была погребена в Вознесенском соборе Вознесенского девичьего монастыря Кремля, служившем усыпальницей для великих княгинь и цариц Московских. Ее гробница была второй справа от южных ворот. Похороны прошли пышно. «По указу Великого Государя для вести ударено в большой колокол трижды, а ход со кресты, как и по Царевну ходили, а надгробное пение, как и над прочими, по тело ходил со кресты сам Патриарх, и провожал в Вознесенский монастырь, звон был плачевной, а как внесли в церковь, где посреди и поставили тело, литургию сам Патриарх служил со властью постную, и по литургии отпевали и погребали»^[244].

По случаю смерти супруги царь не только приказал раздать милостыню «тюремным сидельцам и колодникам», но и распорядился выпустить на свободу тех, на ком были иски по гражданским делам. При этом их долг уплачивался казной. Огромные раздачи милостыни и поминальные угощения предназначались также стрельцким вдовам, сиротам и нищим — не только в Москве, но и в провинции.

Но злосчастия в царской семье на этом не прекратились: через три месяца, 14 июня, скончался четырехлетний царевич Симеон, а еще через несколько месяцев — наследник престола, пятнадцатилетний царевич Алексей Алексеевич. Оставшиеся в живых два царских сына — восьмилетний Феодор и трехлетний Иоанн — были весьма хилого здоровья. Тем самым под вопросом оказывалось само продолжение новой династии. Всё лето 1669 года при дворе соблюдали траур.

Со смертью царицы Марии Ильиничны «потеряла свой вес и значение и партия Милославских с их родичами, вообще сочувствовавшая староверству. 1 сентября 1668 года Морозова еще являлась во дворец на праздничный званый обед. Царица очень любила Морозову и очень была к ней милостива да, вероятно, не совсем чуждалась и ее мыслей, — тем чувствительнее была эта потеря для Морозовой. Весьма понятно, что после того дворец ей опостылел, ибо не осталось уже там корней для поддержки старого «благочестия», а напротив с каждым днем входило туда новое «благочестие»»^[245].

Лишившись своей покровительницы при царском дворе, Феодосия Прокопьевна всё чаще начинает задумываться об иноческом постриге. Припадая к матери Мелании, она со слезами умоляет ее благословить на принятие «ангельского образа». Но мудрая Мелания не спешила. Она прекрасно понимала, что при высоком положении боярыни такое событие не удастся утаить в доме и что рано или поздно весть об этом дойдет до

самого царя. При этом пострадают и те, кто совершил постриг, и те, кто вообще был близок к боярыне. С другой стороны, такой известной личности, как Феодосия Прокопьевна, просто скрыться из дома в одно из своих поместий или же в отдаленный скит тоже было невозможно. К тому же в брачную пору входил сын и наследник Морозовой Иван, получивший от царя чин стольника. 13 февраля 1670 года стольник Иван Глебович Морозов уже раздавал в богадельнях милостыню от лица царя Алексея Михайловича на помин души умершего царевича Алексея Алексеевича^[246]. 21 марта того же года он вместе с матерью внес вклад в Новоспасский монастырь в память об умершем отце боярыне Глебе Ивановиче. Необходимо было сначала женить Ивана и передать управление всеми морозовскими вотчинами в его руки. А заниматься устройством свадьбы — дело отнюдь не иноческое. Наконец, решившись на иноческий подвиг и окончательно отрекшись от мира, следовало уже воздерживаться даже от «малого лицемерия» и посещения никонианских храмов «приличия ради», но мужественно стоять до конца.

Однако боярыня неотступно умоляла свою духовную мать об иноческом постриге — «зело распалающися любовию Божиею и зельно желаше насытною любовию иноческаго образа и жития». И тогда мать Мелания, видя ее горячую веру и великое усердие в делах благочестия, уступила. «Мати же и в сем паки видя веру ея велию и усердие многое, и непреложный разум, изволи быти сему: молит отца Досифея, яко да сподобит ю ангельскаго одеяния. Он же постриже ю, и наречена бысть Феодора, и даде от Евангелия матери Мелании»^[247]. Боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова навсегда умерла для мира, уступив место блаженной инокине Феодоре.

Произошло это, как убедительно доказывает А. И. Мазунин, в 1670 году^[248]. Именно в этом году в Москву прибыл один из влиятельнейших вождей церковной оппозиции игумен Никольского Беседного монастыря Досифей, совершивший иноческий постриг Морозовой.

Игумен Досифей — личность весьма примечательная в русском староверии. «У отца Досифея благословения прошу, — писал в 1675 году из своего пустозерского заточения протопоп Аввакум, — и старец Елифаный также, попремого челом бьем: отец святой, моли Бога о нас!» Ближайшие ученики благоговейно относились к игумену Досифею и называли его не иначе как «великим аввою», «равноангельным отцом» и «апостольским мужем». ««Старостою и добродетелями украшенный», преданно служивший без малого 40 лет идеям староверия, Досифей не раз

совершал странствия от Белого моря до Черного»^[249]. При этом, как отмечает историк С. А. Зеньковский, «в течение всей своей долгой и полной миссионерских трудов и приключений жизни ему удалось избежать тюрьмы и ссылки и после собора 1666–1667 годов он стал самым способным и удачливым организатором церкви «старой веры»»^[250].

Мы ничего не знаем ни о времени, ни о месте рождения игумена Досифея. Не знаем даже его мирского имени. Скорее всего, иноческий постриг и священнический сан он принял в пределах Новгородской епархии, возможно в Никольском Беседном монастыре, расположенном в четырех верстах от Тихвина, то есть в том самом монастыре, где он впоследствии стал игуменом. Согласно данным П. М. Строева, время игуменства Досифея в Николо-Беседном монастыре пришлось на 1662–1670 годы^[251]. В свете новых данных оказывается, что Досифей пребывал в Никольском Беседном монастыре до своего отъезда в Москву в декабре 1669 года^[252].

Приехав в столицу в начале 1670 года, игумен Досифей восстановил свои прежние связи с московскими «старолюбцами» и сблизился с окружением боярыни Морозовой. После ее иноческого пострига он исчезает из Москвы на полтора года и снова возвращается на север, где какое-то время живет в Курженской, или Куржецкой пустыни, сыгравшей исключительную роль в истории староверия. По всей вероятности, он являлся игуменом этой пустыни.

Строителем обители, расположенной на острове Курженского озера в Пудожской волости Олонецкого уезда, в 89 верстах к северо-востоку от Вытегорского погоста (в исследовательской литературе ее иногда ошибочно помещают в местности «близ Повенца»^[253]), являлся в первой половине XVII века преподобный старец Евфросин, который впоследствии ушел в Андомскую пустынь, находившуюся на восточном берегу Онежского озера, где и умер не позднее начала 1660-х годов. Старообрядческий историк Иван Филиппов в «Истории о зачатке Выговской пустыни» пишет: «По сих же явися ин муж, свят благочестив игумен Досифей с Тихвины Николы Беседнаго монастыря, благочестия ради крыяся, старостию и добродетельми украшенный, иже часто прибегая к пустынной некоей Курженской обители, в строении преподобного некоего отца Евфросина, в ней же и святых церкви бяху, в них же собираяся со многими отцы великими постники и знаменосцы, иже от многих стран и от Соловецкия обители изшедшии, яко Ангели нецыи земнии и небеснии человецы,

службу Богу за весь мир приношаху и житием добродетельным просвещаху»^[254].

Именно Курженская обитель, укрытая непроходимыми лесами и болотами, стала местом сбора гонимых за старую православную веру русских людей. Здесь продолжали совершать богослужение по древлеправославному чину те священники, которые не приняли никоновских новшеств.

В старообрядческой рукописной традиции XVIII–XIX веков широкое распространение получил рассказ, приписываемый перу известного выговского писателя и богослова Андрея Денисова (Мышецкого), о том, что в 1656 году в Курженской пустыни, где в это время находился игумен Досифей, состоялся некий «великий собор», впервые четко обозначивший свою позицию по отношению к никоновским церковным реформам. Вполне естественно, что в условиях жестоких преследований инакомыслящих собор не мог собраться открыто и был собором тайным, а подписи многих лиц, стоящих под Деяниями Куржецкого собора, скорее всего, были собраны заранее (в древней Церкви была подобная практика, когда в условиях гонений соборы собирались тайно, а епископы присылали на них грамоты за своей подписью). На соборе были читаны грамоты митрополита Новгородского Макария, архиепископа Вологодского Маркела, епископа Вятского Александра, архимандрита Соловецкого Никанора, московского протопопа Аввакума и многих других наиболее авторитетных деятелей раннего старообрядчества. Стоит под Деяниями собора и подпись патриарха Константинопольского Афанасия Пателария, находившегося некоторое время в России. В своих грамотах все перечисленные архиереи и отцы предавали анафеме никониан и их новые догматы. На соборе было составлено жесткое определение: приходящих от никонианской церкви крестить и рукоположения ее не принимать.

«Мы, — говорится в Деяниях Куржецкого собора, — споспешествованием Святаго Духа собравшиеся в Куржецкой Святой обители, что в Соловецком уезде, из всего священноначалия, всех крестоносных и страданием помазанных мужей и всякого сословия мирских, мудростию и благочестием украшенных. И там мы, всячески довольно и с великим вниманием рассматривахом и судили всех нечестивых догматех и церковных чиноположений внесенных ныне в Россию Никоном патриархом. Наконец сих всех глубоких размышлений, по данной нам благодати от Христа Бога нашего и по правилам святых Апостол и Вселенских бывших соборов, на вечно днесь устанавливаем узаконяем всей Христовой Церкви: дабы все церковные тайны и обряды

богослужебные, производимые по печатным книгам Никона патриарха, или ему последующих от ныне бо отнюдь и за священныя и благодатию всеянные не признавать и не веровать. В случае обращающихся от никонианской церкви к нашему благочестивому согласию, то таковых паки подобает нам совершенно крестити. А хиротонисанных всякого чина, тоже подобает рукополагати архиерею. Все злочестивыя Никона патриарха догматы и его предание, приемлющих оныя, утверждаем присно быти под отлучением от Христа, и предаем их всех мы единодушно анафеме и всем клятвам изображенным на Вселенских Святых соборах и поместных. Аминь»^[255].

Впоследствии реформаторы захотят уничтожить всякое напоминание об осудившем их соборе и о мятежной обители. Когда в 1663 году умер тайный приверженец старой веры митрополит Новгородский Макарий, то возглавивший Новгородскую епархию митрополит Питирим, известный гонитель древлеправославия и будущий патриарх, приказал стереть Куржецкую обитель с лица земли. «Тогда вышереченная Куржецкая пустыня лютым оным от архиерея гонением истребися, и в ней святыя церкви огнем пожжены быша»^[256], — свидетельствует историк Выговской пустыни.

*

Новопостриженная инокиня Феодора начала еще усерднее предаваться подвигам благочестия: устроился пост, увеличилась продолжительность келейной молитвы, всё чаще она стала прибегать к исихастской практике священнобезмолвия^[257], «а от домовых дел от всех нача уклоняться, сказующи себя болящу, и всякия судныя дела приказала ведати верным людем своим»^[258].

Между тем, хотя при дворе еще продолжался траур по усопшим царице и царевичу Симеону («время кручинное», как говорили тогда), Алексей Михайлович стал подумывать о новом браке. Уже через восемь месяцев после смерти царицы Марии Ильиничны он приступил к выбору новой царицы. Смотрины царской невесты проходили с 28 ноября 1669 года по 17 апреля 1670 года. Они были омрачены тяжелой болезнью, а затем и смертью наследника престола Алексея Алексеевича, умершего 17 января 1670 года. «Выбор царем новой супруги становился делом государственной необходимости, — пишет историк П. В. Седов. — Каждый

из влиятельных придворных рекомендовал царю свою кандидатуру будущей царицы... Кажется, царь спешил обзавестись новой супругой: он возобновил смотрины, даже не дождавшись сорочин по старшему сыне»^[259].

Из представленных на смотрины многочисленных красавиц — боярских и дворянских дочерей, сестер и племянниц — было отобрано несколько, и им был устроен еще один «генеральный» смотр 18 апреля, после чего, уже в ночи, девицы, прежде взятые «в Верх», были отпущены по домам. Остались две кандидатки — Авдотья Беляева, племянница вологодского дворянина Ивана Шихарева, и Наталья Нарышкина, воспитанница нового царского любимца Артамона Матвеева...^[260] И здесь наступил решающий момент. Естественно, и на этот раз не обошлось без интриг. 22 апреля во дворце объявились два подметных письма, запечатанных сургучом. «Что было в этих письмах, неизвестно, но «такова воровства и при прежних государях не бывало, чтобы такие воровские письма подметывать в их государских хоробах, а писаны непристойные...». Подозрение однако ж пало на Ивана Шихарева, вероятно по той причине, что в письмах что-нибудь высказывалось если не в пользу его племянницы, то, быть может, во вред ее соперницы или, правильнее, совместницы, Нарышкиной»^[261].

В результате открылось целое следствие. Иван Шихарев был взят под стражу, обыскан и подвергнут пыткам — «было ему 13 ударов и огнем жжен». Пострадали и другие люди, так или иначе причастные к этому делу. Свадьба была отложена, хотя выбор царем уже фактически был сделан.

«Эта препона ко второму браку царя Алексея на Нарышкиной ограничилась однако ж тем только, что свадьба должна была совершиться месяцев девять спустя после избрания невесты, — писал И. Е. Забелин. — ...Очень вероятно, что все это время Нарышкина жила не во дворце, как следовало по обычаю, а жила, как рядовая и уже смотренная невеста, в доме Матвеева, где квартировала, на его попечении и охранении... Наталья жила у Артамона и совершенно не знала, какое ожидает ее счастье. Спустя несколько недель после осмотра невест царь очень рано утром прислал к Артамону в придворных каретах несколько бояр в сопровождении небольшого отряда солдат и трубачей. Наталья ни о чем не знала и спала спокойно. Дружки объявили Артамону милостивое приказание царя немедленно явиться с невестою во дворец. Артамон разбудил Наталью и объяснил ей волю царя. Тогда принесли привезенные уборы, одели ее великолепно и повезли во дворец с немногими женщинами. На одежде столько было драгоценных камней, что после Наталья жаловалась на ее

тяжесть. Привезли во дворец царскую невесту, повели ее прямо в церковь и брак совершен придворным священником в присутствии немногих приближенных к царю»^[262].

Итак, 22 января 1671 года состоялась царская свадьба: «Изволил он Великий Государь сочетатися вторым законным браком, а изволил взять Кирилову дочь Полуехтовича Нарышкина, Наталью Кириловну. А на сватбе быть Великаго Государя бояром и всяких чинов людям без мест...»^[263]

Феодосия Прокопьевна Морозова как старшая боярыня обязана была присутствовать на свадьбе, но, будучи инокиней, она по церковным канонам уже не могла участвовать в придворных церемониях. Тем более что по своей должности она должна была, произнося титул царя, называть его «благочестивым», целовать его руку и подходить под благословение никонианских архиереев. И если прежняя боярыня Феодосия Прокопьевна порою вынуждена была прибегать к «малому лицемерию» и проявлять внешнее почтение к «властям», то инокиня Феодора на такую сделку со своей совестью пойти не могла. Сославшись на болезнь ног, она отказалась присутствовать на царской свадьбе, хотя царь посылал за ней неоднократно. Тем самым она нанесла глубокое оскорбление царской фамилии, особенно если учесть, что свадьба царя прошла в присутствии лишь немногих близких лиц. «Вем, яко загордилася!» — кричал разгневанный царь Алексей Михайлович. С этого момента Морозова стала для него личным врагом.

Глава пятая

Боровская Голгофа

Во время оно, совет сотвориша архиереи и старцы на Исуса, яко да убьют Его. И приведоша Его к Пилату глаголюще: «Возми возми распни Его».

Ин. 19,6

Начало крестного пути

С появлением новой царицы, воспитанной в доме Артамона Матвеева по-европейски, при дворе начались существенные перемены. Если первая царская свадьба прошла во всяком благочинии и тишине, «с песнями и пении духовными», и даже существовал суровый приказ, запрещающий подданным танцевать, участвовать в различных массовых игрищах, петь и играть на музыкальных инструментах во время свадебных пиров, то уже во время свадьбы царя с Натальей Кирилловной Нарышкиной играл оркестр, и непривычные западные мелодии смешивались с русскими хоровыми напевами.

«Теперь набожной царицы уже не было, а царь за все эти годы очень изменился, — писал французский исследователь П. Паскаль. — Он проводил меньше времени в паломничествах, в церквах и монастырях. Гораздо больше времени отдавал он теперь развлечениям и мирским удовольствиям, равно как и политике. Он усиленно смотрел теперь уже не в сторону греков, а на запад: в сторону Польши, Англии. Он отвлекался от духовной жизни всевозможными удовольствиями, новыми выдумками, заимствованными рифмованными стихами, а вскоре и театральными представлениями. Его новый духовник, Андрей Постников, ничуть не обладал прежней строгостью: он любил книги как таковые, а также иконы, отражающие живую жизнь, любил светлые краски, причудливую архитектуру, пиры, музыку, партесное пение, фиоритуры, короче говоря, все соблазны и похоти ума, плоти и очес. Его любимым советником был Артамон Матвеев. Наставником царевичей был Симеон Полоцкий... Казалось, что, отказавшись от старой веры, царь одним махом отбросил и строгость нравов, и религиозное рвение. Несчастный был теперь уже совершенно неспособен понять сомнения и чаяния тех, кто в его глазах

были отныне лишь невеждами, упрямыми и мятежниками»^[264].

Над боярыней Морозовой сгущались тучи. Всё лето 1671 года царь гневался на непокорную боярыню и искал благовидного предлога, чтобы расправиться с ней. Осенью в столице вновь появляется игумен Досифей — по-видимому, после разорения его обители на Курженском озере. О пребывании Досифея в это время в Москве содержится свидетельство в Житии боярыни Морозовой: «Бысть же, егда хотяше Господь возвести в путь свидетельства (то есть свидетельства о правоте старой веры. — К. К.) великую Феодору и купно со спутницами ея, и убо того лета постящимся им и причаща их отец Досифей в дому блаженной Феодоры во Иванове горенке. И егда приближахуся прияти пречистое тело и кровь Христову, обливахуся вси трие теплыми слезами. И зрит преподобный отец дивну вещь: абие они трие, Феодора, глаголю славная, и благоверная княгиня Евдокия, и блаженная Мария, просветишася внезапно лицом и быша чудни видением, и всячески образом быша, яко ангели Божии, и в таковой светозарности пребыша, дондеже причастишася. И последи авва неким поведом втайне вещь сию, глаголя, яко несть сие просто, но мню, яко сего лета имут сии страдати о Христе. Еже и бысть»^[265]...

В конце 1671 года игумен Досифей снова покидает Москву, отправляясь на этот раз на юг, на Дон, где продолжает проповедь староверия вместе с другим прославленным старцем Корнилием Выговским. Впоследствии игумен Досифей будет вести скитальческую жизнь, путешествуя между севером и югом и время от времени посещая членов московской староверческой общины. На севере, в Олонецком уезде, новым его пристанищем стала Сунарецкая Троицкая пустынь, основанная в 1640 году знаменитым поморским подвижником Кириллом Сунарецким на Виданском острове, близ впадения реки Суны в Кондопожскую губу Онежского озера. На юге Досифей подолгу жил в уже упоминавшейся выше Жабынской Введенской пустыни близ Белёва.

В 1681 году, находясь в Москве, игумен Досифей вместе с постриженным им иноком Сергием,^[266] сыном диакона Феодора Иванова Максимом и другими староверами собирался «с челобитными по жребию стужати царю о исправлении веры». Протопоп Аввакум в одном из своих последних посланий благословил этот шаг на пути к преодолению раскола Русской Церкви. Однако тогда подать челобитную царю по каким-то причинам не удалось, и Досифей с Сергием вновь ушли в Сунарецкую Троицкую пустынь, решив, по всей видимости, дожидаться подходящего случая.

Не позднее 1684 года Сунарецкая Троицкая пустынь была разгромлена властями, разделив таким образом участь Курженской пустыни. Но еще до того, как это случилось, игумен Досифей покинул обитель и ушел на Волгу, в город Романов-Борисоглебск, братия которого была «отцу великому авве Досифею паче инех сынов духовных вернее и любезнее». Пожив здесь какое-то время, он в 1685 году снова перебрался на Дон, где учение в защиту старой веры уже получило широкое распространение. Здесь игумен Досифей поселился в основанной еще в 70-х годах XVII века знаменитым священноиноком Иовом Льговским Чирской пустыни и вскоре возглавил ее.

«Здесь стояла неосвященная церковь во имя Покрова Богородицы, построенная еще при жизни Иова Льговского. Новый чирский настоятель трижды спрашивал в Черкасске у казаков разрешения ее освятить. Только удостоверившись, что у Досифея есть «благословенная грамота», те дали на это согласие. Освящение состоялось 21 марта 1686 года на антимиинсе времен патриарха Иоасафа I, после чего здесь началась церковная служба. В связи с большим спросом у старообрядческих священников на запасные Дары для причастия, Досифей старался заготовить их как можно больше, чтобы и в «тысячи лет не оскудело»»^[267].

В вопросе о перешедших в раскол попах нового поставления игумен Досифей занимал твердую позицию их неприятия. Лишь однажды, как пишет старообрядческий историк XVIII века Иван Алексеев, он пошел на компромисс, да и то весьма оригинальным образом: в отношении обратившегося к нему за благословением вести службу Иоасафа, бывшего келейника Иова Льговского, получившего хиротонию по просьбе последнего от «никонианского» тверского архиерея, но по старым книгам, Досифей «метну жребий, что тем показано будет: и паде жребий на Иоасафа священнодействовать»^[268].

Четырехлетнее пребывание Досифея в Чирской пустыни совпало с периодом острой борьбы донских казаков-старообрядцев за возвращение к дониконовским церковным обрядам, причем дважды — весной и осенью 1687 года — им удавалось одерживать победу. Летом 1688 года, когда на Дону начались преследования старообрядцев, игумен Досифей вместе со своими единомышленниками «потщася гонзнути (убежать. — К. К.) мучительских рук». Покинув Чирскую пустынь, они ушли «за Астрахань, к Хвалынскому морю, и поселися тамо близ Кумы реки» на речке Аграхани, на землях шавкала (князя) Тарковского, где Досифей и умер не позднее 1691 года.

Причастившись из рук благоговейного игумена Досифея, инокиня Феодора стала готовиться к грядущим испытаниям. «Егда же время приспе, женскую немощь отложше, мужескую мудрость восприемше, и на муки пошла, Христа ради мучитися»^[269].

С наступлением осени царь прислал к Морозовой для увещаний своего двоюродного дядю боярина князя Бориса Ивановича Троекурова,^[270] а месяц спустя — более близкого ей человека, мужа ее сестры Евдокии, кравчего князя Петра Урусова «с выговором, еже бы покорилася, приняла все ново-изданныя их законы». Но все попытки склонить боярыню Морозову к новой вере, сопровождаемые недвусмысленными угрозами, не увенчались успехом.

«Она же дерзаше о имени Господни и болярам тем отказоваше: «Аз царю зла не вем себе сотворшу, и дивлюся, почто царский гнев на мое убожество? Аще ли же хочет мя отставити от правыя веры, и в том бы государь на меня не кручинился, но известно ему буди: по се число Сын Божий покрывал Своею десницею, ни в мысли моей не приях когда, еже отставя отеческую веру и приняти Никоновы уставы. Но се ми возлюблено, яко в вере христианской, в ней же родихся, и по апостольским преданием крестихся, в том хочу и умерети. И прочее довлеет ему, государю, не стужати мне, убозей ми рабе, понеже мне сея наша православныя веры, седмию вселенскими соборы утверженныя, никако никогда отрещися невозможно, якоже и прежде множицею сказах ему о сем»»^[271].

Царские посланцы передали ее мужественные слова Алексею Михайловичу «Он же паче множае гневом распалышеша, мысля ю сокрушите. И глаголя предстоящим: «Тяжко ей братися (бороться) со мною! Един кто от нас одолеет всяко!»».

И тогда царь начал держать совет со своими ближними боярами, как же ему поступить со строптивой боярыней. «И бысть в Верху не едино сидение об ней, думающе, како ю сокрушат. И боляре убо вси, видяще неправедную ярость и на неповинную кровь состав злый, не прилагахуся к совету — но точию возразити злаго не могуще, страха же ради молчаху».

Не найдя поддержки в Боярской думе, царь обратился к покорным ему архиереям. И не ошибся. Более всего возненавидели обличавшую их боярыню новообрядческие архиереи и приверженцы никоновских «новин», вышедшие из Киева и Полоцка. Они всячески натравливали царя на Морозову. «Наипаче же царю на сие поспешествоваху архиереи и старцы

жидовския и иеромонахи римския. Тии бо зело блаженную ненавидяху, и желающе ю всячески, яко сыроядцы, живу пожрете, понеже сия ревнителница везде будущи — и в дому своем при гостех, и сама где на беседе несуменне потязаше (обличала) их прелесть и при множестве слышащих поношаше их блядство заблужденное, а им во уши вся сия прихождаше. И сея ради вины ненавидяху ея. И сице у них думе идущи»^[272]. Теперь Морозову стали обвинять не просто в непослушании царю, но в приверженности «раскольнической ереси». А это совершенно меняло дело. За преступления против веры ее без труда можно было передать в руки «святой инквизиции»...

Как уже говорилось выше, в московском доме Морозовой был организован небольшой монастырь и жило пятеро инокинь. Видя, как над боярыней сгущаются тучи, они не могли не тревожиться и за свою будущность. Но Морозова всегда знала о том, что происходит «в Верху», во дворце, благодаря своей младшей сестре княгини Евдокии, почти неотлучно находившейся при ней и утешавшей ее в скорбях, лишь ненадолго отъезжая домой к князю и детям. По истечении пяти недель после первого «увещания» инокиня Феодора утешала своих духовных сестер: «Ни, голубицы мои, не бойтесь! Ныне еще не будет ко мне присылки».

Но вот наступило 14 ноября 1671 года, заговены на Рождественский пост. Предчувствуя неминуемую опалу, Морозова призвала старицу Меланию и других инокинь и приказала им скрыться из Москвы: «Матушки мои, время мое прииде ко мне; идите вси вы каяждо, аможе (куда) Господь вас сохранит, а мне благословите на Божие дело и помолитесь о мне, яко да укрепит мя Господь ваших ради молитв, еже страдати без сомнения о Имени Господни». Расцеловав любезных ей инокинь, она отпустила их с миром...

В тот же день и княгиня Урусова отправилась к себе домой навестить мужа и детей. За ужином князь Петр Семенович начал рассказывать супруге, что происходит у них во дворце, и между делом сказал: «Скорби великие грядут на сестру твою, понеже царь неукротимым гневом содержим, и изволяет на том, что вскоре ея из дому изгнати!»

Сказав эти слова, князь перешел на другую тему: «Княгиня, послушай, еже аз начну глаголати тебе, ты же внемли словесем моим. Христос во Евангелии глаголет: предадут вы на сонмы, и на соборищах их биют вас, пред владыки же и царя ведени будете Мене ради во свидетельство им. Глаголю же вам, другом Своим, — не убойтесь от убивающих тело, и потом не могущих лишше что сотворити. Слышиши ли, княгини? Се Христос Сам

глаголет, ты же внемли и напамятуй!» Услышав от мужа такие слова, княгиня Евдокия «зело радовашеся».

Утром 15 ноября, когда князь Урусов уезжал во дворец, княгиня отпросилась у него пойти к сестре. Прощаясь, он как бы невзначай произнес: «Иди и простися с нею, точно не косни (не задерживайся) тамо, мною бо аз, яко днесь присылка к ней будет».

Каковы были истинные мотивы князя Петра Урусова, с одной стороны, сообщившего жене о царских планах, державшихся в строжайшей тайне, а с другой — фактически подтолкнувшего ее на верную гибель? Ведь не мог же он не знать, что Евдокия не оставит любимую сестру и пожелает разделить ее участь? О мотивах лукавого царедворца догадаться нетрудно, если знать, что произошло с ним в недавнем прошлом и что произойдет в дальнейшем, после ареста его супруги.

С приходом во дворец новой царицы потерял свое влияние и тот придворный клан, к которому принадлежали Соковнины и Урусовы. В апреле 1670 года был лишен должности царицыного дворецкого старший брат Морозовой Феодор Прокопьевич Соковнин, а спустя два месяца, в июне, князь Петр Семенович Урусов был послан воевать против разинцев, что для царского кравчего было проявлением крайней немилости. «Воевать этот придворный не умел, — пишет П. В. Седов. — В Казани он действовал пассивно и бестолково, чем навлек на себя нарекания других воевод и царский указ ехать в свою нижегородскую вотчину и не являться самовольно в Москву. Через несколько месяцев Алексей.

Михайлович вызвал опального кравчего из деревни и поручил ему увещевать боярыню Морозову. Немилость висела над кн. П. С. Урусовым, и он послушно выполнил государеву волю»^[273].

После ареста жены князь П. С. Урусов отрекся от нее и тем снискал царскую милость. Он сумел склонить сына Василия на свою сторону, и только две дочери оставались до конца верны своей несчастной матери... Когда княгиня Евдокия томилась в заточении, князь П. С. Урусов развелся с ней и женился на Степаниде Гавриловне Строгановой. «Во всей этой истории не было человека, который вел бы себя столь беспринципно, как кн. П. С. Урусов... По московским обычаям родственники разделяли судьбу опальных. Но царский кравчий, спасая себя, взял грех на душу и продолжал верой и правдой служить царю. В столь двусмысленной для него ситуации он сохранил полное доверие царя и вместе с ним чин кравчего, в обязанности которого входило, в частности, следить за тем, чтобы царю не дали с питьем какой-нибудь отравы»^[274].

Историк И. Е. Забелин даже высказывал предположение, что князь П. С. Урусов намеренно толкал свою жену к поддержке Морозовой, с тем чтобы «избавиться приличным образом от нелюбимой жены, что в боярском быту иногда бывало...»^[275].

*

Княгиня Урусова, зная о предстоящей «присылке», пришла в дом сестры и не только задержалась там до поздней ночи, но и осталась ночевать. В ночь на 16 ноября 1671 года вместе они ждали «гостей». «И се во второй час ночи отворишася врата большия. Феодора же в мале ужасшися, разуме, яко мучители идут, и яко преклонися на лавку. Благоверная же княгиня, озаряема Духом Святым, подкрепи ю и рече: «Матушка-сестрица, дерзай! С нами Христос — не бойся! Востани, — положим начало». И егда совершиша семь поклонов приходных, едина у единой благословишася свидетельствовати истину».

После этого боярыня Морозова возлегла на свой пуховик, рядом с иконой Пресвятой Богородицы Феодоровской, а княгиня Урусова пошла в чулан, устроенный поблизости в том же спальном покое для инокини Мелании, где тоже возлегла на постель.

В это время с «великою гордостью» в покои боярыни вошел чудовский архимандрит Иоаким и, сказав, что послан от царя, приказал ей встать, чтобы стоя выслушать царский приказ. Но боярыня не повиновалась и продолжала лежать на пуховике. «Како, — спрашивал Иоаким, — крестишися и како еще молитву твориши?» В ответ Морозова сложила персты по древнему апостольскому преданию и произнесла: «Господи Иусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас!»^[276] Сице аз крещуся, сице же и молюся».

Архимандрит продолжил допрос: «Старица Меланья, — а ты ей в дому своем имя нарекла еси Александра, — где она ныне? — повеждь вскоре, потребу бо имама о ней». На это Морозова отвечала: «По милости Божии и молитвами родителей наших, по силе нашей, убогий наш дом отверсты врата имяше к восприятию странных рабов Христовых. Егда бе время, бысть и Сидоры, и Карпы, и Меланьи, и Александры; ныне же несть от них никого же».

Присланный вместе с Иоакимом думный дьяк Иларион Иванов^[277] зашел в темный чулан и, заметив, что там кто-то находится, спросил: «Кто

ты еси?» Княгиня Урусова отвечала: «Аз князь Петрова жена есмь Урусова». Словно огнем обожженный, дьяк в ужасе выскочил из чулана. Уж кого-кого, а супругу царского кравчего встретить здесь он совсем не ожидал!

Увидев столь странную реакцию Илариона Иванова, архимандрит спросил: «Кто тамо есть?» — и в ответ услышал: «Княгиня Евдокия Прокопиевна, князь Петра Урусова». Однако Иоакима это нисколько не смутило: «Вопроси ю, како крестится».

Думный дьяк замялся: «Несмы послани, но токмо к бояроне Феодосии Прокопиевне». Иоаким повторил свой приказ снова: «Слушай мене, аз ти повелеваю: истяжи ю».

Княгиня Урусова сказала то же самое, что и сестра, добавив: «Сице аз верую». Гневу недалекого архимандрита не было границ. Оставив Илариона сторожить пленниц, Иоаким поспешил к царю с докладом. Алексей Михайлович сидел в Грановитой палате и совещался с боярами. Приблизившись к царю, Иоаким «пошепта ему во ухо», что не только боярыня мужественно исповедала свою веру перед царскими посланцами, но и ее сестра, княгиня Евдокия, которую они также встретили в морозовском доме. Царь на это отвечал: «Никако же, аз бо слышах, яко княгиня тая смирен обычай имать и не гнушается наша служба, люта бо она сумозбродная та» (то есть Морозова).

Иоаким же начал «человеконенавистне» наговаривать на княгиню: «Не точию (только) конечно уподобися во всем сестре своей старейшей, но и злейши ее ругается нам». Тогда царь приказал: «Аще ли тако есть, то возьми и тую».

Князь Петр Урусов, стоявший здесь же, слышал эти слова и хотя «оскорбися», но помочь делу ничем уже не мог (а может, и не хотел)...

Снова вернувшись в дом мученицы, архимандрит Иоаким начал допрос прислуги. Он хотел знать, разделяют ли веру своей госпожи ее «рабы» и «рабыни». По очереди были допрошены Ксения Иванова, Анна Соболева и все прочие, остававшиеся в доме слуги. Часть прислуги мужественно исповедовала приверженность старой вере. «Прочии же убояшася вси и поклонишася». Иоаким разделил всю прислугу на две части: слева поставили тех, кто от старой веры отрекся, с правой — тех, кто оказался верен ей до конца.

После этого архимандрит обратился к боярыне: «Понеже не умела еси жити в покорении, но в прекословии своем утвердилася еси, сего ради царское повеление постиже на тя, еже отгнати тя от дому твоего. Полно тебе жити на высоте (то есть в покоях боярских. — К. К.), сниди долу,

востав, иди отсюда!»

Но Морозова не сдвинулась с места. Тогда Иоаким повелел слугам взять ее и нести. Принесли кресла, в них посадили строптивую боярыню и понесли на руках вниз, на улицу. После этого на ноги сестрам надели цепи («железа конские») и посадили под стражей в людских хоробах, в подклете.

Два дня спустя снова пришел думный дьяк Иларион Иванов и, сняв оковы, приказал мученицам идти, куда поведут. Но Морозова снова не захотела идти своей волей, и дьяк позвал людей. Принесли сукно и, посадив на него боярыню, понесли до Чудова монастыря на руках. Рядом шла Евдокия.

Со слезами на глазах провожал боярыню Морозову юный сын ее Иван Глебович. Проводив мать до среднего крыльца, он поклонился ей вслед и возвратился в дом. Он видел мать в последний раз.

В Дружининском списке Жития боярыни Морозовой (так называемой Краткой редакции) описана трогательная сцена их прощания: Иван Глебович, выйдя тайком на «заднее крыльцо», «созади притек, нападе на выю матери и начат плакаться со слезами», высказывая свою любовь и благодарность родительнице. «О, любезнейшая моя мати, како, оставя меня, идеши?.. О, прелюбезная мати моя Феодосия! На кого мя оставлявши и кому мя вручавши, его же не над меру любила еси? Много благодарю тя, превозжеленная моя родителнице, о великой любви и о неизреченной милости твоей, понеже бо мя рождыши, сосцама своима воскормила мя, издетска питала, дондеже аз возрастох и до сего дни. И за сие благодарю тя, яко оставши в сиротстве вдовою от господина отца моего Глеба прилежание и попечение велико о мне имела еси издетска».

Целуя мать, Иван Глебович зарыдал и упал ей в ноги. Поднимая его с земли, боярыня пыталась его утешить: «Послушай, дражайшее мое единокровное чадо, Иоанне, наказания матери своей, ибо светло житие праведных, како же светится. Не терпением ли сие возлюби, еже есть мужеству матери? Пророк в псалме наказует, глаголя: *потерпи Господа и сохрани пути Его*^[278]. Павел учит, яко да стяжете детел и и глаголет, яко скорбь терпение соделовает, и сим грядый путем обрящеши источник благое упование, упование же не посрамит. Послушай, чадо, Павла глаголюща, еже аще что сеет человек, то и пожнет: сеяй в дух — от духа пожнет жизнь вечную, сеяй же в тело, — рече, — от плоти пожнет тление. Не пренемогай в трудех и житейских печалех, презря упование; идеже бо подвижи, тамо и воздаяние, а идеже победы, тамо и почести, а идеже брань, тамо и венец. Над всеми же сими имей присно в сердцах страх Божий — тем убо уклоняется всяк от зла, — и память смертную — та бо есть устав

любомудрия. Стяжи же и чистоту душевную и телесную, без нея же никто же узрит Господа. Буди же и милостив ко всем, яко тии помиловани будут. Нам убо, чадо, наста время подвига: тецем убо на подлежащий нам подвиг. Ты же, взем благословение и молитву и последнее прощение, возвратися в дом свой».

Не переставая проливать слезы, Иван взял благословение у матери и возвратился в дом, где «плач и рыдание и вопль мног слышашеся аки по мертвей»...[\[279\]](#)

*

18 ноября сестер Феодосию и Евдокию доставили в кремлевский Чудов монастырь, где их допрашивали «духовные власти». Боярыню Морозову внесли на полотне в так называемую Вселенскую палату монастыря. Перекрестившись на находившиеся на стенах образа, она лишь слегка кивнула в сторону «властей». При допросе присутствовали митрополит Крутицкий Павел[\[280\]](#), чудовский архимандрит Иоаким, думный дьяк Иларион Иванов и другие. Морозова не пожелала отвечать перед этими людьми стоя и во всё время допроса сидела, несмотря на то, что ее пытались заставить отвечать стоя.

Хитрый, словно лис, митрополит Павел, обратившись к боярыне кротким и тихим голосом и называя ее «матерью праведною», стал напоминать ей о ее звании и происхождении. «И сие тебе, — говорил он, — сотвориша старцы и старицы, прелестившии тя, с ними же любовне водилася еси и слушала учения их, и доведоша тя до сего бесчестия, еже приведене быти честности твоей на судище». Потом он долго и многословно пытался убедить ее покориться царю, вспоминая и ее прежнее положение, и красоту ее сына, которого она не жалеет, ставя своим «прекословием» под угрозу не только свое имя, но и сыновнее.

На это Морозова отвечала «премудро»: «Несмь прельщена, яко же глаголете, от старцев и стариц, но от истинных рабов Божиих истинному пути Христову и благочестию навыкох, а о сыне моем престаните ми многая глаголати; обещах бо ся Христу моему, свету, и не хочу обещания солгати и до последнего моего издыхания, понеже Христу аз живу, а не сыну!»

Тогда никонианские архиереи ловко сыграли на личной ненависти царя к Морозовой и в споре о вере поставили вопрос ребром: «В краткости

вопрошаем тя, — по тем служебником, по коим государь царь причащается и благоверная царица и царевичи и царевны, ты причастиши ли ся?» Морозова столь же прямо отвечала: «Не причащуся. Вем аз, яко царь по развращенным Никонова издания служебником причащается, сего ради аз не хочу!»

Павел Крутицкий задал последний вопрос: «И како убо ты о нас всех мыслиши? Еда вси еретицы есмы?» — на что Морозова без колебаний ответила: «Понеже он, враг Божий Никон, своими ересми, аки блевотиною наблевал, а вы ныне то сквернение его полизаете и посему яве яко подобии есте ему». Эти слова окончательно вывели из себя желавшего до того казаться кротким и смиренным митрополита. Он перешел на крик: «О что имамы сотворити? Се всех нас еретиками нарицает!» От него не отставал и пришедший в ярость чудовский архимандрит: «Почто, о архиерею Павле, нарицаеши ю материю да еще и праведною? Несть се, несть! Не бо Прокопиева дщи прочее, но достоин ю нарицати бесову дщерь!»

Морозова возражала Иоакиму: «Аз беса проклиная! По благодати Господа моего Исуса Христа, аще и недостойна, обаче дщерь Его есмь!» Спор о вере во Вселенской палате Чудова монастыря продолжался восемь часов — от второго часа ночи до десятого!

После этого допрашивали княгиню Евдокию Урусову. Она вела себя столь же мужественно, что и сестра, и также не пожелала причаститься по новоизданным служебникам. После допроса Морозову снова на полотне отнесли домой и посадили в подклет, в котором она вместе с сестрой просидела два предыдущих дня. С нею посадили княгиню, заковав обеим ноги в кандалы.

Сидя в заточении, блаженная инокиня Феодора просила сестру: «Аще нас разлучат и заточат, молю тя, поминай в молитвах своих убогую мя, Феодору». Тогда Евдокия не поняла смысла этих слов, потому что до того они всегда были вместе, но старшая сестра предчувствовала, что вскоре их разлучат, и разлучат надолго.

Все попытки повлиять на сестер оказались тщетными. Наутро, 19 ноября 1671 года, к ним снова явился думный дьяк Иларион Иванов, их заковали в ошейники с цепями и повезли на санях по улицам Москвы. Морозова, перекрестившись и поцеловав свой железный ошейник, сказала: «Слава тебе, Господи, яко сподобил мя еси Павловы юзы^[281] возложить на ся». Власти хотели публично опозорить высокородных сестер, но их это не сломило. Позор их обернулся настоящим триумфом. За санями с боярыней-инокиней следовало множество народа (именно эту сцену запечатлел в своей гениальной картине В. И. Суриков). «Она же седши и стул близ себе

положи (то есть тяжелую колоду, к которой были прикованы цепи. — К. К.). И везена бысть мимо Чюдова под царския переходы. Руку же простерши десную свою великая Феодора и ясно изобразивши сложение перст, висоце вознося, крестом ся часто ограждаше, чепию же такожде часто звяцаше. Мняше бо святая, яко на переходех царь смотряет победы ея, сего ради являше себе не точию стыдетися ругания ради их, но и зело услаждатися любовию Христовою и радоватися о юзах»^[282]. «Смотрите, смотрите, православные! — кричала она. — Вот моя драгоценная колесница, а вот цепи драгие... Молитесь же так, православные, вот сицевым знамением. Не бойтесь пострадать за Христа».

После этого сестер разлучили. Они были заточены по разным монастырям: Феодору поместили на подворье Псково-Печерского монастыря, а Евдокию — в Алексеевский девичий монастырь на Чертолье.^[283] Подворье Псково-Печерского монастыря находилось в XVII веке в Белом городе, на Арбате (в районе теперешней Смоленской площади). В 1670 году оно было куплено у печерского архимандрита Паисия «с братьею» за 300 рублей Приказом Тайных дел и использовалось как место заточения. Морозова была, по-видимому, одной из первых узниц этой страшной тюрьмы.

Несмотря на «крепкую стражу», состоявшую из двоих сменявших друг друга стрелецких голов и десяти стрельцов, местонахождение боярыни Морозовой вскоре чудесным образом было открыто ее единомышленникам. Уставщица Елена Хрущева,^[284] скрывавшаяся в Москве вместе с другими инокинями и не имевшая никаких известий о Морозовой более недели, неожиданно встретила ее на подворье Псково-Печерского монастыря.

Встреча произошла 27 ноября, на праздник Знамения Пресвятой Богородицы. «Великой убо Феодоре исшедши на задней крылец, идеже исходят на нужную потребу, Елене же по улице той шедши — и тако Божиим мановением познастася. Бе же и на улице то место таковую же потребу имать, еже *ходит* ту человекам на облегчение чрева. И ту стоящи Елена приближне и беседова с Феодорою, на высоте ей стоящи. И рече блаженная: «О возлюбленная ми Елено! ничто мене тако не оскорбило во днех сих, якоже разлучение ваше: ни отгнание из дому, ни царский гнев, ни властелское истязание, ни юзы, ни стража. Вся ми сия любезна о Христе, но зело ми тошно, еже более седмицы ни знаю, ни ведаю о вас. Господа ради, не покиньте мене, не съезжайте с Москвы, будите ту, не бойтесь, уповаю на Христа, покрывает вас. Ниже бо о сродницех по плоти тако

болезную, о вас же рыдая не престаю. Вся укрепляем мя Христе возможно ми суть, единого же сего до конца не могу терпети!»»^[285].

Помещенная в Алексеевском девичьем монастыре, княгиня Евдокия Урусова также содержалась под «крепким началом», причем ее стражам приказано было насильно водить ее в церковь к новообрядческой службе. «Святая же таково мужество показа, яко всему царствующему граду дивитися храбрости ея, како доблествене сопротивляшесе воли мучительсте: не точию бо своима ногама никогда не восхоте, аще и велми нудима бе к пеню их приити, но аще и на носиле влачаху ея рогознем (тако бо повелено бысть), то она не соизволяет еже и на носило возлещи сама. Но и здрава суци к тому часу сотворит себе яко разслаблену и не могуци ни рукою, ни ногою двигнути. Старицам же, пришедшим и воздвигающим ю, бе иногда стужати, и даже до сего безстудствующи, еже святое оно и ангел олепное лице ея дерзостне заушити (ударить), рекуци: «Горе нам! Что можем с тобою сотворити? Сами бо видехом, яко в час сий здрава бе и беседова со своими весело; егда же мы приидохом, на молитву зовуще, тогда внезапно, яко омертве, нам велики труды творящи. Се бо превращаем, яко мертву и недвижиму»».

На это княгиня отвечала им кротко: «О старицы беднии! Почто труждаете всеу? Еда аз вас понуждаю труд сей творити? Но сами вы безумствующе всеу шатаетесь. Аз бо и вас зря, погибающих, плачюся — како же аз сама помыслю когда ити в собор ваш? Тамо у вас поют, не хваляще Бога, но хуляще Его, Спасителя, и законы Его попирающе». Но старицы клали княгиню на «носило», словно мертвое тело, и вопреки ее воле несли в соборную церковь на литургию.

Больше всего княгиню тяготило то, что она, хотя и невольно, принуждена была присутствовать на новообрядческой литургии. И сам факт ее присутствия там мог быть истолкован в Москве превратно — в том смысле, что она чуть ли не примирилась с реформированной никонианской церковью. Если княгиня замечала в монастыре кого-либо из своих знакомых из числа «верных», она обычно обращалась к носившим ее монахиням с притворным стоном: «Увы, утомихся! Станите мало!» Когда старицы опускали «носило» на землю, она нарочито громко продолжала: «Старицы! Что се творите, влачаще мя? Еда аз хощу молитися с вами? Никакоже, несть право, еже со отступлыими закона Христова обще молитися нам, християном, но реку вам нечто: прилично убо, идеже ваше пение возглашается, тамо, на нужную потребу исходя, излишие утробное испражняти — тако бо аз почитаю вашу жертву!»»^[286]

Тем временем подруга и единомышленница сестер (а в будущем и сопричастница их подвига) Мария Герасимовна Данилова задумала бежать из Москвы. Но кто-то донес об этом, и за нею была послана погоня. Ее захватили в Подонской стране и привезли в Москву. Здесь она была допрошена и исповедала свою приверженность старой вере и неприятие «новых догмат». За это ее бросили в подземелье под Стрелецким приказом. По мнению А. И. Мазунина, сообщение об аресте М. Г. Даниловой следует отнести к весне 1672 года: 22 апреля датирован царский указ об аресте «колодника» Иоакимфа Данилова. Этим именем — именем своего мужа — назвалась переодетая в мужскую одежду Мария Герасимовна. Поэтому ее держали в застенке вместе с другими заключенными мужчинами, и она «беду приимаше более обою сестр. Безстуднии воины пакости творяху ей невежеством».

Во время заточения Морозовой на подворье Псково-Печерского монастыря ее неоднократно навещал митрополит Иларион Рязанский,^[287] пытаясь склонить непокорную боярыню к новой вере. «Она же тако мужественне с ним стязовашася, яко и вельми ему посрамлену бывати и безответну множицею отходити».

Ни тюремное заточение, ни «тяжкие железа» нисколько не тяготили Морозову. Наоборот, сама мысль о страдании за правую веру, о страдании за Христа наполняла ее душу сладостным умилением и совершенно преображала всю ее жизнь. Единственное, о чем она скорбела, — это о разлучении со своей духовной матерью и сестрами. Впрочем, и в заточении она продолжала вести с ними переписку. Она писала своей наставнице Мелании, сожалея о том, что не может, как должно, исполнять своего иноческого правила: «Увы мне, мати моя, не сотворих ничто же дело иноческаго. Како убо возмогу ныне поклоны земныя полагати? Ох, люте мне, грешнице! День смертный приближается, аз, унылая, в лености пребываю! И ты, радость моя, вместо поклонов земных благослови мне Павловы юзы Христа ради поносить. Да еще аще волиши, благослови мне масла кравия, и млека, и сыр, и яиц воздержатися, да не праздно мое иночество будет и день смертный да не похитит мя неготову. Едина же точию повели ми постное масло ясти».

Мать Мелания писала в ответ, благословляя Морозову «на страдание» в таких словах: «Стани доблествене страждуще о имени Господни, и Господь да благословит тя юзы Его ради носити, и поиди, яко свеща, от нас к Богу на жертву; о брашнях же вся прилучающаяся да яси»^[288].

Царь тем временем ни на минуту не забывал о высокородной узнице.

Не раз на заседаниях Боярской думы ставился этот не дававший ему покоя вопрос: «Что бы ей сотворити за мужественное ея обличение»? Однажды был вызван брат Морозовой Феодор Прокопьевич Соковнин, которого долго расспрашивали о многом, связанном с его сестрами, особенно же о матери Мелании: «Повеждь ми — где Мелания? Ты вся тайны сестры своея свеси (знаешь)!» Но Феодор Прокопьевич ничего не сказал, чем навлек на себя царский гнев.

*

Вскоре на долю Морозовой выпало новое, еще более страшное испытание: ее сын Иван Глебович, совсем молодой юноша, после разлуки с матерью «от многия печали впаде в недуг... и так его улечиша, яко в малех днех и гробу предаша». Произошло это или в самом конце 1671 года, или в начале 1672-го. Судя по всему, он от рождения был болезненным ребенком, что явствует из слов протопопа Аввакума: «А Иван не мучитель был, — сам, покойник, мучился и света не видел вся дни живота своего... В муках скончался робя»^[289]. Царь прислал к нему своих врачей, ну а врачи в Аптекарском приказе в XVII веке были отменные, и уж что-что, а «залечить» умели!

Сообщить Морозовой о смерти сына был прислан «поп-никонианин», «нечестивый бескуфейник». Вместо слов утешения он пытался продолжать увещания несчастной узницы, утверждая, что свалившиеся на ее голову несчастья — есть наказание Божие за ее гордыню и непокорность «святой церкви». Этот «злоумный» человек «досаждал» Морозовой, приводя слова 108-го псалма, «реченные о Июде».^[290]

Но Морозова не внимала этим безумным речам. Узнав о смерти любимого сына, боярыня зарыдала и «падши на землю пред образом Божиим, умильным гласом с плачем и рыданием вещаше: увы мне, чадо мое, погубиша тя отступницы!». И так, не вставая с земли, она не один час проплакала, «воспущающи о сыне си надгробныя песни, яко и инем слышащим рыдати от жалости»...

Редактор Дружининского списка Жития боярыни Морозовой, стремясь оживить ее суровый житийный облик, приводит надгробный плач матери над сыном. Этот плач очень напоминает народные севернорусские причитания по умершим, хотя здесь присутствуют, несомненно, и заимствования из литературных источников:

«Увы мне, увы! Утроба ми ся мятет, Иоанна ради! Увы мне, увы мне! Где убо и в коем месте умре сын мой? да шедши, седины своя растерзаю над телом его — аз есмь вина смерти твоей, чадо! Плачите ныне со мною, материю печальною, все матери сынов своих, яко единородный мой сын мене ради, злосчастныя, умре и бо не насладихся прекраснаго твоего видения, любезный сыне мой, не насытихся, дражайший мой, преслаткаго твоего гласа, всежаланная утроба моя! Плачу, плачу лишения твоего, крепкий подпоре старости моей! Се отныне не узрю тебе, пресладкий мой свете, и не объиму, ни облобыжу тебе, превозжеленное мое чадо, яко сын мой превозлюбленный чюжих человек руками во гроб полагается и землю покрывается. Рада бых я была, аще бы поне вместо драгаго тела принесл бы кто ризу Иоаннову, якоже древле принесоша братия от пустыни ризу Иосифову ко отцу его Иякову, а мне, многопечальной матери, никто не обрящется в милости щедрот Иосифовым братиям подобен — ни от своих сродник, ни от чюжих знаемых, иже бы кто поне малый ветхий и худый убрусец семо бросил в злосмрадную сию темницу: аз бы, многопечальная, растворила бы с радостию горкое мое рыдание, негли^[291] бы от тово поне малую отраду получила»^[292]...

Царь же Алексей Михайлович, говорится в Житии Морозовой, «о смерти Иванове порадовася, яко свободнее мысляще без сына матерь умучити». Да, теперь он мог легче расправиться с неугодной боярыней. При этом он выслал родных братьев боярыни Морозовой и княгини Урусовой — Феодора и Алексея Соковниных — подальше от Москвы: одного в Чугуев, другого в Рыбное (город Острогжск), якобы на воеводство. Всё это царь делал «от великой злобы на блаженную, мысляще, яко да ниоткуда же никако же никакова рука да не приблизится, помогаючи им в скорбех тех великих...».

После смерти Ивана Глебовича всё огромное морозовское имущество было роздано или распродано царем: «отчины, стада, коней разда боляром, а вещи все — златыя и сребряныя, и жемчужныя, и иже от драгих камней, — все распродати повеле». При разорении морозовского дома в стене нашли тайник, в котором находилось много золота. Однако значительную часть господского имущества, в том числе драгоценности, по повелению Морозовой припрятал ее слуга Иван. Выданный собственной женой, он был подвергнут жестоким пыткам, но так и не открыл тайны — «аки добрый раб и верный нелицемерне поревнова госпоже своей». Впоследствии он будет заживо сожжен в Боровске с прочими мучениками.

Первым свою долю имущества опальной староверческой семьи

получил новый царский тесть — Кирилл Полуектович Нарышкин. 23 января 1672 года ему были даны три грамоты на земли, принадлежавшие ранее Глебу Ивановичу Морозову, а затем перешедшие к его сыну: поместья в Рязском уезде (село Петровское, 100 четвертей) и в Рязанском уезде (2 сельца, 33 четверти), а также вотчина в Московском уезде (село Игнатовское, 209 четвертей). Ему же достались и личные вещи Морозовых — 26 сентября 1672 года по указу царицы Натальи Кирилловны был взят «из Стрелецкого приказа из животов Ивана Глебовича Морозова» «сундук кипарисной». 10 декабря царица пожаловала его своему отцу. Другие земли и имущество Ивана Глебовича пошли в раздачу думному дьяку Г. С. Дохтурову, боярину Б. М. Хитрово и головам московских стрельцов.

Одновременно были конфискованы и поместья мужа Марии Герасимовны Даниловой: 16 января 1672 года поместье Акинфия Данилова было отдано полуголове московских стрельцов Л. Изъединову. Об этом «именной великаго государя указ думному дьяку Герасиму Дохтурову сказал боярин Яков Никитич Одоевской». «В январе 1672 года положение боярыни Морозовой разом изменилось: сначала цепи вместо богатства, а затем и смерть единственного сына. Надеяться оставалось только на Бога. Государев гнев загнал Морозову в угол: для нее царская жестокость и насилие над ее религиозными принципами слились воедино; вера единственно и могла дать силы выстоять в постигшей ее беде»^[293].

Протопоп Аввакум, узнав о гибели своего духовного сына Ивана Глебовича, написал из пустозерского заточения Морозовой письмо. Он сумел найти самые нежные, трогающие душу безутешной матери слова:

«Увы, чадо драгое! Увы, мой свете, утроба наша возлюбленная, — твой сын плотской, а мой духовной! Яко трава посечена бысть, яко лоза виноградная с плодом, к земле приклонился и отъиде в вечная блаженства со ангелы ликовствовати и с лики праведных предстоит Святей Троицы. Уже к тому не печется о суетной многострастной плоти, и тебе уже неково чотками стегать и не на ково поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки неково погладить, — помнишь ли, как бывало? Миленькой мой государь! В последнее увидился с ним, егда причастил ево. Да пускай, Богу надобно так! И ты небожно о нем кручинься. Хорошо, право, Христос изволил. Явно разумеем, яко Царствию Небесному достоин. Хотя бы и всех нас побрал, гораздо бы изрядно! С Феодором там себе у Христа ликовствуют, — сподобил их Бог! А мы еще не вемы, как до берега доберемся»^[294]...

После смерти Ивана Глебовича царь решил проявить «милосердие» и

повелел дать Морозовой двух ее прежних служанок — Анну Амосовну и Стефаниду, прозываемую Гневой. Две эти добродетельные женщины с великою радостью снова стали служить своей боярыне. Княгиня же Евдокия хотя и не сподобилась подобной царской милости, нашла служанку в лице некоей боярской дочери Акилины Гавриловны, вызвавшейся добровольно прислуживать ей в заточении, а впоследствии постригшейся в иночество под именем Анисии.

Мария Данилова в это время «беду принимаше более обою сестр»: бесстыдные стражи подвергали ее всяческим издевкам и унижениям, «пакости творяху ей невежеством». Приходили к ней для увещания и попы никонианские, «и много ее смущающе и укоряюще яко раскольницу». Однажды к ней пришли «яко бес со дьяволом, сиречь поп со дьяконом» и принуждали ее перекреститься тремя перстами. «Они же, обесстудившеся, яко же пси, приближившеся, окаянии, начаша персты ея ломати, складовающе щепоть». Но Мария отвечала им: «Несть се крестное знамение, но печать антихристова!» В ответ они начали в таких непристойных словах хулить двоеперстие, что остается только удивляться их болезненной и извращенной фантазии... «Тако бо злочестивии умеюще лаяти!» — говорит автор Жития Морозовой об этих «служителях алтаря»^[295].

В том же 1672 году страдавшая в темнице «в юзах и за крепкою стражею» Морозова сподобилась великого утешения — причастилась Тела и Крови Христовых из рук священноинока Иова Львовского.^[296]

Вот как это произошло. «Бысть же дивно. Понеже у нея на карауле един голова милостив к ней зело, молит его святая, рекущи: «Егда бех в дому моем, во едином от сел наших служаше некий священник, старый сый, и бяше милость наша к нему. Ныне же слышах, яко zde он. Жаль ми его, старости ради. Аще есть твоя милость к нашему убожеству, повели, да призову его!» И повеле. И прииде старец святой ко святей мученице, яко Варлаам ко Иосафу, безценный бисер подати белецким образом. И грядущу ему в сенех и сам голова, востях, поклонися ему. И сподобив мученицу прияти Тело и Кровь Христову, и отиде. Толико же умилися блаженный старец, зря великое страдание великия госпожи, яко последи невозможно ему без слез воспомянути ея»^[297].

Тогда же произошло еще одно чудо. Сестры Феодосия и Евдокия, не видевшие друг друга долгое время, «вожделеста в жизни сей видетися в лице и побеседовати». Обе они усердно молились Богу, чтобы Он послал им это утешение. И молитва их была услышана. Однажды княгиня Евдокия

обратилась к прислуживавшей ей Акилине: «Госпоже, ты веси болезнь детскую? И се аз оставих их Христа ради — аще обретох благодать пред тобою — пусти мя в дом мой, яко да целовав их и утешив и сама утешуся, и прежде вечера паки возвращуся дозде. А никто же не возможет увести вещь сию, точию ты и аз. А возможе по сему быти, аще восхощещи точию помилovati мя: се бо днесь полудневная година, игумения в гостех и старицы разыдошася, и людей на монастыре мало, а аз, фатою покрывшеся, пройду, и никто же узнает мя». Акилина отпустила княгиню, но, опасаясь за свою жизнь, сказала, чтобы та оставила в келье любимый ею образ Богородицы: «Вем аз, како ты любиши образ Владычицы нашей. Остави ми его zde и иди с миром, и вем, яко она, помощница, возвратит тебе семо».

Когда княгиня шла одна по Москве, на пути ей встретились некие «злые люди», которые стали кричать: «Держите ее, она беглая!» Но Урусова не растерялась и смело им отвечала. По дороге она встретила Елену Хрущеву и вместе они дошли до Печерского подворья. Морозовой сообщили о приходе сестры, и тогда она послала свою служанку Анну Амосовну, которая поменялась одеждой с княгиней Евдокией, и та свободно прошла мимо караульщика в монастырь.

Радости сестер не было границ! Они беседовали весь день и никак не могли наговориться... Однако вскоре о случившемся узнали охранники, которые подняли шум. Феодосии едва удалось умолить стрелецкого голову заставить их замолчать. Голова приказал госте остаться ночевать у сестры и обещал ночью тайно ее выпустить. «Святии же ночь тую всю ликоваху, беседующе», а на рассвете Евдокия в сопровождении Елены Хрущевой ушла обратно в свой монастырь.

К княгине Евдокии Урусовой в Алексеевский монастырь неоднократно приезжал ее двоюродный дядя Михаил Алексеевич Ртищев. Стоя у окна, он говорил ласковым голосом: «Удивляет мене ваше страдание, едино же смущает мя: не вем, аще за истину терпите?»

Приезжало и множество «вельможных жен» и простых людей посмотреть на необычное зрелище — как княгиню на носилках несут в церковь на литургию. Среди «вельможных» было немало сочувствующих, безмерно удивлявшихся такому мужественному стоянию в вере и переживавших за княгиню, словно за свою сродницу. Игуменья Алексеевскою монастыря пребывала в смятенных чувствах: с одной стороны, сердце ее наполнялось жалостью, когда она вспоминала, какого высокого положения лишилась ее высокородная узница, а с другой — мысль о том, что «сие влачение паче ей к прославлению», вызывала в ней бурю негодования.

Одержимая такими помыслами, игуменья пришла к тогдашнему патриарху Питириму^[298] и рассказала о том, что происходит во вверенном ей монастыре. Рассказала не только о княгине Урусовой, но и о ее сестре. Недавно поставленный патриарх еще не знал всех обстоятельств дела Морозовой и Урусовой. Он обещал игуменье, что поговорит об этом деле с царем.

При встрече с Алексеем Михайловичем патриарх Питирим напомнил ему о томившихся в заточении сестрах Феодосии и Евдокии. «Аз, — сказал он, — тебе, государю, советую боярню ту, Морозову вдовицу, кабы ты изволил паки дом ея отдати ей и на потребу ей дворов бы сотницу христиан дал, а княгиню ту тоже бы князю отдал, так бы дело то приличнее было; женское бо их дело, что они много смыслят?»

На это царь отвечал: «Святейший владыко, аз бы давно сие сотворил, но не веси ты лютости жены тоя. Аз бо, како ти имам поведати, елико ми ся поруга и ныне ругается Морозова та. Кто ми такова злая сотвори, яко же она? Многи бо ми труды сотвори и велия неудобства показа. И аще не веруеши словесем моим, то изволи искусити собою вещь и призвав ю пред ся — вступи. И тогда увеси крепость ея; и егда начнеши ю истязати — тогда вкусиши пряности ея. И потом что повелит твое владычество, то и сотворю и не ослушаюся отнюд словесе».

И вот в одну из зимних ночей 1673 года, во втором часу ночи, Морозову разбудили, не расковывая, посадили на дровни и в сопровождении сотника повезли в Чудов монастырь. Здесь ее отвели во Вселенскую палату, где уже находились патриарх Питирим, митрополит Павел Крутицкий и другие «духовные власти» и «градские начальники».

Морозова предстала перед сонмищем своих мучителей с железными оковами на шее. Допрос продолжался около семи часов...

«Дивлюся аз, — говорил ей патриарх Питирим, — яко тако возлюбила еси чепь сию и не хочещи с нею и разлучитися». — «Воистинну возлюбих, — рад остным голосом отвечала Морозова, — и не точию просто люблю, но ниже еще насладихся вожделенного зренья юз сих. Како бо и не имам возлюбити сия? понеже аз, таковая грешница, благодати же ради Божия сподобихся видети на себе, купно же и поносити Павловы юзы, да еще за любовь единородного Сына Божия!» Тогда патриарх сказал: «Доколе имаши в безумии быти?.. Доколе не помилуеши себе, доколе царскую душу возмущаеши своим противлением? Остави вся сия нелепая начинания и послушай моего совещания, еже, милуя тя и жалея, предлагаю тебе: приобщися соборней церкви и росийскому собору, исповедався и причастився». «Некому исповедатися, — отвечала блаженная, — ниже от

кого причастится... Много попов, но истинного несть».

Патриарх продолжал: «Понеже велми пекуся о тебе, аз сам на старости понуждуся исповедати тя и потрудитися — отслужи, сам причащу тебе». На это Морозова возражала: «И что ми глаголеши, еже сам? Аз не вем, что глаголеши. Еда бо разньство имаши от них? еда не их волю твориши? Егда бо был еси ты митрополитом Крутицким и держался обычая христианского, со отцы преданного нашея Русския земли, и носил еси клубочок старой — и тогда ты нам был еси отчасти любим. А ныне, понеже восхотел еси волю земнаго царя творити, а Небесного Царя и Содетеля своего презрел еси, и возложил еси рогатый клубок римскаго папы на главу свою, и сего ради и мы отвращаемся. То уже прочее не утешай мене тем глаголом, еже аз сам, ниже бо аз твоей службы требую».

Тогда Питирим сказал своим архиереям: «Об-лецыте мя ныне во священную одежду, яко да священным маслом помажу чело ея, яко негли приидет в разум; се бо, яко же видим, ум погубила есть». «Так как старообрядцы отвергли, считая нечистым, всё то, что шло от официальной церкви — обряды, таинства, благословение, то стало уже обычаем их к этому принуждать»^[299].

Когда патриарха облачили в священнические одежды, принесли освященное масло и спицу, омоченную в масло, он попытался приблизиться к Морозовой, с тем чтобы помазать ее. До этого момента она не стояла на ногах, так что ее всё время должны были поддерживать сотник и еще один стражник. Теперь же, увидев идущего к ней патриарха, она твердо встала на ноги и «приготовися, яко борец». Митрополит Крутицкий протянул руку, пытаясь приподнять треух на голове Морозовой, чтобы патриарху было удобнее помазать ее маслом. Боярыня с силой оттолкнула митрополичью руку и сказала: «Отиди отсюда!.. Почто дерзаеши и неискусно хоцещи коснутися нашему лицу? Наш чин мошно тебе разумети!»

Патриарх макнул спицу в масло и протянул руку, пытаясь начертать крест на челе боярыни. Она же, «яко храбрый воин, велми вооружився на сопротивоборца», протянула свою руку вперед, отстраняя протянутую к ней руку Питирима со спицей, со словами: «Не губи мя, грешницу, отступным своим маслом!» И позвенев своими кандалами, продолжала: «Чего ради юзы сия аз, грешница, лето целое ношу? Сего бо ради и обложена есмь юзами сими, яко не хощу повинутися, еже приобщити ми ся вашему ничесому же. Ты же весь мой недостойный труд единым часом хоцещи погубити. Отступи, удалися! Не требую ваша святыни никогда же!»

Услышав такие слова и поняв, что миссия его провалилась, патриарх пришел в ярость и закричал: «О исчадие ехиднино! Вражия дщи, страдница!^[300]» Уходя из Вселенской палаты и «ревый, яко медведь», он приказал своим слугам: «Поверзите ю долу, влеките нещадно! И яко пса за выю влачаще, извлеките ю отсуду! Вражия она дщерь, страдница, несть ей прочее жити! Утре страдницу в струб!» Морозова отвечала тихим голосом: «Грешница аз, но обаче несть вражия дочь (то есть дьяволова. — К. К.), не лай мя сим, патриарх: по благодати бо Спасителя моего Бога Христова есмь дщерь, а не вражия. Не лай мя сим, патриарше!»

Слуги по приказу Питирима начали избивать боярыню, сбили ее с ног и за цепь потащили по полу. Падая, она сильно ударилась головой о пол, так что ей показалось, будто голова ее раскололась пополам. «И влекуще ю по полате сице сурово, яко чаяти ей ошейником железным шию надвое прервав, главу ея с плеч сорвати им. И сице ей влекоме с лестницы все степени главою своею сочла»^[301]. После этого ее снова отвезли на Печерское подворье. Было уже девять часов утра...

Этой же ночью патриарх Питирим допрашивал княгиню Урусову и Марию Данилову, рассчитывая, что хоть одна из них окажет повинование патриаршей власти. Но страдницы, «благодатию Божию укрепляеми свидетельствовоаху крепце и являхуся, яко о имени Господни готовы умрети, нежели любве Его отпасти». Патриарх попытался помазать маслом и княгиню Евдокию, но та сбросила со своей головы покров и «опростоволосилась», что для замужней женщины на Руси считалось великим позором. «Яко же убо древле, — пишет автор Жития боярыни Морозовой, — самаряныня Фотиния при Нероне кесари сама со главы своя своими руками кожу садра и верже на лице мучителево — сице и наша трихраборница, егда виде патриарха с масленою спицою идуща к ней на помазание, вскоре покрывало главы своя снем и простовласу себе сотвориши, возопи к ним: «О безстуднии и безумнии! Что се творите? Не весте ли, яко жена есмь?»».

Так мучители вновь были посрамлены, а их попытки «опозорить» страдниц вновь оказались безуспешны. По окончании допроса княгиню Евдокию и Марию Данилову развезли по прежним местам заточения.

Патриарх, «не мोगии своего бесчестия терпети», обо всем рассказал царю, в особенности жалуясь на Морозову. Царь на это отвечал: «Не рех ли ти прежде лютость жены тоя? Аз бо искусихся и вем жестокость ея. Ты бо единою се видел еси деяние ея, аз же колико лет имам, терпя от нея и не ведый, что сотворити ей!» Посоветавшись между собой, царь с

патриархом решили подвергнуть непокорных «расколыщиц» жестоким пыткам, чтобы всё же сломить их волю, а в случае, если они не покорятся, — «потом подумати, что будет достойно им сотворити»^[302].

*

На следующую ночь, также во втором часу, всех трех мучениц свезли на Земской двор^[303], чтобы подвергнуть жестоким пыткам. Здесь уже находилось множество узников, так что изба, в которую их поместили, была переполнена до отказа. Мученицы сидели в темноте, каждая в своем углу, не видя друг друга и не подозревая о предстоящих муках, но думая, что их хотят отправить в новое место заточения.

Однако через некоторое время Феодосия Прокопьевна поняла, что привезли их не в заточение, но на мучение. Она узнала также, что и сострадалницы ее здесь, только не могла с ними разговаривать и укрепить их терпение словами утешительными. Громко гремя своей железной цепью, она обращалась к ним мысленно: «Любезнии мои сострадалницы, се и аз ту есмь с вами; терпите, светы мои, мужески, и о мне молитесь!» И протянув сквозь людскую толпу руку своей сестре и крепко ее сжав, прошептала: «Терпи, мати моя, терпи!»

Присутствовать при пытке несчастных женщин — «над муками их стояти» — были присланы царем представители знатнейших родов России, потомки Рюрика и Гедимина: князь Иван Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий Волынский.^[304] Все трое были «ближними государевыми людьми». «В очередной раз Алексей Михайлович поручил заниматься делом Морозовой людям из ближайшего окружения. Кн. И. А. Воротынский сочувствовал Аввакуму, но был слаб характером... Неудивительно поэтому, что самый знатный боярин не осмелился перечить царю и послушно выполнил его волю»^[305].

Первой на пытку привели Марию Данилову. Обнажив ее до пояса, ей связали руки сзади и подняли на «стряску». Стряской, или дыбой, называлось орудие пытки, когда тело жертвы растягивали с одновременным разрыванием суставов. В середине XVII века Григорий Котошихин так описывал русскую дыбу: «А устроены для всяких воров пытки: сымут с вора рубашку и руки его назад завяжут, подле кисти, веревкою, обшита та веревка войлоком, и подымут его к верху, учинено место что и виселица, а ноги его свяжут ремнем; и один человек палач

вступит ему в ноги на ремень своею ногою, и тем его отягивает, и у того вора руки станут прямо против головы его, а из суставов выдут вон; и потом ззади палач начнет бити по спине кнутом изредка, в час боевой ударов бывает тритцать или сорок; и как ударит по которому месту по спине, и на спине станет так, слово в слово, будто большой ремень вырезан ножом мало не до костей... Будет с первых пыток не винятся, и их спустя неделю времени пытаются в-другоряд и в-третье, и жгут огнем: свяжут руки и ноги, и вложат меж рук и меж ног бревно, и подымут на огонь, а иным, розжегши железные клещи нарасно, ломают ребра... Женскому полу бывают пытки против того же, что и мужскому полу, окромь того, что на огне жгут и ребра ломают»^[306]. На дыбе находились от нескольких минут до часа и более. Когда Мария Данилова висела на дыбе в таком положении, ее «прикладывали к огню» — водили по телу горящими вениками, после чего потерявшую сознание женщину бросили на землю.

Второй «ко огню» повели княгиню Урусову. Увидев на ней цветной треух, мучители возмутились: «Почто тако твориши? Во опале царской, а носиши цветное!» Княгиня отвечала им: «Аз не согреших пред царем». Тогда палачи сорвали с ее головы треух и, обнажив до пояса, подняли на стряску, крепко связав сзади руки. Продержав на дыбе какое-то время, ее, совершенно измученную, бросили рядом с Марией Даниловой.

Наконец очередь дошла и до Морозовой. Князь Воротынский, которого она и прежде хорошо знала, долго пытался ее увещевать: «Что се сотворила еси? От славы в безславиe прииде. И кто ты еси, и от какова рода? Се же тебе бысть, яко принимала еси в дом Киприяна и Феодора юродивых и прочих таковых, и их учения держася, царя прогневала еси».

«Великая Феодора» на это княжеское «многоглаголание» отвечала с достоинством: «Несть наше велико благородие телесное и слава человека суетная на земли; иже изрекл еси несть от них ничтоже велико, занеже тленно и мимоходяще. Прочее убо престав от глагол своих, послушай еже аз начну глаголати тебе. Помысли убо о Христе — Кто Он есть и Чий Сын? и что сотвори? И аще недоумеваешися, аз ти реку: той Господь наш, Сын сый Божий и Бог, нашего ради спасения небеса оставль и воплотися, и живяше все во убожестве, последи же и распятся от жидов, яко же и все от вас мучимы. Сему не удивляеши ли ся? А наше ничто же есть».

Видя подобное дерзновение, мучители приказали вздернуть боярыню на дыбу, перетянув рукавами сорочки груди и крепко завязав сзади руки. Но Морозова вела себя во время пытки мужественно: «Она же, победоносная, и ту не молчаше, но лукавое их отступление укоряше. Сего ради держали ея на стряске долго, и висла с полчаса, и ремнем руки до жил протерли».

Затем ее сняли с дыбы и бросили к пытаным прежде узницам. После пытки раздетых страдалиц с выломанными назад руками бросили на снег. Так они пролежали часа три.

Но на этом мучения их не закончились. «И иные козни творили: плаху мерзлую на перси (на грудь) клали, и ко огню приносили всех, и хотеша жещи, и не жгоша. Последи же, егда вся козни совершиша, и воставшим мученицам, и обнажение телесе покрыта две; третью же, Марию, положиша при ногах Феодоры и Евдокии, и биена бысть в пять плетей немилостивно, в две перемены — первое по хребту, второе — по чреву». При этом думный дьяк Иларион Иванов говорил двум сестрам: «Аще и вы не покоритесь, и вам сице будет!» Морозова, видя такое бесчеловечие, и многие раны, и кровь на своей подруге, не выдержала, заплакала и стала говорить Илариону: «Се ли христианство, еже сице человека умучити?»

Уже в десятом часу утра страдалиц развезли по их тюрьмам. А тем временем на Болотной площади — напротив Кремля за Москвой-рекой, куда выходил государев сад и где казнили еретиков и преступников и устраивали кулачные потехи, — стали готовить срубы, наполненные соломой...

Внутренне женщины были уже готовы к скорой смерти. Как писал протопоп Аввакум в «Слове о трех исповедницах», «они же едиными усты все трое исповедаху: «За отеческое готовы умерети! Аще и умрем, не предадим благоверия! Отъята буди рука наша — да вечно ликовствует, тако же и нога — да в Царствии веселится, еще же и глава — да венцы вечными увяземся. Аще и все тело огню предашь — и мы хлеб сладок Святей Троицы испечемся»»^[307].

Рано утром царь собрал Боярскую думу для решения судьбы узниц. «Патриарх же вельми просил Феодоры на сожжение, да бояре не потянули, а Долгорукий^[308] малыми словами да много у них пресек». Бояре боялись всенародной казни родовитой узницы, поскольку это могло создать нежелательный для них прецедент.

Три дня после пыток Морозова не ела хлеба и не пила воды. Испытанное ею потрясение было настолько сильным, что она хотела умереть. Ее духовная мать Мелания, побывавшая на Болотной площади у приготовленного для страдалиц сруба, навестила Феодору и, целуя язвы на ее руках, утешала: «Уж и дом тебе готов есть, вельми добре и чинно устроен, и соломою целыми снопами уставлен; уже отходиши к желаемому Христу, а нас сиры оставлявши!»

Феодора благословила у духовной матери «ити в вечный путь»,

после чего Мелания посетила и княгиню Евдокию в ее заточении. Стоя у княгининого окна и утешая несчастную, старица, обливаясь слезами, благословила ее на последний подвиг: «Гости вы есте у нас любезнии, днесь или утре отходите ко Владыце, но обаче идите сим путем, ничто же сумнящися. Егда же предстанете престолу Вседержителя, не забудьте и нас в скорбех наших».

После пыток Морозова и Урусова отослали своим слугам «рукава от чепей с ошейников, железом истертые». А Мария Данилова, водя полотенцем по истерзанной спине, всё его смочила своей кровью и отослала мужу. Иоакимф Данилов переслал через верных людей полотенце с кровью святой мученицы протопопу Аввакуму в Пустозерск. «Аз же, — писал Аввакум, — яко дар освящен, восприях и обლობызах, кадилом кадя, яко драго сокровище, кропя слезами горькими»^[309].

На третий день с израненной спины Марии, словно чешуя, отпали струпья, и сестры стали упрашивать ее отдать им эти струпья как драгоценное свидетельство ее страданий за веру. Мария же из смирения не хотела давать, но после вынуждена была согласиться...

Убедившись в непреклонности Морозовой, царь решил изменить тактику и через три дня после пытки прислал к ней стрелецкого голову Юрия Лутохина^[310] со следующими ласковыми словами: «Мати праведная Феодосия Прокопиевна! Вторая ты Екатерина мученица! Молю тя аз сам, послушай совета моего. Хощу тя аз в первую твою честь вознести. Дай мне таковое приличие людей ради, что аки недаром тебя взял — не крестися треме персты, но точию руку показав, наднеси на три те перста! Мати праведная Феодосия Прокопиевна! Вторая ты Екатерина мученица! Послушай, аз пришло по тебя каптану^[311] свою царскую и со аргамаками своими, и приидут многие бояре, и понесут тя на головах своих. Послушай, мати праведная, аз сам царь кланяюся главою моею, сотвори сие!»^[312] Но боярыня не вняла этим льстивым словам, решившись страдать до конца.

«Что твориши, человекче? — отвечала она царскому посланцу. — Почто ми поклоняешься много? Престани, послушай, еже аз начну глаголати. Еже государь сия словеса глаголет о мне — превыше моего достоинства. Грешница аз и не сподобихся достоинства Екатерины, великия мученицы. Другое же паки, еже наднести ми на триперстное сложение, — не точию се, но сохрани мя Сыне Божий, еже бы ми ни в мысли когда помыслити сего о печати антихристове. Но се убо ведомо вам буди, яко никогда же сего, помощию Христовою сохраняема, не имам сотворити, но убо аще и аз сего

не сотворю, он же повелит мя с честью вести в дом мой, то аз, на главах несомы боляры, воскричу, яко аз крещуся по древнему преданию святых отец! А еже каптаномю мя своею почитает и аргамаками — поистине несть ми сие велико, быша бо вся сия и мимо идоша: ежживала в каптанах и в коретах, на аргамаках и бахматах! Сие же вменяю в велико, да поистинне дивно и есть, еже аще сподобит мя Бог о имени Его огнем сожжене быти во уготованнем ми от вас струбе на Болоте: сие ми преславно, понеже сее чести не насладихся никогда же и желаю такового дара от Христа получитьи». Услышав эти слова боярыни, стрелецкий голова замолчал и ни с чем возвратился восвояси...

Вскоре суд Божий постиг патриарха Питирима — 19 апреля 1673 года он скончался; как свидетельствует дьякон Феодор, «у живаго у него прогнило горло и вскоре умре от тоя лютыя болезни»^[313]. Боярыню Морозову перевели с Печерского подворья в Новодевичий монастырь, подальше от города, где ее содержали под строгим началом и насильно заставляли присутствовать при никонианских богослужениях. «Уже давно, — пишет Пьер Паскаль, — русские монахини были заменены там малороссиянками»^[314].

Однако заточение Морозовой в Новодевичьем монастыре возымело противоположный эффект: здесь повторилось всё то же самое, что и с княгиней Евдокией в Алексеевском. Морозова проявляла великое мужество, и к монастырю стало стекаться множество представителей знати и простого народа, которые приезжали не для службы, а чтобы лично увидеть знаменитую страдальницу и поклониться ей. Весь монастырь был заставлен роскошными рыдванами и каретами. Многие близкие и знакомые боярыни приходили к ней и утешали ее страдальческое сердце. То, что расправа над тремя мученицами вызывала сочувствие в придворных кругах, не могло не раздражать царя. Чтобы прекратить эти нежелательные паломничества, он повелел перевести Морозову в Хамовную слободу, во двор старосты. Произошло это, по всей видимости, в конце лета — осенью 1673 года. Но и здесь ее умудрялись навещать ее любимые инокини — наставница Мелания и Елена Хрущева.

Почитатели опальной боярыни нашлись даже в царском дворце. Старшая сестра царя, царевна Ирина Михайловна,^[315] просила его не мучить Морозову: «Почто, брате, не в лепоту твориши и вдову ону бедную помыкаеши с места на место? Нехорошо, брате! Достойно было попомнити службу Борисову и брата его Глеба». «Он же зарыча гневом великим и рече: «Добро, сестрица, добро! Коли ты дятчишь (заботишься. — К. К.) об ней,

тотчас готово у мене ей место!»»^[316].

Этим местом стал расположенный в 90 верстах от Москвы город Боровск,^[317] куда все три узницы были отправлены в заточение. Здесь, в сырой и темной земляной тюрьме городского острога они проведут около двух лет. Возможно, на выбор места повлияло ходатайство царевны Ирины Михайловны, которая была покровительницей расположенного поблизости Пафнутьево-Боровского монастыря. «Царевна получала таким образом возможность если не помочь, то хотя бы присматривать за опальными»^[318]. Старой вере сочувствовали и другие вкладчики этого монастыря — стольник И. Б. Камынин, помогавший в свое время заточенному в монастыре протопопу Аввакуму, и князя Репнины.

«В Боровск, на мое отечество, на место мученное»

Начало заточения боярыни Морозовой в Боровске относится к концу 1673-го — началу 1674 года. Согласно местному преданию, первоначально она была помещена в подземелье монастыря Рождества Богородицы, а только потом в Боровский тюремный острог^[319]. «Та же свезоша их, — писал протопоп Аввакум, сам проведенный немало времени в боровском заточении, — в Боровск, на мое отечество, на место мученное, идеже святии мучатся...»^[320] Здесь уже находилась заточенная «тоя же ради веры» старая знакомая Морозовой инокиня Иустина, обратившая некогда в «правоверие» юродивого Киприана. Встреча была радостной.

Узнав, что любимую сестру и союзницу увезли из Москвы, княгиня Урусова и Мария Данилова рыдали по ней, как младенцы, разлученные с родной матерью. Но, как пишет автор Жития Морозовой, «всевидающее око Божие, виде стонание их и не презре, но просимое ими от Него восхоте им даровати и к великой страдалице причтати неразлучно»^[321].

Царь приказал отослать княгиню Урусову в Боровский острог. Приблизившись к темнице, где томилась сестра, княгиня отворила дверь и с великою радостью сотворила Иисусову молитву. Феодора бросилась ей навстречу и, сжав в своих объятиях, отвечала словами песнопения, посвященного Божией Матери: «О Тебе радуется, обрадованная, всякая тварь!» Через некоторое время в Боровск привезли и Марию Данилову.

Первое время страстотерпицы жили в остроге относительно свободно. Стрелецкие сотники, охранявшие их, были задобрены мужем Даниловой — Иоакимф Иванович «еще на Москве в дом свой взял, ухлебливаше, чтобы не свирепы были». В Боровск же он посылал и своего племянника

Иродиона, который не раз приходил в темницу. Бывали и другие посетители, в том числе неоднократно навещала узниц наставница их мать Мелания. Елена Хрущева также бывала частою гостьей. Посильную помощь оказывали и боровские старoverы — Памфил с женою Агриппиной.

Но известия о подобных посещениях вскоре дошли до московского начальства, и из столицы был прислан строгий указ: «разыскать, кто к ним ходит и како доходят». Боровчанина Памфила подвергли суровым пыткам и спрашивали про Иродиона. «Он муку великую терпел, а не предал». Иродион в это время сидел у него под полом. Так ничего и не добившись от Памфила, мучители отпустили его домой. Лежа на постели и истекая кровью, он ни на минуту не забывал о томившихся в остроге узниках. «Агрипина, — говорил он жене, — ныне хорошо стало, свободно — отнеси светам тем поскорая луку печенова решето». Впоследствии Памфила вместе с Агриппиной отправят в ссылку в Смоленск.

После начала розыска пошли слухи, что вскоре и сиделицам ждать казни. Тогда Морозова написала матери Мелании письмо: «Умилосердися, посети в останoшное». В письме она также просила взять с собой «большого брата» (по всей видимости, имелся в виду ее старший брат Феодор, предполагаемый автор ее Жития).

В воскресный день 10 января 1675 года, в три часа ночи, посетители-москвичи — Мелания, Елена, Иродион и «большой брат» — пришли в темницу В Боровском остроге они находились до 12 января. «И беседовахом ночь ту всю. Бе же время генваря 11. И отидохом с Родионом на разсвете. Мати же Мелания и с Еленою, моления ради мучениц и за великую их любовь, дерзнуша и день той пребыти у них и совершение утешисася. По нас же, яко же речено бысть, в другой вечер не прииде сотник еще тамо вести нас, и скорбихом, душу разделяюще. Умилосердися ж Господь, и приидохом паки в темницу в полунощное время»^[322].

Обрадованная Феодора называла свою тюрьму «пресветлою темницею», а свою наставницу Меланию «равноапостольною» и «апостолом Господним». «И почто, — пеняла она Мелании, — свет моя, нас, птенцов своих, надолзе не посещаеши? Невозможно бо есть нам без твоего наказания жизнь свою добре правити». И часто целовала ее руки. Вместе с нею радовались и Евдокия с Марией.

Мелания поучала своих духовных чад: «Вем аз недостoинство мое, но понеже сами zelно належите и бремя тяжко на мою выю возлагаете, яко да сказую вам путь Божий, еда аз забыхся и ныне убо, видявше терпение и еже приблизити ми ся к вам боюся да не изшед от вас огонь и опалит мя

унылую. Но понеже связасте мя любовию Господа нашего, послушайте же недостойных словес: потщитесь исправитися. Се бо аз вижду, яко связастесь юзами брани бесовския, и аще, рече, не свободитесь юз сих, то не помогут вам и сии юзы железныя, их же носите Христа ради». Эти суровые слова мудрая старица говорила неспроста — в последнее время между узницами, долгое время находившимися вместе, стали возникать нестроения и раздоры. Об этом же упоминал и протопоп Аввакум в своем письме трем духовным сестрам, увещая их чтить между собой инокиню Феодору: «Понуждаете мя молитися, чтобы дал Бог терпение и любовь и покорение, безлобие и воздержание, безгневие и терпение, и послушание. И я о сем в души своей колеблюся: нет ли в вас между собою ропоту? — боюся и трепещу навета дияволя. Евдокея Прокопьевна! Худо, свет моя, неблагодарение. Мария Герасимовна! Чево у вас не бывало прежде сего, ныне ли чести искать или о нужной пици ропотить? В мимошедшее времена и рабчища слаще тово ели у вас, чем вы ныне питаетесь; а в пустошном сем только ропот и бессоветие... Марья Герасимовна! Не пререкуйте же вы пред старицею то с Евдокиею: она ведь ангельский чин содержит, а вы простые бабы, — грех вам пред нею пререковать»^[323].

Услышав от духовной матери слова укоризны, Феодора заплакала и стала целовать ее руку. «Не рех ли ти, о радость моя, и прежде, — говорила она Мелании, — яко без твоего пастырства не можем добра сотворити ничтоже? Так-то мы все, государыня, без тебе по своей воли. Да что ты видела в малем сем часе? О горе нам! Удалихомся твоего наказания и лишихомся дара послушания! Откуда нам тебе Господь даровал? Ты нам апостол Христов! О свет наша! Не покинь нас без наказания!»

Слушая эти слова, «большой брат» только удивлялся зрелому разуму, ангельскому терпению и безграничной любви блаженной Феодоры, которая, не имея на себе никакой видимой вины, смирялась перед поучением и наказанием своей духовной наставницы...

Вместе с тем Аввакум продолжал духовно укреплять своих верных единомышленниц: «Мучьтеся за Христа хорошенько, не оглядывайтеся назад. Спаси Бог... Благодарите же Бога, миленькие светы мои, не тужите о безделицах века сего. Ну и тово полно — побоярила: надобе попасть в небесное боярство»^[324]. «А что ты, Прокопьевна, не боисся ли смерти то? Небось, голупка, плюнь на них, мужествуй крепко о Христе Иусе! Сладка ведь смерть та за Христа-света! Я бы умер, да и опять бы ожил, да и паки бы умер по Христе, Бозе нашем. Сладок ведь Иус-от. В каноне пишет: «Иусе сладкий, Иусе пресладкий, Иусе многомилостиве», да и много

того. «Исусе пресладкий», «Исусе сладкий», а нет того, чтоб горький! Ну, государыня, поиди же ты со сладким Исусом в огонь, подле Него и тебе сладко будет!»^[325]

Получая в далеком Пустозерске скупые известия о судьбе боровских страдалиц, Аввакум восхищался их недоступными человеческому естеству подвигами, называя в своих посланиях Морозову и ее союзниц «святыми» и обращаясь к ним в таких, исполненных высокой поэзии словах, уже приближающихся по своему звучанию к церковным гимнам:

«Херувимы многоочития, серафими шестокрильнии, воеводы огнепальныя, воинство небесных сил, тричисленная единица Трисоставнаго Божества, раби вернии: Феодора в Евдокее, Евдокея в Феодоре и Мария в Феодоре и Евдокее! Чюдной состав — по образу Святыя Троицы, яко вселенстии учителие: Василий, и Григорий, Иоанн Златоустый! Феодора — огненный ум Афанасия Александрскаго, православия насаждь учения, злославия терние иссекла еси, умножила семя веры одождением Духа. Преподобная, по Троицы поборница великая, княгиня Евдокея Прокопьевна, Свет Трисиянный, вселившийся в душу твою, сосуд избран показа тя, треблаженная, светло проповеда Троицу Пресущную и Безначальную. Лоза преподобия и стебель страдания, цвет священства и плод богоданен, верным присноцветущая даровася, но яко мучеником сликовна, Мария Герасимовна, со страждущими с тобою взываше: «ты еси, Христе, мучеником светлое радование». Старец, раб вашего преподобия, поклоняюся главою грешною за посещение, яко простросте беседу довольную и напоили мя водою животекущею. Зело, зело углубили кладезь учения своего о Господе, а ужа моя кратка, досягнути немощно, присенно и прикровенно во ином месте течения воды»^[326].

«Увы, Феодосья! Увы, Евдокея! Два супруга нераспряженная, две ластовицы сладкоглаголивья, две маслицы и два свещника, пред Богом на земли стояще! Воистинну подобии есте Еноху и Илии. Женскую немощь отложше, мужескую мудрость восприявше, диявола победиша и мучителей посрамиша, вопиюще и глаголюще: «приидите, телеса наша мечи ссецьте и огнем сожгите, мы бо, радуясь, идем к жениху своему Христу». О, светила великия, солнца и луна Рус кия земли, Феодосия и Евдокея, и чада ваша, яко звезды сияющыя пред Господем Богом! О, две зари, освещающия весь мир на поднебесней! Воистинну красота есте Церкви и сияние присносущныя славы Господни по благодати! Вы забрала церковная и стражи дома Господня, возбраняете волком вход во святая. Вы два пастыря,

пасете овчье стадо Христово на пажетех духовных, ограждающе всех молитвами своими от волков губящих. Вы руководство заблуждшим в райския двери и вшедшим — древа животного наслаждение! Вы похвала мучеником и радость праведным и святителем веселие! Вы ангелом собеседницы и всем святым сопричастницы и преподобным украшение! Вы и моей дряхлости жезл, и подпора, и крепость, и утверждение! И что много говорю? — всем вся бысте ко исправлению и утверждению во Христа Исуса.

Как вас нареку? Вертоград едемский именую и Ноев славный ковчег, спасший мир от потопления! Древле говаривал и ныне то же говорю: киот священия, скрижали завета, жезл Ааронов прозябший, два херувима одушевленная! Не ведаю, как назвать! Язык мой короток, не досяжет ваша доброты и красоты; ум мой не обымет подвига вашего и страдания. Подумаю, да лише руками возмахну! Как так, государыни, изволили с такая высокая степени ступить и в бесчестия вринутися? Воистинну подобии Сыну Божию: от небес ступил, в нищету нашу облечеся и волею пострадал. Тому ж и здесь прилично о вас мне рассудить»^[327].

В «Книге бесед», посвященной Морозовой, Аввакум обращается к своей душе, побуждая ее к духовному подвигу примером боровских стратотерпиц: «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши! Конец приближается, и хочещи молвити. Воспрями убо, да пощадит тя Христос Бог, Иже везде сый и вся исполняй.»^[328] Душе, я же zde — временно, а я же та-мо — вечно. Потщися, окаянная, и убудися: уснула сном погибельным, задремала еси в пищах и питии нерадения. Виждь, мотылолюбная, и то при тебе: боярня Феодосья Прокопьевна Морозова и сестра ея Евдокея Прокопьевна княгиня Урусова, и Даниловых дворянская жена Марья Герасимовна с прочими! Мучатся в Боровске, в землю живы закопаны, по многих муках, и пытках, и домов разорении, алчут и гладуют. Такие столпы великия, им же не точен мир весь! Жены суть, немощнейшая чадь, а со зверем по человеку борются. Чудо, да только подивитися лише сему. Как так? Осмь тысящ хрестиян имела, домовова заводу тысящ большии двух сот было, — дети мне духовныя, ведаю про них, — сына не пощадила, наследника всему, и другая тако же детей. А ныне вместо позлащенных одров в земле закопана сидит за старое православие. А ты, душе, много ли имеешь при них? Разве мешок, да горшок, а третье лапти на ногах. Безумная, ну-тко опрянися, исповеждь Христа, Сына Божия, явственне, полно укрыватися того. Добро рече некто от святых отец, яко всем нам един путь предлежит. Иного времени долго такова ждаты: само Царство

Небесное валится в рот. А ты откладываешь, говоря: дети малы, жена молода, разориться не хочется, а тово не видишь, какую честь ту бросили бояроне те, да еще жены суть. А ты — мужик, да безумнее баб, не имеешь цела ума: ну, дети переженишь и жену ту утетишь. А за тем что? не гроб ли? Таже смерть, да не такова, понеже не Христа ради, но общей всемирной конец...»^[329]

В другой беседе, посвященной иконному писанию, Аввакум также ставит в пример своих духовных дочерей, сравнивая их с библейскими тремя отроками: «Не по што в Персы итти печи огненные искать: но Бог дал дома Вавилон, в Боровске печь халдейская, идеже мучатся святии отроцы, херувимом уподоблиися, трисвятую песнь воссылающе. Право хорошо учинилося...»^[330] же зимы тоя воскури диявол бурю велику зело, ревий злобою на мучениц, побеждаем терпением их».

Этому способствовали и перемены «наверху». После смерти патриарха Питирима патриарший престол год и три месяца оставался вдовствующим. Наконец 26 июля 1674 года на него был возведен Иоаким — бывший келарь и архимандрит Чудова монастыря, занимавший с 22 декабря 1672 года новгородскую митрополичью кафедру. «Красной нитью через всю деятельность Иоакима проходит идея хорошо администрированной, послушной церкви, в которой отсутствует мистический момент, церкви, которая верна греческим образцам, но отталкивается от западных влияний, будь то протестантских или латинских, и является, вместе с тем, национальной... Он уже принадлежит государственной церкви, той своеобразной церкви, которую Петр в дальнейшем приспособит к своим нуждам, но фундамент которой он уже обрел заранее подготовленным», — писал П. Паскаль^[331].

Новый патриарх продолжил на патриаршем престоле ту борьбу со старообрядцами, которую активно вел, будучи чудовским архимандритом. «Он недостаточно глубоко жил верой, чтобы понять их сомнения, их привязанность к старине, их идеал высокохристианской жизни — понять то, что даже бессознательно чувствовал тот же Никон. Он мог видеть в них только врагов, врагов вдвойне, ибо они восставали и против церкви, и против государства. Он рассматривал их как своего рода опасных сумасшедших, которых надлежало без всякого милосердия преследовать, а в случае нужды и истреблять»^[332]. И первыми жертвами этого «прапорщика в рясе» стали боровские мученицы.

Уже 23–24 марта 1675 года был составлен новый указ о расследовании того, что делается в тюрьме. На Фоминой седмице (11–18 апреля) в

Боровск внезапно прибыл старый подьячий Павел в сопровождении двух молодых. Подьячий с «великою свирепостию» ворвался в темницу и «с пристрастием» допрашивал сотников. Всё, что было у узниц — самую скромную пищу и необходимую одежду, — он забрал, оставив каждой только по одному платью. Но и этого ему показалось мало. Он забрал и «малые книжицы», по которым они молились, и лестовки, и даже иконы, написанные на небольших досках. У Феодоры была любимая икона Пресвятой Богородицы Одигитрии, и когда ее отняли, мученица не могла сдержать рыданий. Сестра утешала ее: «Не плачи, не точию Помощница наша не точию не остави нас, но и Сам Христос с нами и есть и будет!»

Стрелецкие сотники и простые стрельцы были допрошены с пристрастием: кто приносил узницам необходимые вещи и продукты и кто допускал посещать их в темничном заточении? Некоторые сознались в том, что не только приходящих допускали, но и сами носили. «И быша сотником беды великия». Сотники Александр Сазонович Медведевский (Медвецкий) и Иван Чичагов, оказавшиеся виновнее остальных, «за воровство и за неосторожность, что они на караулах стояли оплошно», были биты нещадно, разжалованы в рядовые и сосланы в Белгород на «вечное житье».

«Во двою телесех едина душа»

Все тяготы тюремного заточения разделяла со своей сестрой княгиня Евдокия Прокопьевна Урусова. Но ей, быть может, было еще тяжелее оттого, что мучения ее усугублялись разлукой с горячо любимыми детьми.

В 1916 году, разбирая документы петровского Преображенского приказа, касающиеся дела Ивана Цыклера, казненного вместе с Алексеем Прокопьевичем Соковниным в 1697 году за участие в заговоре против Петра I, Н. Г. Высоцкий обнаружил связку писем княгини Урусовой — 13 писем, в основном адресованных ее детям.

Эти письма, по выражению Пьера Паскаля, освещают нам личность княгини Урусовой, оставленную на втором плане в Житии боярыни Морозовой. Можно добавить: не только в Житии, но и в русской истории. А между тем личность эта заслуживает, на наш взгляд, не меньшего внимания и уважения, чем личность ее знаменитой старшей сестры. «Письма Евдокии Прокопьевны Урусовой — значительный и своеобразный памятник эпистолярной и нравственной культуры XVII в., они ярко и полно раскрывают трагизм избранной Е. П. Урусовой судьбы, силу и цельность ее натуры»^[333].

Двенадцать из сохранившихся писем княгини Урусовой обращены к детям — «трем птенцам сирым» — «сыну Васеньке» и двум дочерям, Анастасии и Евдокии, оставшимся после ареста матери в Москве в доме отца князя П. С. Урусова.^[334] Сердце несчастной матери уже с самого начала ее заключения разрывалось на части. И не только от разлуки с любимыми детьми. Ее муж — князь Петр Семенович — совершенно ее забыл. Более того, как уже говорилось выше, вскоре добившись развода, он вступил в новый брак. Нужно сказать, что с точки зрения канонов Православной Церкви и существовавшей в XVII веке практики, развод при живом и здравствующем супруге был делом достаточно непростым и совершался в исключительных случаях. В церковных правилах, изложенных в Кормчей книге, перечислялось всего несколько причин для расторжения церковного брака. Тем не менее в числе этих причин была и такая: покушение на царя, злой умысел против него, а также недонесение начальству об умысле на самодержца со стороны другого лица («Аще на царство совещающих неких, уведавши жена, и своему мужу не-повесть; или аще муж сие от жены своя слышав умолчит, подобает жене киим любо образом возвестити цареви, яко же мужеви ея от того дне не имети извета никоего же о разлучении брака»)^[335]. Указанные преступления, как тяжчайшие, лишали виновного всех гражданских прав. Это приравнивалось к его гражданской смерти, не говоря уже о том, что обычно такие преступления карались смертной казнью. Видимо, этой причиной и воспользовался князь Урусов в качестве благовидного предлога для того, чтобы избавиться от нелюбимой жены.

Письма княгини Урусовой пронизаны чувством безмерной материнской любви и тоски по детям. Но вместе с тем любовь к детям не мешала ей быть непреклонной во всем, что касалось истинной веры.

«Свету моему любезному, — писала Урусова своему сыну, — другу моему сердечному, утробе моей возлюбленной, Васеньке. Мир тебе, свет мой, и благословение мое. Ох, возлюбленный мой, как не вижу пред очами своими тебя, как не обнимаю руками своими тебя, как не целую своими устнами тебя, любезного! Ох, мой любезный Васенька, не видишь ты моего лица плачевного и не слышишь моего рыдания слезного, не слышишь, как рыдает сердце мое о тебе и душа моя о тебе сокрушается. Ох, мой любезный друг, не слышу твоего гласа любезного. Ох, возлюбленный мой. Промолви ко мне хотя един глагол, утеши печаль мою, обвесели сердце мое сокрушенное.

Ох, мой ненаглядный, ненасмотренный, не могла, грешница, своими

очами на тебя насмотретися! Ох, утроба моя возлюбленная, промолви ко мне про сиротство свое, к кому приклонити тебе главу свою сирую, кто попечется о тебе или кто о тебе, сиром, поболезнует, кто призрит на сиротство твое или кто утешит тебя, сирого, кто тебя, сирого, примолвить (приласкает. — К. К.) словом ласковым. Ох, кто таков сир на земли, что ты, мой возлюбленный! Ох, любезный мой друг Васенька, или ты забыл меня, или я тебе на ум не взойду, или забыл любовь и ласку мою, али забыл ты слезы мои и рыдание мое, как я рыдала по тебе, как видела тебя на смертном одре, не дала я покоя очам своим день и ночь, и держала тебя, своего друга, на руках своих, и омывала слезами тебя, и сокрушила свое сердце по тебе; а чаяла, грешница, что ты будешь утеха душе моей и радость сердцу моему. И я ныне молю у тебя, любезный мой Васенька, и прошу со слезами и рыданием, утешь ты меня, любезный мой, обрадуй ты душу мою и свою душу помилуй вовеки, поживи ты угодно Христу, стой в вере истинной, старой, а к новому не прикасайся. Не погуби душу свою и берегися от нового, и пенья нового не слушай, и крестися по-старому, истинным крестом; как при мне крестился, любезный мой, так и ныне крестись. Люби ты веру старую, утешь ты меня, любезный мой; ведаешь, как ты утешал и все ты любил по-старому. Ох, возлюбленный мой, буди ты со Христом да со мною во единой вере истинной.

И я молю у тебя, радость моя Васенька, буде ты что погрешил, и ты кайся, свет, ко Христу. Он, свет, простит тебя и помилует. А с сего часу поживи, друг мой, угодно Христу, люби веру истинную, старую и крестися по-старому; и буде ты, любезный мой, возлюбишь веру истинную, старую, а от нового от всего станешь беречися, и ты будешь от Бога вечно помилован, и будешь долголетен на земли, и мое благословение буди на тебе; а буде грех ради моих возлюбишь ты нынешнюю новую веру, и ты скоро умрешь, и тамо станешь в будущем мучиться, и меня не нарекай уж себе матерью, уж я не мать тебе, буде ты возлюбишь нынешнюю, новую. Ино, любезный мой, сохрани тебя Христос оттого, что тебе любить нынешнее, сохрани тебя Небесный Царь, радость моя Васенька, буди ты, утроба моя возлюбленная, буди ты радость душе моей, храни ты то, о чем я у тебя тепере молю, и вовеки не позабуди прошения моего и моления, помилуй душу свою, и чтобы мне про тебя услышать и возрадоваться, не опечаль ты душу мою вовеки, а свою душу вовеки не погуби»^[336].

Однако старший сын походил на своего отца. Несмотря на то что ему было около пятнадцатилетнего возраста, «у него уже были все стремления солдафона»^[337]. Он пил, и когда младшие сестры упрекали его в этом,

говорил им грубости. Княгиня пытается увещевать сына в одном из писем: «Да молю у тебя, любезный мой Васенька, буди ты ласков к сестрам и утешай их, и слушай во всем их, что они станут тебе говорить, и ты слушай во всем их, любезный мой, и не печаль их, и не досаждай им, буди ласков к ним, только ведь у них, у сирых, и радости, что ты един, ты утеха и радость им, а тебе, сирому, только же радости и утехи, что они у тебя, только у тебя и сердешных приятелей, что они, а у них ты един же приятель сердешной; поживите, светы мои, в любви и друг на друга не наглядитесь. Аты их слушай, любезный мой Васенька, утеша ты меня, возлюбленный мой.

Да еще у тебя прошу, любезный мой, не презри ты моего моления, не пей ты вина, не опечаль ты душу мою, не пей вина и ничего хмельного не пей, любезный мой. Помни, свет, кто вино пьет, тот не наследит Царствия Небесного, пьяницам мука сотворена.

Да еще молю, возлюбленный мой, не резвися и имей чистоту душевную и телесную; ведай, мой свет: блудники и в огне вечно мучатся, и нет отрады им. И ты берегися, любезный мой, от той погибели, чтобы тебе не мучиться, и буди, мой свет, кроток и смирен.

Прости же, любезный мой, прости же, мой радостный, прости же, возлюбленный мой, и не позабуди ты прошения моего! Все сия слова мои напиши в сердце своем, помни вовеки приказ мой, не преступи прошения моего. Да обрадуй меня, Васенька, отпиши ко мне, как ты живешь, утеша ты меня, любезный мой. Буди на тебе Божия милость»^[338].

Младшие дочери Урусовой были ее единственным утешением: они посылали ей в заточение деньги, необходимые вещи, полотенца, нитки, носовые платки, воск для свечей. Мать в ответ передавала детям лестовки собственной работы с написанным на них своим именем. Она много думала о их духовном воспитании и развитии: «Светам моим любезным, трем птенцам единоутробным, за имя Христово осиротевшим, трем сиротам бесприютным, не имеющим к кому главы своя приклоните: мир вам, светам моим, и благословение мое буди на вас!

Ох, мои светы любезные, не вижу я своими очами вас, не обымаю и не целую своими устами вас. Ох, светы мои возлюбленные, не видите вы моего лица плачевного и не слышите рыдания моего слезного! Ох, светы мои, отлучена от вас! Ох, светы мои превозлюбленные, кои чады разлучены от живой матери, как вы, светы мои, отлучены от молодых ногтей и от недр матерних! Ох, мои светы любезные, кто об вас поплачется, или об вас поболезнует кто? Ох, светы мои, кто таков сир на земли, яко же вы, мои светы возлюбленные, сиры и бесприязни паче всех! Ох, светы мои прелюбезные, к кому вам приклонить главу свою сирую, кто утешит печаль

вашу сиротскую, или кто вас примолыт словом ласковым, или кто вами, сирыми, поболезнует?

О, светы мои ненаглядные, сердце мое о вас сокрушается, и живот мой о вас скончается, и утроба моя распалается, сиротство ваше видючи.

Светы мои любезные, светы мои ненаглядные, молю и прошу вас со слезами и с рыданием, утешьте вы душу мою сокрушенную, обвеселите сердце мое печальное и помилуйте вы душу свою, не погубите души своея вовеки, не прикасайтесь вы к нынешней погибели; храните, светы мои, веру христианскую и до конца своего пребудьте в ней.

О, светы мои любезные, всячески берегитесь от прелести антихристовой, не принимайте ее и бегите от нее, аки от злого змия, хотящего поглотите души ваши и свести во ад. О, мои светы любезные, не слушайте вы, кто прельщает вас, и приводит вас к нынешней погибели, и хочет погубите вас в сем веке и в будущем вовеки!

О, светы мои превозлюбленные, не пожалейте вы света прелестного и маловременного и мимоидущего, и не убойтесь, светы мои, телеса убивающих, души же не могущих прикоснуться, того убойтесь, светы мои, кто может душу ввергнуть в геенну огненную вовеки.

О, светы мои любезные, почтитесь вы быть со Христом и пострадать за Христа и за веру христианскую умереть, обрадуйте меня в будущем. Светы мои, почтитесь, любезные мои, венцы прияти от руки Господни; будьте вы, светы мои, утроба моя возлюбленная, чтобы мне вас видеть одесную Христа, и вечно бы о вас мне радоваться.

Поживите, светы мои, угодно Христу, стойте в вере христианской, а к прелести не прикасайтесь, не погубите душу свою вовеки! И помните, светы мои, смертный час и как явиться Страшному Судии, сведущему дела наши и помышления.

Ох, светы мои, не льститесь, что млады и юны! Видите, светы мои, млады и юны умирают, не щадит смерть младости и не милует юности, всех равно гробу предает. О, светы мои, почтитесь, чтобы вам от Христа, Света, не отлучитися. Да прошу у вас, светы мои, поживите в любви между себя, и друг друга утешайте, и друг другу покоряйтесь, и друг о друге радейте.

Светы мои любезные, берегите вы птенца того сирого, брата своего единокровного, и будьте к нему ласковы, берегите, светы мои, его от нынешней прелести, и помните ему мой приказ. Светы мои любезные, будьте ласковы к нему и берегите от всего его, любите, светы, его паче себя; а хотя он сглупа что вам и досадит, и вы на него, светы мои, не дивуйте и не гневайтесь, что еще не смыслит он сглупа вам досадить. А как он

посмышлеет, станет он о вас умирать и станет вас утешать, только у него что вы, а у вас только что он, немного вас, светы мои! Поживите в любви и друг на друга не наглядитесь.

Да еще у вас молю, светы мои, молитесь Богу, не ленитесь, и прибегайте к Нему, Свету, и просите у Него милости: Он, Свет, вам, сирым, отец и мать, Ему, Свету, я вручила вас и Его ради, Света, оставила вас; Он, Свет, вам, сирым, — радость и в печалях ваших заступит вас.

Да еще молю у вас, светы мои, чтите вы слово Божие почасту, а не станете честь слово Божие и не узнаете прелесть нынешнюю, не от чего будет познать. А станете честь слово Божие, и вселится в вас страх Божий, познаете сами прелесть и гибель нынешнюю. Чтите Кирилу Еросалимского, и Ефрема, и Апоколиписис, и о вере Книгу; тут познаете сами все. Да прошу у вас, светы мои, утешьте меня в печали моей, обрадуйте сердце сокрушенное!

Отпишите, светы мои, ко мне своею рукою обе, светы мои, и не обленитесь, отпишите обе ко мне по грамотке, обрадуйте меня! Будто на вас погляжу и порадуюсь ручке вашей. И да отпишите, светы мои, ко мне, что у вас делается, сохранил ли вас Бог в Великий пост.

Отпишите, светы мои, каков до вас отец, и нет ли вам утеснения от кого, и про все житие свое отпишите, каково житье ваше, отпишите, светы мои, про брата, как он живет и каков он до вас, о всем, любезные мои, отпишите ко мне, не обленитесь, утешьте вы печаль мою, будто с вами побеседую, как прочту ваши грамотки; а ныне нет у меня ваших грамоток, нечему порадоваться.

Да молю у вас со слезами, будьте вы, утроба моя возлюбленная, обрадуйте душу мою вовеки, стойте вы в вере истинной до конца, будьте, светы мои, кротки и смиры и поживите угодно Христу; часто молитесь и чтите слово Божие, вселится в вас страх Божий. Посем буди на вас милость Божия и мое благословение. А сие писание крепко берегите и часто чтите»^[339].

Но, думая о будущей судьбе своих дочерей, княгиня приходила в отчаяние: «Светы мои любезные, ох, мои светы ненаглядные, утроба моя возлюбленная. Две горлицы, светы мои, пустынные, два птенца беззлюбивые, две горлицы осиротевшие! Ох, мои светы возлюбленные, не имеете вы к кому приклонити главу свою! Ох, сиры, светы мои, сиры, от младых ногтей осиротели! Кто не умилится на вас, сирых, глядя, или кто не прослезится, сиротство ваше видя! Утроба моя и душа моя о вас сокрушилась.

Да молю и прошу у вас, светы мои, со слезами, ей, и с рыданием, не

презрите моего прошения слезного, поживите, светы, угодно Христу, не преступите вы Божию заповедь и святых отец предания, и не забудьте, светы мои, приказу моего, о чем я у вас беспрестани маливала. Да молю у вас, светы, будьте вы смирны и кротки и Богу угодны, во всем имейте, светы мои, любовь между себя и друг другу покоряйтесь; ведаете, какова Христу любовь надобна; да и смирение, и кротость любит Христос; да и люди похвалят вас, как увидят вас кротких, и смиренных, и любовных между себя. Берегите, светы, брата от всего и не бранитесь с ним и будьте к нему ласковы. Ох, мои светы, поживите угодно Христу и в любви между себя, и утешьте, мои светы, утробу мою плачевную, обрадуйте, светы мои, сердце мое сокрушенное, чтобы мне в сем веку и в будущем о вас радоваться! Светы мои, и впредь утешьте меня, отпишите ко мне, будто на вас, светов, погляжу и обрадуюсь. По сем буди на вас милость Божия и мое благословение, буде заповедь Божию и мою во всем не преступите.

Светы мои, будьте Богом хранимы, попекитесь о душе своей, подщитесь одесную стать, утешьте во веки мать и меня, грешную. Любезные мои, любовно поживите промеж себя. Буде исправите прошение наше, буди на вас милость Божия и наше благословение. Сердешной друг, утроба моя, ты, Настасьюшка, не печаль ты меня, Богу угодно поживи. Не презрите прошения нашего во всем. Докучайте, светы, отцу, чтобы взял Богородицу Тихвинскую. Как, светы, не порадеете такой, свет наша, чудотворный образ.

Поживите, светы мои, как годно Христу. Не ленитесь Богу молиться, да и слово Божие чтите, светы мои любезные. Светы мои, не забывайте меня и отцу о мне говорите, грех было ему забыть меня»^[340].

Характеризуя личность княгини Евдокии Урусовой и ее эпистолярное наследие, Пьер Паскаль нашел очень точные и очень выразительные слова: «Эти письма длинные, беспорядочны, изобилуют повторами, полны нежных слов: это изливание жалоб, слез, сожалений, но среди всего этого есть весьма разумные советы. Евдокия — до безумия любящая мать и строгая христианка, образованная, последовательная и вдумчивая. Ее усилия, ее пример не останутся напрасными; по крайней мере, Анастасия через несколько лет возгорится почти необычайным в то время стремлением положить на Руси начало миссионерскому делу, идти обращать язычников, «хочет некрещеных крестить», «их же весь мир трепещет». «Материн болшо у нея ум-от!» — даст в дальнейшем свое заключение удивленный Аввакум. Где мы увидим лучше, чем в этой семье, насколько старая вера совмещается с самой христианской жизнью, и последовательной, и убежденной, и враждебной как новинам, так и религии, исполненной

условностей и компромиссов?»^[341]

«Смерило на смерть наступи»

Вскоре было начато новое расследование. 29 июня 1675 года, на Петров день, в Боровск из Москвы был прислан известный своей лютостью дьяк Федор Кузмищев,^[342] который «мучениц истязал о приходе и о приношении». Сохранился указ о присылке Кузмищева в Боровск: «Того же (1675. — К. К.) году послан, по указу великого государя, в Боровеск из Стрелецкого приказу от думного дьяка Ларивона Иванова Стрелецкого же приказу дьяк Федор Кузмищев, да с ним того же приказу подьячей старой да два молодых. И указано ему тюремных сиделцов по их делам, которые довелось вершать, в болших делах казнить, четвертовать и вешать, а иных указано в иных делах к Москве присылать, а иных велено, которые сидят в больших делах, бивши кнутом, выпускать на чистые поруки на козле и в провотку, для того, что в тюрьме в Боровске тюремных сиделцов умножилось много. А велено ему, Федору, обо всем отписываться к Москве и присылать в Стрелецкий приказ, и о том, скол ко он по указу великого государя вершит всяких розных чинов людей и в каких делах, по ежемесяцом списки за своєю рукою, к думному дьяку к Ларивону Иванову с товарищи»^[343].

Царь и его любимец Артамон Матвеев продолжали держать под личным контролем дело боярыни Морозовой и ее союзниц. Как раз в январе — марте 1675 года А. С. Матвеев добился высылки многих своих противников из столицы. Не выпускал он из виду и сестер своего заклятого врага Ф. П. Соковнина. «Личная ненависть к представительницам враждебных родов сочеталась у Матвеева с глубоким неприятием старообрядцев вообще, — пишет П. В. Седов. — Мало кто из царских приближенных осмеливался столь решительно осуждать мучеников за старую веру. Логично полагать, что А. С. Матвеев был причастен к трагической участи боровских узниц»^[344].

Прибыв в Боровск, дьяк Кузмищев незамедлительно начал приводить в действие данные ему инструкции. 8 октября на площади в деревянном срубе были сожжены 14 боровских узников, в том числе бывший слуга Морозовой Иван и ее союзница инокиня Иустина. Среди сожженных был и священник Полиевкт Максимов. Сын попа из Ржевского уезда, сам он когда-то служил попом в Торжокском уезде. Арестованный за приверженность старой вере в 1652 году на основании анонимного

послания, он был привезен в Москву 21 августа 1653 года, а затем отправлен в ссылку в Тобольск, где общался с протопопом Аввакумом и романовским попом Лазарем. Под влиянием бесед с ними отец Полиевкт еще более укрепился в старой вере.

После приезда дьяка Кузмищева положение узниц резко ухудшилось. По распоряжению царского посланца боярыню Морозову и княгиню Урусову из опустевшего после казни острога перевели в новоустроенную земляную тюрьму, в «пятисаженные ямы», а Марию Данилову поместили в тюрьму, где «злодеи сидят». Под страхом смерти охранникам запретили давать заключенным пищу и питье: «аще ли же кто дерзнет чрез повеление и последи о сем същется, и такового главною казнию казнить.^[345] И бысть то время люто зело, уже зело бояхуся, еже допустити кого или самем каково-либо утешительное послужение сотворити»...

Автор Жития боярыни Морозовой в ярких красках изображает нечеловеческие условия тюремного заключения боровских страдалец: «Но кто может исповедати многое их терпение, еже они в глубокой темнице претерпеша, от глада стужаеми, во тьме несветимей, от задухи бо земныя, понеже паром земным спершимся велику им тошноту творяще. И срациц им пременяти, ни измывати невозможно бе. Еще же и верхние оны худые ризы ради тепла всегда ношаху — от сего же бысть множество вшей, яко и сказати невозможно. И бысть им се, яко неусыпающее червие: во дне бо снедаху и в нощи не спаху. Но обаче аще и зельно запретил земный царь, еже отнюдь не подати им пищу, Небесный же Царь повеле им подавати пищу, премудрости учительницу, сиречь зело малу и скудну: овогда сухариков пять-шесть дадут, тогда воды не дадут пити, а когда пити дадут — тогда ясти не спрашивай. И всяко бе: овогда яблоко едино или два подадут, а ино ничто же, а овогда — огурцов малую часть. И сие творяху воины, иже ту обретшийся благонравии. И видяще превеликое страдание великих людей, и умиляющеса сердца, и от слезны душа милость малу творяху. Да и сие, от прочих братии своих таящеса, вервью спущаху к ним»^[346].

Но и в этих нечеловеческих условиях мученицы продолжали творить непрестанную молитву, навязав из тряпич 50 узлов вместо отобранных лестовок и по ним, словно по «небесовосходной лестнице», устремляясь в иной мир. И только безграничная вера укрепляла их иссякавшие с каждым днем жизненные силы.

Первой не выдержала княгиня Евдокия Прокопьевна Урусова — «и в таковой великой нужи святая Евдокия терпеливо страда, благодаряци Бога,

месяца два и пол, и преставися сентября в 11 день». В Житии боярыни Морозовой описываются страшные подробности смерти ее сестры: «Егда бо изнеможе от великаго глада и невозможно ей бе стоящи молитися, ни чепи носити, ни стула двизати, возляже. И овогда седящи молитву изо уст творяше...» Чувствуя, что дни ее сочтены, княгиня обратилась к сестре с последнею просьбой: «Госпоже мати и сестро! Аз изнемогах и мню, яко к смерти приближихся, отпусти мя ко Владыце моему, за Его же любовь аз нужду сию возлюбих. Молю тя, госпоже, по закону християньскому, — да не пребудем вне церковнаго предания, — отпой мне отходную, и еже ты веси — изглаголи, госпоже, а еже аз свем, то аз сама проговорю».

Вместе они прочли канон на исход души — «и тако обе служили отходную, и мученица над мученицею в темной темнице отпевала канон, и юзница над юзницею изроняла слезы, едина в чепи возлежа и стоняше, а другая в чепи предстоя и рыдаше. И тако благоверная княгиня Евдокия предаде дух свой в руце Господни...»^[347]

После смерти сестры Морозова позвала одного из охранников и велела сообщить о случившемся начальнику острога. Начальник приказал охраннику забрать тело княгини Урусовой из темницы. «Феодора тремя нитьма во имя единосущныя Троицы пови тело любезныя сестры своя и соузницы Евдокии, и увязав вервью». Воины извлекли за веревку тело Урусовой из земляной ямы. При этом Морозова, проливая слезы, тихим голосом обращалась к покойной сестре: «Иди, любезнейший цвете, и предстани прекрасному ти жениху и вождеденному Христу!»

Сначала тело княгини Урусовой хотели тайно зарыть в лесу. Но и после смерти она не давала покоя своим мучителям. Не только живую, но и мертвую они боялись выпускать ее на волю. «Аще, — сказал думный дьяк Иларион Иванов, — сие тако будет, то уже капитоны^[348] и раскольники, обретше, имут взяти с великою честью, яко святых мучениц мощи, и начнут глаголати, яко и чудеса многие бывають, — и будет последняя беда горше первой». По указу царя тело княгини, обвинив простой рогожей, закопали внутри Боровского острога: «..и повеле, яко же живу, тако и умершее тело за караулом держати и внутрь острога в землю закопати».

Но и здесь не обошлось без чуда: все те пять дней, в течение которых власти совещались о месте захоронения тела покойной княгини и в течение которых оно продолжало без гроба лежать на земле, оно не только не почернело, но, наоборот, становилось всё светлее и белее, так что проходившие мимо стражники не переставали удивляться. «Воистину сии святии суть страдалицы! — говорили они. — Се бо тело сие не токмо

ничто же смертовиднаго зрака не являет, но и яко живу суццу и веселящуся, цветущу и светлеется пред очима нашими».

*

После смерти княгини Урусовой царь Алексей Михайлович решил, что теперь-то уж Морозова, страдая от невыносимого голода, «покажет снисхождение» и принесет ему «малое повиновение», и прислал к ней для увещания «старца», «монаха никонианского». Придя к земляной яме, старец сотворил Иисусову молитву, «оставя сыновство Христово к Богу», то есть произнес молитву в новой, никонианской редакции. В ответ он ничего не услышал, и так долго ему пришлось стоять, повторяя не один раз молитву, пока, наконец, не догадался он повторить молитву в старой, дониконовской форме. Тогда в ответ он услышал «аминь» и спустился к боярыне.

«Почто, — спросил монах ее, — ми прежде не рече «аминь», мне стоящу вне и молитву надолзе творящу?» На это блаженная отвечала: «Егда слышах глас противен — молчах; егда же очутих не таков — отвещах».

Монах сообщил ей о цели своего визита, но Морозова в ответ только покачала головой. Тяжело вздохнув, она сказала монаху: «Оле глубокаго неразумия! О великаго помрачения! Доколе ослепосте злобою? Доколе не возникнете к свету благочестия? Како убо сего не разумеете? Аз еще егда бех в дому моем, во всяком покое живя, ниже тогда не восхотех ко лжи вашей и нечестию пристати; православия же крепце держащися не точию имения не пожалех, но и на страдание о имени Господни не устращихся дерзнути. И паки в начале подвига моего, егда юзами сими обложиша мя Христа ради, многая ми стужения показоваху, аз же отвращахуся. А ныне ли от доброго и красного Владыки моего хотят мя отлучити, вкусившия довольно сладких подвиг за пресладкаго Исуса? И уже имам 4 лета, носящи железа сия, зело веселящися и не престах обლობызающи чепь сию, поминающи Павловы юзы. Наипаче же яко и возлюбленную ми сестру единокровную, союзницу и сострадальницу, предпослах ко Владыце, вскоре же и сама, Богу помогающу ми, зело любезне тщуся отъити тамо. И прочее убо вы, отложше всю надежду, еже от Христа мя отлучити, к тому ми о сем отнюдь не стужайте. Аз бо о имени Господни умрети есть готова!»

Услышав такие слова, монах пришел в умиление и заплакал. Будучи человеком духовным, он не мог не признать правоты слов, прозвучавших из уст этой нестигаемой женщины, этого «доблественного адаманта». Уходя,

он сказал ей: «Госпоже честнейшая! Воистину блаженно ваше дело! Молю тя и аз — Господа ради потщися началу конец навести. И аще совершиши доблественне до конца, кто может исповедати похвалы вашей? Яко велику и несказанну честь примете от Христа Бога!»

На место преставленной Евдокии в темницу к Морозовой перевели Марию Данилову. Вместе они терпели муки — голод и жажду, духоту и вшей; вместе и молились, пребывая в духовном подвиге.

Но дни боровских узниц уже были сочтены. Чувствуя приближение смерти, боярыня Морозова в последний раз «взалкала», проявив человеческую слабость, призвала стражника и попросила: «Рабе Христов! Есть ли у тебя отец и матери живых или преставились? И убо аще живы, помолимся о них и о тебе, аще же умроша — помянем их. Умилосердися, раб Христов! Зело изнемогах от глада и алчу ясти, помилуй мя, даждь ми колачика». Стражник же отвечал: «Ни, госпоже, боюся». Тогда боярыня снова попросила его: «И ты поне (хотя бы. — К. К.) хлебца». «Не смею», — отвечал стражник. Умоляла боярыня дать ей хотя бы «мало сухариков», яблочко, огурчик, и всякий раз слышала отказ. Тогда она попросила исполнить ее последнюю просьбу — похоронить рядом с сестрою: «Добро, чадо, благословен Бог наш, изволивый тако! И аще убо се, яко же рекл еси, невозможно — молю тя, сотворите последнюю любовь: убогое сие тело мое, рогозиною покрыв, близ любезных ми сестры и сострадальницы неразлучне положите».

Позвав другого стражника, она отдала ему свою единственную рубашку и попросила постирать ее на реке: «Рабе Христов! Имел ли еси матерь? И вем, яко от жены рожден еси. Сего ради молю тя, страхом Божиим ограждься: се бо аз жена есмь и, от великия нужды стесняема, имам потребу, еже срачицу измыти. И яко же сам зриши, самой ми ити и послужити себе невозможно есть, окована бо есмь, а служащих ми рабынь не имам. Такожде тецы на реку и измый ми срачицу сию. Се бо хочет мя Господь пояти от жизни сея, и неподобно ми есть, еже телу сему в нечисте одежде возлещи в недрах матери своя земля». Стражник, спрятав рубашку под своей одеждой, пошел к реке и, «платно» (полотно) «мыяше водою, лице же свое омываше слезами, помышляючи прежнее ее величество, а нынешнюю нужду, како Христа ради терпит, а к нечестию приступите не хочет, сего ради и умирает. Известно бо то есть всем, яко аще бы хотя мало с ними посообщилася, то бы более прежнего прославлена была. Но отнюдь не восхоте, но изволи тьмами умрете, нежели любве Христовы отпасти»^[349]...

В ночь с 1 на 2 ноября 1675 года старице Мелании, находившейся в

отдаленной пустыни, было видение: явилась к ней во сне инокиня Феодора, одетая в схиму и куколь «зело чуден», сама же была «светла лицом и обрадованна». В своем схимническом облачении Феодора была прекрасна. Чудный свет исходил от нее. Она осматривалась по сторонам и руками ощупывала свои новые одежды, удивляясь красоте небесных риз. Также она непрестанно целовала образ Спасителя, который находился рядом с ней, и кресты, вышитые на схиме. И делала она это долго, пока старица Мелания не пробудилась от сна...

Через некоторое время стало известно: в эту ночь, «месяца ноемврия с первого числа на второе, в час нощи, на память святых мученик Акиндина и Пигасия», инокиня Феодора умерла от голода в боровской темнице. Ее святое и многострадальное тело погребли здесь же в остроге, подле сестры, как она и завещала.

Спустя месяц, 1 декабря, скончалась и третья из мучениц, Мария Герасимовна Данилова. «И взыде третия ко двема ликовати вечно о Христе Исусе, Господе нашем»...

*

Со смертью боярыни Морозовой духовный поединок между ней и царем закончился, и в глазах народа она навеки осталась победительницей. «Народ воспринимал борьбу царя и Морозовой как духовный поединок (а в битве духа соперники всегда равны) и, конечно, был всецело на стороне «поединщицы», — писал академик А. М. Панченко. — Есть все основания полагать, что царь это прекрасно понимал. Его приказание уморить Морозову голодом в боровской яме, в «тме несветимой», в «задухе земной» поражает не только жестокостью, но и холодным расчетом. Дело даже не в том, что на миру смерть красна. Дело в том, что публичная казнь дает человеку ореол мученичества (если, разумеется, народ на стороне казненного). Этого царь боялся больше всего, боялся, что «будет последняя беда горши первая». Поэтому он обрек Морозову и ее сестру на «тихую», долгую смерть. Поэтому их тела — в рогоже, без отпевания — зарыли внутри стен боровского острога: опасались, как бы старообрядцы не выкопали их «с великою честью, яко святых мучениц мощи». Морозову держали под стражей, пока она была жива. Ее оставили под стражей и после смерти, которая положила конец ее страданиям в ночь с 1 на 2 ноября 1675 года»^[350].

Но и после смерти своей не давала боярыня Морозова покоя царю

Алексею Михайловичу. Поняв, что безнадежно проиграл, он боялся даже того, что кто-то узнает о ее смерти, и приказал скрывать как можно дольше случившееся. «Уведев се Алексей царь и заповеда, да никто же увести ни от бояр, ни от инех. И на три седмицы утаися в Верху, потом же уведено бысть повсюду»^[351].

Вскоре эта печальная весть дошла и до протопопа Аввакума. Узнав о мученической кончине своих духовных дочерей, он был потрясен до глубины души. На смерть святых боровских страсотерпиц Аввакум написал «О трех исповедницах слово плачевное». В этом слове высокаторжественная поэзия сочетается с искренней и человеческой задушевностью. Аввакум оплакивает смерть своих любимых духовных дочерей, и за этикетными формулами, заимствованными из кладезей древнерусской книжности, слышится его неподдельная скорбь: «Увы, увы, чада мои прелюбезные! Увы, други мои сердечные! Кто подобен вам на сем свете, разве в будущем святии ангели! Увы, светы мои, кому уподоблю вас? Подобии есте магниту каменю, влекущу к естеству своему всяко железное. Тако же и вы своим страданием влекуще всяку душу железную в древнее православие. Исше трава, и цвет ея отпаде, глагол же Господень пребывает вовеки. Увы мне, увы мне, печаль и радость моя, всажденная три каменя в небо церковное и на поднебесной блестящая! Аще телеса ваша и обещана, но душа ваша в лоне Авраама, и Исаака, и Иякова. Увы мне, осиротевшему! Оставиша мя чада зверям на снадение! Молите милостиваго Бога, да и меня не лишит части избранных Своих! Увы, детоньки, скончавшиися в преисподних земли! Яко Давыд вопию о Сауле царе: горы Гельвульския, пролившия кровь любимых моих, да не снидет на вас дождь, ниже излиется роса небесная, ниже воспоеет на вас птица воздушная, яко пожерли телеса моих возлюбленных! Увы, светы мои, зерна пшеничная, зашедшия под землю, яко в весну прозябшия, на воскресение светло усрящу вас! Кто даст главе моей воду и источник слез, да плачу друзей моих? Увы, увы, чада моя! Никтоже смеет испросити у никониян безбожных телеса ваша блаженная, бездушна, мертва, уязвенна, поношеньми стреляема, паче же в рогожи оберченна! Увы, увы, птенцы мои, вижду ваша уста безгласна! Целую вы, к себе приложивши, плачущи и облобызающи! Не терплю, чада, бездушных вас видети, очи ваши угаснувшии в дольних земли, их же прежде зрях, яко красны добротою сияюща, ныне же очи ваши смежены, и устне недвижимы»^[352].

Свою похвалу трем боровским мученицам Аввакум заканчивает такими торжественными словами:

«Оле, чудо! о преславное! Ужаснися небо, и да подвижатся основания земли! Се убо три юницы непорочныя в мертвых вменяются, и в бесчестном худом гробе полагаются, им же весь мир не точен бысть. Соберитесь, рустии сынове, соберитесь девы и матери, рыдайте горце и плачите со мною вкупе друзей моих соборным плачем и воскликнем ко Господу: «милостив буди нам, Господи! Приими от нас отшедших к Тебе сих души раб Своих, пожерших телеса их псами колитвенными!^[353] Милостив буди нам, Господи! Упокой душа их в недрах Авраама, и Исаака, и Иякова! И учини духи их, иде же присещает светлица Твоего! Видя виждь, Владыко, смерти их нужныя и напрасныя и безгодныя! Воздаждь врагом нашим по делом их и по лукавству начинания их! С пророком вопию: воздаждь воздаяние их им, разориши их, и не созиждеши их! Благословен буди, Господи, во веки, аминь»»^[354].

Послесловие

Не дивитесь сему, яко грядет час, в онь же вси сущии во гробех, услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшии благая, в воскрешение животу, а сотворшии злая, в воскрешение суду.

Ин. 5, 28–29

Царь Алексей Михайлович ненадолго пережил свою «поединщицу». 23 января 1676 года, на следующий же день после взятия Соловецкого монастыря и начала кровавой расправы над восставшими иноками,^[355] он внезапно заболел, а неделю спустя, в ночь с 29 на 30 января, в день воспоминания Страшного суда Божия, умер. В сочинении «Возвешение от сына духовного ко отцу духовному» неизвестный автор, близкий к царскому двору (судя по всему, это был всё тот же старший брат боярыни Морозовой и автор ее жития Феодор Соковнин), сообщал своему духовному отцу протопопу Аввакуму тщательно скрывавшиеся властями подробности последних дней Тишайшего:

«Царя у нас Алексея в животе не стало февраля^[356] в 29 день числа, в нощи 4-го часа, на тридешатое число в субботу против воскресения. А по Триоди тот день Страшного суда. А скорбь-та ево взяла того же февраля назад в 23-м числе. А как в болезни той был, так говорил: «Трепещет де, и ужасается душа моя сего часа, что по Триоди Судной день именуется». И спешили всяко со тцанием, как бы чем хоть мало помощь сотворить: лекарствами и волшебными хитростями, и ничто же успели. Так уже схватились за ризу Господню, однако смертнаго часа не отстояли. Да как преставился, тот же час из него и пошло: и ртом, и носом, и ушьми всякая смрадная скверна, не могли хлопчатой бумаги напасти, затыкая. Да тот же час и погребению предали, скоро-скоро, в воскресение то поутру, с обеднею вместе.

А до болезни той, как схватило его, тешился всяко, различными утешении и играми. Поделаны были такие игры, что во ум человеку невместно; от создания света и до потопа, и по потопе до Христа, и по Христе житии что творилося чудо-творение Его, или знамение кое, — и то все против писма в ыграх было учинено: и распятие Христово, и погребение, и во ад сошествие, и воскресение, и на небеса вознесение. И

таким играм иноверцы удивляясь говорят: «Есть, де, в наших странах такие игры, комидиями их зовут, тол ко не во многих верах». «Иные, де, у нас боятся и слышати сего, что во образ Христов да мужика ко кресту будто пригвождать, и главу тернием венчать, и пузырь подделав с кровию под пазуху, будто в ребра прободать. И вместо лица Богородицы — панье-женке простерши власы, рыдать, и вместо Иоанна Богослова — голоусово детину сыном нарицать и ему ее предавать. Избави, де, Боже и слышати сего, что у вас в Руси затияли». Таково красно, что всех иноземцов всем перещапили. Первое — платьем да ухищрением, чинами, потом уже и вероютою всех земель иноверцов перехвастали. Да топерь уже то все улеглось, еще не до игрушек. Воспомяна прежнее веселие, слезами обливаются все»^[357].

Царь умирал тяжело. «А царет до смертитое за день — за другой крепко тосковал, четверг-от и пятницу-ту, да без зазору кричал сице: «О господие мои, помилуйте мя, умилитесь ко мне, дайте мне мало время, да ся покаюсь!» Предстоящий же ему вопрошают его со слезами: «Царь-государь, к кому ты сия глаголы вещаеш?» Он же рече им: «Приходят ко мне старцы соловецкие и пилами трут кости моя, и всяким оружием раздробляют составы моя. Прикажете свободить монастырь их». И после того субботу ту уже не говорил ничего, лише тосковал, и пены изо рта пушал. Да сидя в креслах и умер. А до мучения тово, что ему было, видение видял страшно зело. Да одной царице сказал и заповедал никому не сказывать. И о том несть слуху подлинно. А по ево приказу послали было отступить велеть от Соловков-тех. Да на дороге вестник стретил, что уже и тех в животе несть. Ин и ево не стало»^[358].

Ранняя и внезапная смерть царя была воспринята на Руси как Божья кара за гонения и отступничество от древлего православия. Предание говорит о позднем раскаянии царя Алексея Михайловича: заболев, он счел свою болезнь Божьей карой и решил снять осаду с Соловецкого монастыря, послав своего гонца с вестью об этом. И как раз в день смерти царя у реки Вологды оба гонца встретились: один с радостной вестью о прощении обители, а другой — о ее разорении...

Любопытно, что протопоп Аввакум связывал внезапную болезнь и смерть царя не только с расправой над соловецкими иноками, но и с «уморением» боярынь в «пятисаженных ямах». «Никонияне, а никонияне! — писал он в одном из своих посланий. — Видите, видите, клопочуща и стонюща своег[о царя Алексея]? Расслаблен бысть прежде смерти и прежде суда того осужден, и прежде бесконечных мук мучим. От отчаяния стужаем, зовый и глаголя, расслаблен при кончине: «господие мои, отцы

соловецкие, старцы, отродите ми да покаюся воровства своего, яко беззаконно содеял, отвергся христианския веры, играя, Христа распинал и панью Богородицею сделал, и детину голоуса Богословом, и вашу Соловецкую обитель под меч подклонил, до пяти сот братии и большии. Иных за ребра вешал, а иных во льду заморозил, и боярнъ живых, засадя, уморил в пятисаженных ямах. А иных пережег и перевешал, исповедников Христовых, бесчисленно много. Господие мои, отрадите ми поне мало!» А изо рта и из носа и из ушей неждид течет, бытто из зарезаные коровы. И бумаги хлопчатые не могли напастися, затыкая ноздри и горло. Ну-су, никонияне, вы самовидцы над ним были, глядели, как наказание Божие было за разрушение старья христианския святыя нашея веры. Кричит, умирая: «пощадите, пощадите!» А вы ево спрашивали: «кому ты [царю] молился?» И он вам сказывал: «Соловецкие старцы пилами трут мя и всяким оружием, велите войску отступить от монастыря их!» А в те дни уж посечены быша. Ужаснись, небо, и вострепещи, земле, преславную тайну видя! Вам засвидетельствую, вам являю, будете ми свидетели во всей Июдеи и Самарии и даже до последних земли. Никонияня не чювствуют, никонияня, яко свиньи, забрели в заходы, увязли в мотылах, не зрят гнева Божия, на облацех восходяща... Зрите, наши, огонь их не разбудит, мор их не приведе в чювство, меч не подклони главы их под руку Вседержателя Бога, Пречистая Богородица явлением Своим не уцеломудри, святыя жены явишася и в разум не приведоша их. Аще и паки Христос приидет, пригвоздят, на Голгофе крест поставя, глаголемии христиане»^[359].

После смерти Алексея Михайловича и восшествия на престол его пятнадцатилетнего сына Феодора появилась робкая надежда на восстановление старой веры. Эта надежда укреплялась и некоторыми переменами, произошедшими при царском дворе. Так, первым назначением нового царствования стало выдвигание самого ревностного старовера в Думе, родного брата замученных в Боровске боярыни Морозовой и княгини Урусовой, — думного дворянина Феодора Прокопьевича Соковнина на ключевую должность главы Челобитного приказа (1 февраля 1676 года). 8 февраля царь указал «для вечного помяновения отца его государева» вернуть из Острогожска другого брата Морозовой — стольника Алексея Соковнина.

В свою очередь, царский любимец Артамон Матвеев, люто ненавидевший старообрядцев и сыгравший далеко не последнюю роль в гибели боровских мучениц, был лишен всех чинов и званий и со всею семьей сослан в далекий Пустозерск. Ведущие роли при дворе вновь заняли Милославские, сочувственно относившиеся к старой вере.

Возглавляла сторонников Аввакума при дворе крестная мать царя Феодора царевна Ирина Михайловна. Она была старшей в царской семье, в 1676 году ей исполнилось 69 лет.

Новый царь Феодор Алексеевич был очень болезненным юношей, страдал сильной цингой, с трудом мог ходить, опираясь на палку, и большую часть времени вынужден был проводить во дворце. В уже упомянутом выше сочинении «Возвешение от сына духовного ко отцу духовному» автор характеризует нового царя следующими словами: «Да после его державы дал нам Бог царя, сына ево Феодора, млада суца верстою, да, слышать отчасти, смыслом стара. Как то Бог управит живот и царство! Да ногами скорбен зело: от степеней-тех вверх пухнет, уже мало и ходит; так и носят, куды изволит. Всяко бы, аще Бог изволил, чаять, не посяхщик бы он был на веру-ту. Авось молитв ради ваших, батюшко, и побаратель по истинне будет. Да молодой человек, мало деют по ево хотению; приказ его править князь Юрью Долгорукому, да мало от него, слышать, добра. А се патриарха еще слушают. А Яким-от, знаеш ты, коих мер лаготь. И Феодору-то (Морозову. — К. К.) с сестрами — хто што: не он своим приговором учинил»^[360].

В послании также сообщалось о видениях Феодору Алексеевичу Богородицы, призывавшей царя следовать житию его благочестивого деда Михаила Феодоровича и святых боровских мучениц. «И паки потом мало дней мимошедши, — сообщает автор «Возвешения», — той же царь Феодор видит сном тонким в ложницу его некую доброродну жену идущу и одеяние иноческое на себе носящи, и по обе страны созади ея две жены святолепны грядущи, и на плещу своею разноцветно одеяние носящи. И пришедши к нему, реша ему: «Царю младодержавный, здравствуеши ли?» Он же отвеща: «Сокрушен есмь болезнию». Они же реша: «Чим скорбиши?» И отвеща им: «Ноги отягченны имею». И паки реша: «Знаеши ли ны?» Он же отвеща: «Ни, како же могу знати, аще не поведите ми?» И глагола едина от них, первая: «Аз есмь Феодора, иже в мире бех Феодосия Морозова, и преже смерти за пять лет приях сей ангельский образ еще в дому моем. А другая, иже со мною, сестра моя Евдокея, третья же Мария нарицается, иже без правды отец твой муча и томя нас, живых в землю погрузи, и преже смерти умори, и по смерти заключи телеса наша, да и сам ныне заключен до дни суднаго тако же. Ты же не ревнуй пути его, да не приидеши в место его и преже времени не погубиши живота своего. А буде хоцещи здравие получитьи, возми телеса наша с честью в царствующий град и повели по старопечатным книгам пение в церквах Божиих пети — и вскоре исцеление получиши. Аще же сего не сотвориши

— узриши хотящая быти». И паки реша: «Ну, мир ти, чадо». И возвратишася, и отъидоша, им же путем приидоша»^[361].

Царь поведал о своем сне патриарху Иоакиму и просил его совета, уповая на то, что перенесение тел святых мучениц в Москву принесет долгожданное исцеление. «Патриарх же, помрачен сый неверием и необратне и неисцелне недугуя, рече ему: «Царю самодержавие, не достоин ти веры яти таковому сновидению, еже взяти телеса их и пременити предание вселенских патриарх и отец наших, и тем навести на себя клятву отца своего, и по смерти тем его и нас под зазором положить. Ни, царю, ниже помышьляй о сем, ниже внимай таким сновидением, веси убо о них, како отвержени от соборных церкви и от отца твоего осуждены. А ты тем их оправдаеши, а отца своего по смерти поругаеши. Престани убо от такова начинания. А о вере, еже паки переменити, и не помышьляй: не я один, и ниже ты, но собором так учинено, и руками закреплено, и царскою печатью запечатлено. Быть тому уже так». Да на том и остановил ево Яким-от, не умилился на скорбь-ту ево, опсел ево кругом, и он и положился на том, да стражет теперь ножками зело. А лекарства, де, приносить отказал и не принимает: «Уш-то, де, Бог судил так мне страдати»»^[362].

И действительно, новый царь прожил недолго. Через две недели после сожжения в Пустозерске протопопа Аввакума с союзниками Феодор Алексеевич скончался. Произошло это 27 апреля 1682 года.

В том же 1682 году Феодору и Алексею Соковниным удалось положить на месте захоронения сестер-мучениц белокаменную плиту — это был чуть ли не единственный случай в истории старообрядчества, когда мученическая могила была как-то отмечена. На плите была сделана надпись: «Лета 7184 (1675 год. — К. К.) погребены на сем месте: сентября в 11 день боярина князя Петра Семеновича Урусова жена ево, княгиня Евдокея Прокофьевна; да ноября во 2 день боярина жена Морозова бояроня Федосья Прокофьевна, а во иноцех инока схимница Феодора, а дщери окольникового Прокофья Федоровича Соковнина. А сию цку положили на сестрах своих родных боярин Феодор Прокофьевич, да окольниковей Алексей Прокофьевич Соковнины»^[363].

Дальнейшая судьба братьев Соковниных, втайне продолжавших придерживаться «древлего благочестия»,^[364] была трагичной. Старший, Феодор Прокопьевич, как уже было сказано, в царствование Феодора Алексеевича (1676–1682) был вновь приближен ко двору: в 1676 году он получил чин окольникового и сопровождал царя в загородных поездках. В 1677 году присутствовал в мастерских палатах вдовствующей царицы

Натальи Кирилловны и, по иронии судьбы, по ее просьбе выбирал учителя для ее малолетнего сына Петра. Свой выбор он остановил на дьяке Челобитного приказа Никите Моисеевиче Зотове. «Сообразуясь с обычаем и собственным нравом, он искал человека из «тихих и не бражников»... Едва возмужав, Петр произвел Никиту Зотова в чин князь-папы, сделал главою всех российских питухов»^[365].

В 1680 году царь Феодор Алексеевич приказал Ф. П. Соковнину отпускать лекарства в хоромы Натальи Кирилловны и царевича Петра. В 1682 году Феодор Прокопьевич поставил свою подпись под Соборным уложением об уничтожении местничества, а 29 июня того же года был пожалован в бояре. После 1682 года его имя редко встречается в Дворцовых разрядах. 20 марта 1697 года он вместе с семьей был сослан в деревню за преступление младшего брата, где и умер в том же году.

Младший Соковнин, Алексей Прокопьевич, в 1682 году стал стольником царя Петра Алексеевича, затем был пожалован в окольничие. Служебная его карьера продвигалась довольно успешно. Одна его дочь, Софья, была замужем за комнатным стольником царя Ивана Алексеевича Александром Ивановичем Милославским (1678–1746), другая, Мария, — за князем М. С. Львовым, третья — за стольником Феодором Матвеевичем Пушкиным. С 1689 по 1690 год, при царевне Софье, Алексей Прокопьевич возглавлял Конюшенный приказ, в 1690 году имел титул «ясельничего».

В 1697 году он участвовал в заговоре стрелецкого полковника Ивана Елисеевича Цыклера, открытом по доносу накануне отъезда Петра I за границу.

Царь Петр лично допрашивал схваченных заговорщиков, подвергавшихся страшным пыткам в селе Преображенском. Цыклер, не выдержав пыток, назвал главным виновником Алексея Прокопьевича Соковнина. Боярская дума вынесла смертный приговор И. Е. Цыклеру, А. П. Соковнину, его зятю Ф. М. Пушкину и еще двум стрелецким пятидесятникам. 4 марта 1697 года Цыклер и Соковнин были четвертованы, остальным отрубили головы. Трупы казненных в тот же день были привезены из Преображенского в Москву, на Красную площадь, и уложены у специально врытого в землю столба, а головы насадили на «железные рожны», вделанные в столб, и оставили гнить до июля. Позднее родственникам удалось выпросить голову Соковнина и похоронить ее у «Красных колоколов», напротив церковного алтаря, близ его родителей. Супруга Алексея Прокопьевича Татьяна Семеновна (урожденная Чиркова) после казни мужа сошла с ума, а их дети были лишены дворянства и имений и сосланы в Белгород...

Могила сестер-мучениц Феодосии Прокопьевны Морозовой и Евдокии Прокопьевны Урусовой также имела свою непростую историю. Впервые ее описал в 1820 году путешествовавший по русским городам и монастырям в поисках древних документов историк и археограф П. М. Строев: «Камень... лежит на Городище, у острога. Боровские жители имеют к нему особое почтение: проходя мимо, кланяются до земли, иногда служат и панихиды. По утверждению их, под сим камнем погребены две княжны, сожженные татарами (другие говорят — Литвою) за веру христианскую. Но это несправедливо...» Далее Строев приводил надпись на могильной плите. Но скорее несправедливо мнение самого Строева о том, что боровчане, среди которых было значительное число приверженцев старой веры, не знали о том, чья это в действительности могила. «Просто боровчане в годы преследований боялись, что излишняя известность может привести к уничтожению старообрядческой святыни»^[366]. Местные жители почитали надгробную плиту чудодейственной и, приходя на могилу святых мучениц Феодоры и Евдокии, просили их о чадородии, а приложившись к каменной плите, исцелялись от зубной боли.

После дарования старообрядцам свободы вероисповедания в 1905 году по инициативе настоятеля Всехсвятской старообрядческой общины Боровска о. Карпа Тетеркина ежегодно с 1906 года на могилу сестер-мучениц совершался крестный ход, а чуть ранее, в 1904–1905 годах, боровский купец Н. П. Глухарев начал хлопотать в Министерстве внутренних дел о разрешении поставить на могиле сестер-мучениц крест. Тогда же старообрядцы впервые подняли вопрос о создании памятника на месте погребения боярыни Морозовой и княгини Урусовой. В 1912 году эта идея, казалось, была близка к осуществлению. Был даже создан Комитет по сооружению памятника, в который входили известные старообрядческие деятели П. П. Рябушинский, М. И. Бриллиантов, А. И. Морозов и др. К сожалению, этой идее не было суждено осуществиться из-за запрета полиции. Потом началась Первая мировая война, за ней — Гражданская и годы советской власти...

Впрочем, крест на могиле боярыни Морозовой в начале XX века старообрядцами все-таки был установлен, однако при советской власти его снесли. А 18 июля 1936 года было произведено вскрытие могилы Морозовой и Урусовой. В результате вскрытия были обнаружены останки двух человек. К сожалению, не сохранилось описания проводившихся раскопок — ни организации, ни людей. Неизвестна также и дальнейшая судьба останков мучениц: остались ли они на первоначальном месте захоронения или же были перенесены в другое место...

Ныне в нескольких шагах от могилы снова установлен деревянный крест, а рядом на средства, собранные старообрядцами не только всей России, но и многих других стран, в 2002–2004 годах возведена часовня-памятник во имя святых мучениц и исповедниц Феодоры Морозовой и Евдокии Урусовой и иже с ними пострадавших за правоверие в XVII веке. Тем самым словно сбываются пророческие слова из любимого старообрядцами духовного стиха о боярыне Морозовой:

Снег белый украсил светлицы,
Дорогу покрыл пеленой,
По улице древней столицы
Плетется лошадка рысцой.

На улице шум и смятенье,
Народ словно море шумит,
В санях, не страшась заключенья,
Боярыня гордо сидит.

Высоко поднявши десницу,
Под звон и бряцанье цепей,
Она оглашает столицу
Правдивою речью своей.

Она не боится мученья
И смело на пытку идет,
И к истине сердца влеченье
Ей силу и бодрость дает.

Сменила пиры и палаты
На мрачный сырой каземат,
Душа ее верой богата,
Ей правда дороже палат.

И верит: она не погибнет,
Идея свободной мольбы,
Настанет пора, и воздвигнут
Ей памятник вместо дыбы...

[\[367\]](#)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Похвала мученицам [\[368\]](#)

Аще бо сии и естеством пребыша, но твердостью веры и постоянством разума многих мужей превзыдоша. Тесным и скорбным путем благодаряще протекше зело спешно, того ради достигоша в место утешно. Всяку нужду и тесноту и скорбь глада с терпением принесоша, сих же ради велико сокровище с собою понесоша. Живуще zde и скончавшеся нужно, скорбно и гладно, сего ради и преселишася во уготованное им место прохладно. Аще бо сих страдалиц царь земный и зело утесни, но Небесный Царь и Содетель тех по смерти возвесели. Неции завистницы смущающеся зело вас укоряют, мы же напротив того гнушающеся их презираем, вас же, яко верных сущих, на помощь призываем. Ведуще о том известно, яко всяк верный свят есть, вы же воистинну верни есте, яко и веру невредиму сохранисте и живот свой кровию печатлесте. Того ради молим и премолим, яко и нас свыше назирайте и молитвами вашими не забывайте, в прехождении же бурного жития сего на полезное наставляйте и елико можете, толико и помогайте, аминь.

Надсловие великоблагородным княгиням и страстотерпицам [\[369\]](#)

О честные, многострадальные, прелюбезные нам матери, дивные страстотерпицы, славные московские новые исповедницы, древлероссийскому благочестию поборницы! Вы бо Божиим пособием седмглавого зверя и с многовидными его пестротами женскими ногами мужественно попрасте, ныне Троичному предстоите Престолу, светом озаряеми Трисолнечного Божества, наслаждаетеся светозарными зарями, просвещаемы, яко солнце сияете в горнем Сионе, в ликовствующей Церкви. Молите, преблаженные, о нас, с путешественниками с вами и со всеми российскими новыми страдальцы, яко имеете дерзновение Иже в Вышних, Ему же ныне предстоите. Молитеся всегда непрестанно Богу и Владыке нашему Христу за вся ны, своими ходатайствы заступите и просящим у вас богато требуемая подавайте; даруйте убо и нам, жития великомученического писателем, в дерзнутых незазорное туне прощение и

в погрешенных за неведение и грубость ума нашего или инако в чем погрешенных туне милостивное решение. И не вмените в повествованных страдальческому вашему святомученическому упокоению в ташкое стужение. Во мзды же место нашего грубого тцания воздаждьте матернее ваше благословение и по силе нашей доблестей ваших собрание примите от нас за честное приношение, и по усердию немощи нашей бодрого, еже по Бозе страдальческого вашего течения худою нашею тростию грубое сплетение присовокупите достоблаженной памяти вашей на всекраснейшее позлащение. Всем же нам, понудившим и трудившимися, и списавшим с верою, и усердием сподобитися хотящим священными страдальческими и мученическими вашими молитвами по благочестии древлеотеческом, по силе нашей ревности со усердием и с верою испросите мир и благословение и всемилостивейшее Божие посящение, и о нас да вспомяните ко Всесильному Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, яко да и нам в полезная вменит и навертит недостаточное нашего глубоконеразумия Своим милосердием. Сие вам приносим, грубии, малое благодарение, скудный и убогий поистинне дарец; примите, о священные матери, примите и не возгнушайтесь. Нам же взаимно вознаградите благоволите — не елика просим и жалаем, но елика полезна и спасительна вашему дерзновению прикладна сего требуем, сего верно чаем во славу Христа, истинного Бога нашего, в честь же и хвалу вашего, великомученицы, по Христе страдания; будите смиренные люди присно спасающе и соблюдающе, и от всякого злого обстояния покрывающе ныне и во вся веки, аминь.

Основные даты жизни боярыни Ф. П. Морозовой

1632, 21 мая — в Москве, в семье московского дворянина П. Ф. Соковнина, родилась дочь Феодосия.

1645, 13 июля — вступление на престол царя Алексея Михайловича.

1648, 16 января — свадьба царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской — родственницей Соковниных.

26 января — свадьба боярина Бориса Ивановича Морозова с Анной Ильиничной Милославской.

Начало июня — Соляной бунт в Москве. Отстранение боярина Б. И. Морозова от правления.

1649 — Феодосия Прокопьевна Соковнина выдана замуж за боярина Глеба Ивановича Морозова.

1652 — рождение у боярыни Морозовой сына Ивана.

25 июля — митрополит Новгородский Никон возведен в патриархи Московские и всея Руси.

1653, между 20 и 27 февраля — выход «памяти» патриарха Никона. Начало церковной реформы.

1661 — смерть боярина Б. И. Морозова.

1662 — смерть боярина Г. И. Морозова.

Смерть отца боярыни Морозовой, окольничего П. Ф. Соковнина.

1664, весна — возвращение протопопа Аввакума из сибирской ссылки в Москву. Знакомство Аввакума с Ф. П. Морозовой.

Лето — 22 августа — во дворе боярыни Ф. П. Морозовой живет протопоп Аввакум, ставший ее духовным отцом.

Осень — начало открытого выступления Ф. П. Морозовой в защиту старой веры. Увещевания Морозовой архимандритом Чудова монастыря Иоакимом и Петром ключарем.

1665, лето — отписка на царя половины вотчин боярыни Ф. П. Морозовой.

1666, начало марта — Морозова тайно встречается с протопопом Аввакумом, привезенным из мезенской ссылки в Москву на соборный суд.

29 апреля — открытие первой части Московского собора под председательством царя Алексея Михайловича. На соборе подтверждены Никоновы «новины» и преданы анафеме защитники «старого православия».

1 октября — по ходатайству царицы Марии Ильиничны морозовские вотчины возвращены прежней владелице, «опричь 20 дворов».

28 ноября — открытие Большого Московского собора 1666–1667 годов с участием «вселенских» патриархов.

1669, 3 марта — смерть царицы Марии Ильиничны.

1670, конец — боярыня Ф. П. Морозова принимает от игумена Досифея тайный иноческий постриг с именем Феодоры.

1671, 22 января — демонстративный отказ боярыни Морозовой присутствовать на свадьбе царя Алексея Михайловича с Н. К. Нарышкиной, где боярыня должна была «в первых стояти и титулу царскую говорить».

Осень — для увещания к Морозовой посланы боярин Б. И. Троекуров и кравчий П. С. Урусов.

Боярыня Морозова причащается из рук игумена Досифея.

В ночь на 16 ноября — боярыня Морозова взята под стражу вместе с сестрой, княгиней Евдокией Прокопьевной Урусовой.

18 ноября—допрос сестер Ф. П. Морозовой и Е. П. Урусовой в Чудовом монастыре духовными властями. Морозову отправили в заключение на бывшее подворье Псковского Печерского монастыря на Арбате.

1671, конец — 1672, начало — смерть сына Морозовой Ивана Глебовича. Ее братья высланы из Москвы — Феодор Соковнин в Чугуев на воеводство, Алексей Соковнин — в Острогжск.

1672, после 22 апреля — единомышленница Морозовой Мария Герасимовна Данилова, пытавшаяся бежать на Дон, арестована и заключена в подвале Стрелецкого приказа.

1673, зима — Ф. П. Морозова, княгиня Е. П. Урусова и М. Г. Данилова подвергнуты жестоким пыткам.

19 апреля — смерть патриарха Питирима.

Лето — Морозову переводят в Новодевичий монастырь. Конец лета — осень — боярыню Морозову переводят в Хамовную слободу, во двор старосты.

Конец 1673 — начало 1674 — ссылка трех узниц в Боровский острог.

1674, конец — царский указ, предписывавший «разыскать, кто к ним (боровским узницам. — К К.) ходит и како доходят».

1675, 10–12 января — боровских узниц тайно навещают близкие Морозовой люди, в числе которых Мелания и «большой брат».

После 11 апреля — приезд в Боровск подьячего Павла для следствия по делу Морозовой.

29 июня — приезд в Боровск дьяка Ф. Кузмищева. Новое расследование.

Конец июня — начало июля — сожжение в Боровске 14 боровских тюремных «сидельцев», среди которых слуга Морозовой Иван и ее соузница инокиня Иустина. Ф. П. Морозову и Е. П. Урусову перевели из острога в земляную тюрьму, в «пятисаженные ямы», запретив под страхом смертной казни охране давать узницам пищу и питье. М. Г. Данилову поместили в тюрьму, «где злодеи сидят».

11 сентября — смерть княгини Е. П. Урусовой. К Ф. П. Морозовой перевели М. Г. Данилову.

В ночь с 1 на 2 ноября — боярыня Морозова умерла от голода в земляной тюрьме.

1 декабря — скончалась М. Г. Данилова.

Краткая библиография

Барановский В. С. Боярыня Морозова. Историческая повесть. Рига, 2008.

Барановский В. С. Морозова Феодосия Прокопьевна // *Барановский В., Потащенко Г.* Староверие Балтии и Польши: Краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 2005. С. 246–247.

Барское Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912. С. 35–42.

Бороздин А. К. Протопоп Аввакум: Очерк из умственной жизни русского общества в XVII веке. 2-е изд. СПб., 1900.

Высоцкий Н. Г. Переписка княгини Е. П. Урусовой со своими детьми // *Старина и новизна.* 1916. Т. 20. С. 14–48; отд. отт.: М., 1915.

Денисов С. Виноград Российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие, написанный Симеоном Дионисиевичем (князем Мышецким). М., 2003.

Житие боярыни Морозовой, княгини Урусовой и Марьи Даниловой // *Материалы для истории раскола за первое время его существования,* издаваемые Н. И. Субботиным. М., 1887. Т. 8. С. 137–203.

Житие и страдание боярыни Морозовой и сестры ее княгини Урусовой // *Старая вера: Старообрядческая хрестоматия /* Под ред. А. С. Рыбакова. М., 1914. С. 68–94.

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Подг. текста и коммент. Н. К. Гудзия, В. Е. Гусева, А. С. Елеонской, А. И. Мазунина, В. И. Малышева, Н. С. Сарафановой; вступ. ст. В. Е. Гусева; под общ. ред. Н. К. Гудзия. М., 1960.

Житие протопопа Аввакума. Житие инока Епифания. Житие боярыни Морозовой. Статьи, тексты, комментарии / Изд. под. Н. В. Поньрко. СПб., 1993.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. Новосибирск, 1992.

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. В 2 т. / Сост. Г. М. Прохоров: общ. ред. В. В. Нехотина. М., 2006.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов: Время патриарха Иосифа. М., 2003.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. В 2 т. М., 1996.

Кожурин К. Я. Духовные учителя сокровенной Руси. СПб., 2007.

Кожурин К. Я. Протопоп Аввакум. Жизнь за веру. М., 2011 (серия «ЖЗЛ»).

Кутузов Б. П. Церковная «реформа» XVII века как идеологическая

диверсия и национальная катастрофа. М., 2003.

Лукаш И. С. Боярыня Морозова // Златоуструй. Вып. 3. Рига, 2000. С. 10–23.

Мазунин А. И. Возможный автор Повести о боярыне Морозовой // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом). Т. 33. Л., 1985. С. 338–342.

Мазунин А. И. Заметки к биографии Ф. П. Морозовой (из реального комментария) // Сборник научных статей Ленинабадского пединститута им. С. М. Кирова. Серия филологическая. Душанбе, 1969. Вып. XXIX. С. 145–156.

Мазунин А. И. Из комментария к Повести о боярыне Морозовой // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом). Т. 24. Л., 1969. С. 237–238.

Мазунин А. И. Краткая редакция Повести о боярыне Морозовой // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом). Т. 18. Л., 1962. С. 341–343.

Мазунин А. И. Морозова Феодосия Прокофьевна // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 2: И-О. СПб., 1993. С. 364–366.

Мазунин А. И. О времени пострига боярыни Ф. П. Морозовой // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом). Т. 39. Л., 1985. С. 365–366.

Мазунин А. И. Об одной переработке Жития боярыни Морозовой // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом). Т. 17. М.; Л., 1961. С. 429–434.

Мазунин А. И. Повесть о боярыне Морозовой (памятник русской литературы XVII в.): автореферат на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Л., 1965.

Мазунин А. И. Повесть о боярыне Морозовой // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3: П-С. СПб., 1998. С. 82–85.

Морозова Ф. П. Переписка Ф. П. Морозовой с Аввакумом и его семьей // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. М., 1988. Кн. 1. С. 580–586.

Нестерова Е. «Боярыня Морозова». Картина Василия Сурикова. СПб., 2000.

Описание и отчасти исповедание и страдание новых мучениц Московского царствия царския сигклитикии Феодосии Морозовой. И сестры ея княгини Евдокии Урусовой и с ними Марии, соузницы их в лето 7170 года. Б. м., б. г.

Осипов В. И. «...В Боровеск, на мое отечество, на место мученое...»: Боровский период жизни протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, княгини Урусовой. Калуга, 2007.

Осипов В. И. Судьба могилы боярыни Ф. П. Морозовой в г. Боровске // Вторые Аввакумовские чтения: тезисы докладов научно-практической конференции. Нарьян-Мар, 1996. С. 26–29.

Осипов В. И., Осипова А. И. Боровские мученики // Старообрядчество: история, культура, современность. М., 1996. Вып. 5. С. 61–66.

Памятник праведницам // Церковь. 1912. № 31. С. 749–750.

Памятники старообрядческой письменности / Подг. текстов Н. Ю. Бубнов, Н. С. Демкова, О. В. Чумичева. СПб., 2000.

Панченко А. М. Боярыня Морозова — символ и личность // Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и культура. Работы разных лет. СПб., 2008. С. 55–68.

Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало Раскола / Пер. с фр. С. С. Толстого; науч. ред. перев. Е. М. Юхименко. М., 2010.

Повесть о боярыне Морозовой / Подг. текстов и исследований. А. И. Мазунина. Л., 1979.

Повесть о боярыне Морозовой Подг. текста Р. П. Дмитриевой, коммент. А. И. Мазунина / Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Кн. 2 / Сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Лихачева. М., 1989. С. 455–484, 674–681.

Повесть о боярыне Морозовой / Сост., подг. текстов, подстрочные перев. и примеч. Н. С. Демковой. М., 1991.

Поньрко Н. В. Три жития — три жизни. Протопоп Аввакум, инок Елифаный, боярыня Морозова: Тексты, статьи, комментарии. СПб., 2010.

Протопоп Аввакум. Житие. Челобитные к царю. Переписка с боярыней Морозовой. Париж, 1951.

Пустозерская проза: Сборник / Сост., предисл., коммент., перев. отдельных фрагментов М. Б. Плюхановой. М., 1989.

Робинсон А. Н. Два русских женских характера: (XVII век) // Искусство слова: Сб. статей к 80-летию чл. — корр. АН СССР Д. Д. Благого. М., 1973. С. 29–39.

Россиев П. Старообрядческая святыня // Исторический вестник. 1908. Ноябрь. Кн. 2. С. 681–682.

Сказание о житии, доблести и мужестве, терпеливом исповедничестве и страдании преподобной великомученицы боярыни Феодосии Прокопьевны Морозовой, нареченной во инокинях Феодорою, родной сестры ее и сострадалицы — благоверной княгини Евдокии, и третьей

сподвижницы их — Марии, разделившей с ними темничные узы. Боровск, 2006.

Соболева Л. С. Боярыня Феодосья Морозова: женский взгляд издалика // Книга и литература в культурном контексте. Новосибирск, 2003. С. 407–410.

Тихонравов Н. С. Боярыня Морозова: (Эпизод из истории русского раскола) // Русский вестник. 1865. Т. 59. № 9. С. 5–44.

Феодосия Прокопьевна Морозова: к 300-летию со дня смерти (1675–1975) // Старообрядческий церковный календарь на 1975 год. Рига, 1975. С. 3–5.

Филаткина Н. Предки и потомки боярыни Морозовой // Церковь. Вып. 4–5. 1992. С. 54–57.

Шорникова И. Н., Шорников В. П. Боярыня Морозова. Самара, 2007.

Dewey H. W. The Life of Lady Morozova as a Literature // Indiana Slavic Studies. 1967. Vol. 4. P. 74–87.

Die Briefe der Fürstin E. P. Urusova: Faksimile der Handschrift. Einleitung. Text. Glossar / Hrsg. von M. Schmücker-Breloer. Hamburg, 1990.

Michels G. Muscovite Elite Women and Old Belief // Harvard Ukrainian Studies. 1995. Vol. 19. P. 428–450.

Schmucker-Breloer M. Die Briefe der Fürstin Evdokija Prokop'evna Urusova, ein vergessenes Zeugnis der Altgläubigenliteratur // Sprache, Literatur und Geschichte der Altgläubigen / Hrsg. von Panzer. Heidelberg, 1988. S. 264–292 (Heidelberger slavistische Forschungen, Bd 1).

The Life of Boyarina Morozova, Princess Urusova and Maria Danilova // Anthology of Old Russian Literature / Ed. by Ad. Stender-Petersen. New York, 1954. P. 387–404.

notes

Примечания

Лукаш И. С. Боярыня Морозова // Златоштруй. Вып. 3. Рига, 2000. С. 10.

Житие — первое произведение, посвященное боярыне Морозовой и написанное, по всей видимости, ее старшим братом Феодором Прокопьевичем Соковниным. В Житии описываются лишь последние четыре года жизни боярыни Морозовой и ее сестры княгини Урусовой. Существуют три редакции Жития: пространная, сокращенная и краткая.

Поньрко Н. В. Два «народа» на пути друг к другу // Старообрядчество: история и современность. Материалы Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 28–30 октября 2008 г. СПб., 2009. С. 24.

Асафьев Б. В. (Игорь Глебов). Русская живопись. Мысли и думы. М.; Л., 1966. С. 181–182.

В комментариях Н. С. Демковой к «Повести о боярыне Морозовой» (М., 1991) в качестве святой покровительницы боярыни указывается святая Феодосия Царе граде кая (VIII век), пострадавшая за иконопочитание. Однако в дониконовских Прологах память святой Феодосии Цареградской приходилась не на 29-е, а на 18 мая. В Святцах же, изданных при патриархе Иосифе в 1645 году, на 29 мая указано: «Святая преподобномученицы Феодосии девицы... Феодосия бе от града Тира, пострада в Кесарии Палестинской, 18-ти лет, в лета, 5806 (согласно дораскольному летосчислению, 306 год по Р. Х. — К. К.), при Максимиане Галлерии, в царство Константина Великаго, многи и различны муки претерпе, последи же в море ввержена бысть, и тако скончаша» (л. 161 об. — 162). Впрочем, в тропаре и кондаке преподобномученице Феодосии в Минее от 29 мая упоминается император Константин Копроним, царствовавший в 741–742 годах. Видимо, этим и объясняется путаница с именами святых жен.

Из многочисленных дворянских родов Наумовых, существовавших в России, большая часть принадлежала к новым родам, попавшим в дворянство по выслуге. Один род, довольно старый, происходил из дьяков и только один подавал роспись в Разряд и принадлежал к древнему дворянству. Представители этого рода подали 31 марта 1686 года роспись своего рода в Разряд и так написали о своем происхождении: «(к) благоверному и великому князю Симеону Ивановичу Гордому приехал из Немец из Свицкия земли муж честен, имя ему Павлик, а у него сын Андрей, а у Андрея сын Наум, и оттого пошли Наумовы. У Наума сын Григорей, а у Григорья дети: Филип да Андрей, да Григорей, Иван. А у Григорья Меньшова Морха сын Василей — при великом князе Василье Ивановиче всея Руси был окольник, а после был 705 году боярин и послан большим послом в Крым, бездетен...». В XVII и XVIII веках многие Наумовы служили в боярах, наместниками, стольниками, окольными, воеводами, стряпчими и в иных чинах.

ИРЛИ. Древлехранилище. Собрание Заволоко. № 231. Л. 137–137 об.

Соковнины, «лихвинские и карачевские дети боярские», попали в среду московской знати по близкому родству с Милославскими. Впоследствии род Соковниных был внесен в VI часть родословной книги Московской, Ярославской, Симбирской, Тульской, Орловской губерний. Герб рода Соковниных внесен в Часть 2-ю «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи»: «Щит имеет красное поле, в коем изображаемы крестообразно серебряная Булава, имеющая головку золотую, и Меч, острием обращенный к левому верхнему углу. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нем Корonoю. Намет на щите красной подложенный золотом» (л. 62).

Материалы для истории раскола за первое время его существования /
Изд. под ред. Н. Субботина. М., 1874. Т. I. С. 451.

Taube M., von. Stammtafel der freiherl. Zweiges d. Familie v. Taube ausd. Hause Maart u. Hallinap. SPb., 1899.

Попытки идентифицировать герсикского князя Всеволода с известными русскими князьями предпринимались не раз. С. М. Соловьев предложил отождествить Всеволода с упоминаемым в «Повести о Святохне», пересказанной В. Н. Татищевым в «Истории Российской», Василько, сыном полоцкого князя Бориса Давыдовича (Татищев В. Н. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 3. М.; JL, 1963. С. 204–211). Эта версия была принята многими историками и попала во многие энциклопедии (например, в «Русский биографический словарь»). Однако эта версия принимается далеко не всеми. В качестве аргумента против приводится то, что Всеволод и Василько — разные имена. Существуют и другие попытки идентификации. Так, Э. М. Загорульский отождествляет Всеволода с упоминаемым в «Слове о полку Игореве» князем Всеволодом Васильковичем, которого он считает внуком минского князя Володаря Глебовича (Загорульский Э. «Слово...» и западные земли Руси // Неман. 1985. № 8. С. 162–164). Н. П. Лыжин отождествлял Всеволода Герсикского с Всеволодом Мстиславичем, сыном Мстислава Романовича Старого, князя Смоленского и великого князя Киевского {Лыжин Н. П. Два памфлета времен Анны Иоанновны // Известия Академии наук по Отделению русского языка и словесности. СПб., 1858. Т. 7. С. 49–64}.

Герсике (иначе Герцике, Герцык, Герсик, Гарцыке, нем. Gercike) — древнерусский город-крепость и удел Полоцкого княжества на правом берегу Западной Двины, в 180 верстах от Полоцка. Был построен у порожистого участка реки в земле латгалов в период освоения территории северо-запада славяно-русским населением. Сначала возник опорный пункт для сбора дани с неславянского населения, в котором постоянно находилась славянская дружина с князем во главе, а затем вокруг него появился посад. К XIII веку становится княжеством, просуществовавшим недолго. С 1215 года, после очередного немецкого разорения, Герсик приходит в запустение. В документах 1255 и 1256 годов Герсик называется уже не замком, а «горой». С середины XIV века в источниках более не упоминается.

Относительно этого прозвища существует несколько версий. Скорее всего, прозвище «Соковня» происходит от какого-то диалектного слова. Так, например, в смоленских говорах «соковней» («саховней») называют жареную говядину с приправами. Такое прозвище могло закрепиться за любителем этого кушанья или за тем, кто его хорошо готовил. Подругой версии, «соковня» означало «любитель березового сока». Еще одна гипотеза связывает это прозвище с глаголом «сочать» — «искать, догонять, промышленять». Иногда так в старину называли сыщиков, лазутчиков, а также соперников. Кроме того, фамилия могла произойти и от топонима. Так могло называться принадлежавшее предкам Соковниных село.

Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II Отделением собственной е. и. в. канцелярии. Т. 1. 1612–1628. СПб., 1850. Стб. 94.

«Того же году месяца Мая в... день, сказано в Крым в посланники Прокофью Соковнину» (Дворцовые разряды... Т. 2 (с 1628 по 1654 г.). СПб., 1851. Стб. 213). Далее говорится, что «того же месяца Августа в 8 день послал Государь на Крымскую розмену, на Волуйки, околничаго князь Семена Васильевича Прозоровскаго да дьяка Федора Степанова. А в Крым послан посланник Прокофей Федоров сын Соковнин да подьячей Тимофей Голосов» (Там же. Стб. 229). Согласно сообщению Г. Котошихина, «х Крымскому хану и х Калмыцким тайшам посылаются посланники средних родов дворяне, а с ними товарищи, подьячие» (Котошихин Г. К. О Московском государстве в середине XVII столетия // *Московия и Европа* / Г. К. Котошихин. П. Гордон. Я. Стейс. Царь Алексей Михайлович. М., 2000. С. 43).

Церковь Святого Николы Чудотворца, что слывет «Красный звон», находилась в Юшковом переулке. Храм был построен в 1626 году на месте бывшей тут же, но сгоревшей каменной церкви. Название церкви показывает, что она издавна славилась своими колоколами. В храме, служившем, по-видимому, родовой усыпальницей Соковниных, в 1697 году была похоронена голова брата боярыни Морозовой Алексея Прокопьевича Соковнина, казненного за участие в заговоре против Петра I. Труп его был свезен в убогий дом, а голова с честью похоронена родственниками при этой церкви.

Филаткина Н. Предки и потомки боярыни Морозовой // Церковь. Вып. 4–5. 1992. С. 55.

Разрядные книги сообщают, что 30 ноября 1649 года послан был гонец с приказом к стольнику Федору Прокопьевичу Соковнину на Никитскую улицу, чтобы «быть ему в Можайском походе», однако дома его не нашли и приказ был передан его отцу (Дворцовые разряды... Т. 3 (с 1654 по 1676 г.). СПб., 1852. Стб. 1654).

ИРЛ И. Древлехранилище. Собрание Заволоко. № 231. Л. 138.

Домострой / Под ред. В. Сенина. СПб., 1992. С. 35–36.

Там же. С. 36.

Там же. С. 37.

Князьков С. А. Допетровская Русь. М., 2005. С. 377–378.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. Новосибирск, 1992. С. 141–142.

Домострой. С. 24.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц... С. 142.

Старая, дониконовская форма Иисусовой молитвы. По-новому полагалось произносить: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас».

Библиотека иностранных писателей о России. Т. 1. Отд. I. СПб., 1836.
С. 33–34.

Журнал Министерства народного просвещения. 1842. Сентябрь. Ч. XXXV. Отд. 2. С. 132, 134.

Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. М., 2005. С. 395.

Там же. С. 240.

Князьков С. А. Допетровская Русь. С. 385–386.

Там же. С. 386.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию // Россия XVI–XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 344.

Любопытно, что впоследствии император Петр I, насаждавший в России своеобразно понимаемое им просвещение, издал указ, строжайше запрещающий инокам держать в своих кельях писчую бумагу, чернила и перья (Прибавление к Духовному регламенту // Полное собрание постановлений и распоряжений по Ведомству православного исповедания. СПб., 1869–1916. Т. 2. № 596). В результате, как замечает историк русского монашества И. К. Смолич, «для монашества, оставшегося в Церкви, первая половина XVIII в. была временем совершенного литературного бесплодия, оно жило словно в параличе» (Смолич И. К. Русское монашество. Возникновение, развитие и сущность (988–1917). Жизнь и учение старцев (Путь к совершенной жизни). М., 1999. С. 254.).

Согласно данным академика А. И. Соболевского, подтверждаемым и другими авторитетными историками, грамотность среди белого духовенства в то время была практически поголовной, монашество было грамотно на 75 процентов. Среди купцов уровень грамотности колебался от 75 до 96 процентов, а среди дворянства он составил 65 процентов. На пятом месте шло посадское население — от 23 до 52 процентов. Среди крестьян грамотных было порядка 15 процентов. Нередко крестьяне собственноручно составляли и подписывали челобитные, оставляли свои пометы на принадлежавших им книгах (Соболевский А. И. Образованность Московской Руси XV–XVII вв. 2-е изд. СПб., 1884. С. 5–12.).

Котошихин Г. К. О Московском государстве в середине XVII столетия.
С. 55.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц... С. 57.

Цит. по: Там же. С. 48–49.

Пушкарева Н. Л. Частная жизнь женщины в Древней Руси и Московии: невеста, жена, любовница. М., 2011. С. 81. См. также: Соболевский А. И. Указ. соч. С. 13–14, 21.

Князьков С. А. Допетровская Русь. С. 393.

Пушкарева Н. Л. Частная жизнь женщины в Древней Руси... С. 85.

Там же.

Протопоп Аввакум. О трех исповедницах слово плачевное // Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 296.

Что касается этого наименования, с легкой руки В. О. Ключевского намертво закрепившегося за вторым Романовым, то оно было лишь частью официального титула русских монархов: и отец Алексея Михайловича царь Михаил Феодорович, и даже его сын Петр I, назвать которого «тишайшим» ни у одного историка язык не повернется, тоже титуловались в официальных документах «тишайшими».

Коллинс С. Нынешнее состояние России // Утверждение династии / Андрей Роде. Августин Мейерберг. Самуэль Коллинс. Яков Рейтенфельс. М., 1997. С. 218.

Мейерберг А. Путешествие в Московию // Утверждение династии. С. 119.

Щапов А. П. Земство и раскол. Вып. 1. СПб., 1862. С. 21.

Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1957. Т. 3. С. 324.

Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию... С. 496–497.

Сочинения царя Алексея Михайловича // Московия и Европа. М., 2000.
С. 495.

Ключевский В. О. Курс русской истории. Т. 3. С. 326.

Заозерский А. И. Царская вотчина XVII века. М., 1937. С. 268.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. С. 378.

Кутузов Б. П. Церковная «реформа» XVII века как идеологическая диверсия и национальная катастрофа. М., 2003. С. 206–207.

Котошихин Г. К. О Московском государстве в середине XVII столетия.
С. 28–29.

Веселовский С. Б. Московское государство: XV–XVII вв. Из научного наследия. М., 2008. С. 96.

Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. В 2 т. Т. 1.СПб., 1895. С. 399.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. С. 415.

Мейерберг А. Путешествие в Московию. С. 118.

Ключевский В. О. Курс русской истории. Т. 3. С. 329.

Чистякова Е. В. Боярская библиотека середины XVII века // Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного сознания. Новосибирск, 2000. С. 257–258.

МейербергЛ. Путешествие в Московию. С. 152.

Для сравнения: в XVII веке за год тяжелой крестьянской работы на хозяйском довольствии молодой крепкий мужчина получал пять рублей, женщина — два с полтиной, а лошадь стоила полтора рубля. В переводе на золотые рубли конца XIX — начала XX века только в ростовщическом капитале Морозова находилось около полутора миллионов рублей.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц... С. 111.

Factotum (лат.) — доверенное лицо.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. С. 378.

Коллинс С. Нынешнее состояние России... С. 219.

Котошихин Г. К О Московском государстве в середине XVII столетия.
С. 16.

Выходы государей царей и великих князей, Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича и Феодора Алексиевича, всея Руси самодержцев (с 1632 по 1682 год). М., 1844. С. 178.

Котошихин Г К О Московском государстве в середине XVII столетия.
С. 17.

Там же. С. 17–18.

Там же. С. 18–19.

Там же. С. 19–20.

Имеется в виду первая супруга великого князя Московского Василия III Соломония Юрьевна Сабурова.

Мейерберг А. Путешествие в Московию. С. 119.

Коллинс С. Нынешнее состояние России... С. 219.

Притча о старом муже // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 234–235.

Городские восстания в Московском государстве XVII в. Сборник документов. М.; Л., 1935. С. 73–75.

Другой иностранный источник («Краткое и правдивое описание опасного мятежа, происшедшего среди простого народа в городе Москве 2 июня 1648 года»), вышедший, судя по всему, из канцелярии шведского резидента в Москве Карла Поммеренинга, сообщает нам любопытные подробности относительно этого слуги: «Навстречу им вышел управитель Морозова, по имени Мосей, и хотел их успокоить, но они тотчас сбили его с ног и умертвили ударами дубины. Об этом Мосее шла молва, будто он был большой волшебник и будто он, с помощью своего волшебства, за несколько дней до этого открыл Морозову, что им грозит большое несчастье, что при этом смерть постигнет двух или трех знатных бояр, что сам он подвергнется опасности. На это Морозов будто бы ему ответил: кому посмеет прийти в голову причинить нам вред? — Из этого можно вывести заключение о его самонадеянности и высокомерии. Когда этот Мосей, управитель Морозова, был умерщвлен таким плачевным образом, весь народ, также и стрельцы принялись грабить и разрушать дом Морозова так, что даже ни одного гвоздя не осталось в стене; они взламывали сундуки и лари и бросали в окошко, при этом драгоценные одеяния, которые в них находились, разрывались на клочки, деньги и другая домашняя утварь выбрасывались на улицу, чтобы показать, что не так влечет их добыча, как мщение врагу»(Пушкарева Н. Л. Частная жизнь женщины в Древней Руси... С. 85.).

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. С. 382–383.

Дополнения к актам историческим. Т. 3. СПб., 1848. С. 152.

Мейерберг А. Путешествие в Московию. С. 151–152.

Андреев И. Л. Алексей Михайлович. М., 2006 (серия «ЖЗЛ»). С. 106.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. С. 347.

Мейерберг А. Путешествие в Московию. С. 120.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. С. 347.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц... С. 59.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию. С. 348–351.

ИРЛИ. Древлехранилище. Собрание Заволоко. № 231. Л. 138.

По вычислениям А. И. Мазунина, Иван Глебович родился в 1650 году, то есть на следующий год после свадьбы, однако это не вполне согласуется с сообщением Жития боярыни Морозовой о чудесном рождении «детища по некоему явлению великаго Сергия чудотворца», то есть о том, что рождение наследника все-таки произошло не сразу, а спустя некоторое время.

Пичета В. И. Боярский быт в XVII веке // Москва. Быт XIV–XIX вв. М., 2005. С. 172–173.

Там же. С. 174.

См.: Русская историческая библиотека. Т. 23. Дела Тайного Приказа.
Кн. 3. СПб., 1904. Стб. 1032, 1035.

Пичета В. И. Боярский быт в XVII веке. С. 185.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц... С. 60.

Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало Раскола. М., 2010. С. 385.

История о искоренителе древняго благочестия патриархе Никоне отступнике святыя веры // Бубнов Н. Ю. Памятники старообрядческой письменности: Сочинения Геронтия Соловецкого. История о патриархе Никоне. СПб., 2006. С. 349–350.

Там же. С. 351.

Цит. по: Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Никона». СПб., 2003. С. 20.

История о искоренителе древняго благочестия патриархе Никоне... С. 354–355.

Андреев И. Л. Алексей Михайлович. С. 172.

Цит. по: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909. Т. 1. С. 86.

Стоглав. Собор, бывший в Москве при великом государе царе и великом князе Иване Васильевиче (в лето 7059). 2-е изд., испр. СПб., 2002. С. 60.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 85.

Плюханова М. Б. Предисловие // Пустозерская проза: Сборник. М., 1989. С. 13–14.

Материалы для истории раскола за первое время его существования. Т. 1. С. 150.

Андреев И. Л. Алексей Михайлович. С. 173.

Севастьянова С. К. Материалы к «Летописи жизни...». С. 46.

Мейерберг А. Путешествие в Московию. С. 151.

Кутузов Б. П. Церковная «реформа» XVII века... С. 5–6.

Шахов М. О. Старообрядческое мировоззрение: Религиозно-философские основы и социальная позиция. М., 2002. С. 87.

Стоглав... С. 84.

Сборник. БАН. Собрание Дружинина. № 162. Я. 32–33.

Димитрий Ростовский (Туптало). Розыск о раскольнической брынской вере. 5-е изд. М., 1855. С. 46.

«Пришел же Иисус во страны Кесарии Филипповы, вопрошаше ученики Своя, глаголя: кого Мя глаголют человецы суца Сына Человеческаго? Они же реша: ови убо Иоанна Крестителя, инии же Илию, друзии же Иеремию, или единаго от пророк. Глагола им Иисус: вы же кого Мя глаголете быти? Отвещав же Симон Петр, рече: Ты еси Христос Сын Бога Живаго. И отвечав Иисус, рече ему: блажен еси Симоне, вар Иона, яко плоть и кровь не яви тебе, но Отец Мой, Иже на небесех. И Аз же тебе глаголю: яко ты еси Петр, и на сем камени созижду Церковь Мою, и врата ада не удолеют ей» (Мф. 16, 13–18).

Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию... С. 484.

«Господи помилуй» (греч.).

Житие протопопа Аввакума... С. 159.

Список с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума // Памятники старообрядческой письменности. СПб., 2000. С. 330–331.

Поморские ответы. М., 2004. С. 183.

Житие протопопа Аввакума... С. 135–136.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 1–2.

Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М., 1996. Кн. 6. Т. 10. С. 93.

Большой Катихизис. Гродно, 1788. Л. 353–353 об.

Труды блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского.
Новосибирск, 2009. С. 9.

Мельников Ф. Е. Что такое старообрядчество? // Неопалимая Купина. Вып. 1. М., 2008. С. 12–13.

Сенатов В. Г. Философия истории старообрядчества. М., 1995. С. 64–65.

Рябушинский В. П. Старообрядчество и русское религиозное чувство. М., 2010. С. 63.

Мазунин А. И. Из комментария к Повести о боярыне Морозовой // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. Т. 24. JL, 1969. С. 238.

Гордон П. Дневник, веденный им во время пребывания в России // Московия и Европа. М., 2000. С. 163.

Выходы государей царей и великих князей... С. 366.

Дополнения к актам историческим. Т. 5. СПб., 1855. С. 110.

Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь... СПб., 2008. С. 61.

Храброе А. Е. Миф о наследстве боярыни Ф. П. Морозовой (постановка вопроса) // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы VII Международной научной конференции «Старообрядчество: история, культура, современность», 22–24 февраля 2005 г., Москва — Боровск. М., 2005. С. 30.

Протопоп Аввакум. Житие. Челобитные к царю. Переписка с боярыней Морозовой. Париж, 1951. С. 96.

Там же.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц... С. 193–194.

Там же. С. 62.

Там же. С. 7.

Увечного.

Одежды.

Житие протопопа Аввакума... С. 297.

Там же. С. 169–170.

Паскаль П. Указ. соч. С. 386.

Житие протопопа Аввакума... С. 63–64.

Там же. С. 172.

Там же. С. 66.

Там же. С. 70–78.

Там же. С. 89–90.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 317.

Житие протопopa Аввакума... С. 88–89.

Там же. С. 87.

Мазунин А. И. Из комментария к Повести о боярыне Морозовой... С. 238.

Житие протопopa Аввакума... С. 296–297.

Там же. С. 297.

Повесть о боярыне Морозовой / Подг. текстов и исслед. А. И. Мазунина. Л., 1979. С. 127–128.

Житие протопopa Аввакума... С. 64.

Там же. С. 260.

Там же. С. 153–154.

Там же. С. 154.

Остен. Памятник русской духовной письменности XVII века. Казань, 1865. С. 130.

Там же. С. 356–357.

Житие Аввакума и другие его сочинения. М., 1991. С. 189.

Бороздин А. К. Протопоп Аввакум: Очерк из умственной жизни русского общества в XVII веке. 2-е изд. СПб., 1900. С. 123.

Житие протопопа Аввакума... С. 92–93.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 344.

Материалы для истории раскола за первое время его существования. Т. 1. С. 309.

Книга богомудраго старца Спиридона Потемкина // <http://starajavera.narod.ru/>

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. В 2 т. М., 2006. С. 204.

Протопоп Аввакум. Житие. Челобитные к царю. Переписка с боярыней Морозовой. С. 100.

Житие протопопа Аввакума... С. 297–298.

Пустозерская проза. С. 235.

Житие протопопа Аввакума... С. 298.

9 августа 1665 года подьячим Поместного приказа Андреем Ремизовым были отписаны владения Ф. П. Морозовой — село Константиновское, деревня Нечаевская с пустошами. Константиновское входило в Зюзину вотчину, доставшуюся Глебу Ивановичу Морозову в приданое за его первой женой княжной А. А. Сицкой, и после смерти Глеба Ивановича «справлено» за Феодосией Прокопьевной. (Русская историческая библиотека. Т. 21. Дела Тайного Приказа. Кн. 1. СПб., 1907. Стб. 1131–1132.)

Седов П. В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2006. С. 155.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 187.

Седов П. В. Закат Московского царства... С. 159–160.

Житие протопопа Аввакума... С. 298.

Русская историческая библиотека. Т. 21. Дела Тайного Приказа. Кн. 1.
Стб. 1230–1231.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 128.

Житие протопopa Аввакума... С. 214.

Здесь можно вспомнить, что и Соковнины были «лихвинские и карачевские дети боярские». Так, они являлись вкладчиками в отстроенный М. А. Ртищевым в Лихвинском уезде Покровский Добренский монастырь. Не исключено, что у них были связи и с Жабынской пустынью.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц... С. 63.

1 Кор. 1, 21 и 4, 10.

Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь... С. 33.

Там же.

Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию... С. 509.

Иванов С. А. Блаженные похабы: Культурная история юродства. М., 2005. С. 321–322.

Житие протопопа Аввакума... С. 100.

Там же. С. 99.

Протопоп Аввакум. Житие. Челобитные к царю. Переписка с боярыней Морозовой. С. 106–107.

Аввакум напоминает Морозовой эпизод из истории Византийской Церкви: императрице Евдоксии (ум. 404) в борьбе против Иоанна Златоуста удалось привлечь на свою сторону Епифания Кипрского.

Имеется в виду Житие преподобной Мастридии (Пролог, память 24 ноября). Мастридия жила в Александрии Египетской и в юности дала обет девства, проводя жизнь в посте и молитве. Один юноша, испытывая к ней вожделение, настойчиво пытался склонить Мастридию к нарушению обета целомудрия. Преподобная, устав от преследований, через служанку пригласила его к себе в дом. Когда юноша вошел к ней, она занималась тканьем полотна. Мастридия спросила его: «Зачем ты, брат, доставляешь мне столько огорчения и печали, что не даешь мне даже сходить в церковь?» «По истине, — ответил юноша, — я очень люблю тебя, и, когда тебя вижу, я весь бываю, как бы огненный». «Что же ты видишь во мне?» — спросила юношу Мастридия. «Я вижу очи твои настолько прекрасными, — сказал юноша, — что они прельщают меня». Святая дева, услышав, что ее глаза прельщают людей, челноком, которым ткала полотно, тотчас же выколола себе глаза. Потрясенный поступком Мастридии, юноша раскаялся и, приняв монашество, стал аскетом.

Житие протопопа Аввакума... С. 207–208.

Иванов С. А. Блаженные похабы... С. 311–312.

Смирнов П. С. Внутренние вопросы в расколе XVII в. СПб., 1898.С. 013.

Цит. по: Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1991.
Т. 2. С. 214.

Там же. С. 215.

Пустозерская проза. С. 236.

Ключевский В. О. Сочинения. В 9 т. Курс русской истории. Ч. 3. М., 1988. С. 298.

Житие протопопа Аввакума... С. 161.

Там же. С. 155.

Афедрон (*греч.*) — задний проход.

Там же. С. 139–140.

Цит. по: Никольский Н. М. История русской церкви. 3-е изд. М., 1983.
С. 124.

Житие протопopa Аввакума... С. 141–142.

Житие Аввакума и другие его сочинения. С. 139.

Житие протопопа Аввакума... С. 298–299.

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. С. 222.

Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию... С. 569.

Житие протопopa Аввакума... С. 97.

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. С. 222.

Андреев И. Л. Алексей Михайлович. С. 369.

Там же. С. 373.

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. С. 226.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 369.

Житие протопопа Аввакума... С. 299.

Имеется в виду двоеперстие, в котором сложение всех пяти пальцев имеет глубокий догматический смысл.

Там же. С. 101–102.

221

Сир. 16, 3.

Евр. 7, 26.

Деяния Московского собора 1667 года. М., 1893. Л. 6 об. — 7.

Пустозерская проза. С. 243.

Кутузов Б. П. Церковная «реформа» XVII века... С. 230.

Пустозерская проза. С. 240.

Деяния Московского собора 1667 года. Л. 7 об. — 8.

Там же. Л. 72 об. — 73.

Там же. Л. 72 об.

Андреев И. Л. Алексей Михайлович. С. 309–310.

См.: УрушевД. Скверный анекдот // Неопалимая Купина. Вып. 3. М., 2009. С. 46–49.

Пругавин А. Раскол и сектантство. М., 1905. С. 31.

Житие протопopa Аввакума... С. 108.

Вл. М-ое. Предисловие // Денисов С. Виноград Российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие, написанный Симеоном Дионисиевичем (князем Мышецким). М., 2003. С. 8.

См. например: Юзов И. Русские диссиденты: староверы и духовные христиане. СПб., 1881. С. 43–46; Пругавин А. С. Старообрядчество во второй половине XIX века: Очерки из новейшей истории раскола. М., 1904. С. 17–18.

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. С. 369.

Московский еженедельник. 1906. С. 27.

Паскаль П. Указ. соч. С. 402.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 529.

240

На Красную площадь.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 130–131.

Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь... С. 67.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 131.

Древняя Российская Вивлиофика. 2-е изд. Ч. XI. М., 1789. С. 205.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц... С. 68–69.

Русская историческая библиотека. Т. 23. Стб. 1270.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 132.

Мазунин А. И. О времени пострига боярыни Ф. П. Морозовой // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом). Т. 39. Л., 1985. С. 365–366. Пьер Паскаль называет датой пострига Ф. П. Морозовой 6 декабря 1670 года, ссылаясь при этом на сведения «Русской старины» (1908. Октябрь. С. 684) и «предание» (Паскаль П. Указ. соч. С. 505), однако в указанном им томе «Русской старины» нет никаких известий ни о Морозовой, ни о «старообрядческих преданиях».

Шашков А. Т. Из истории раннего старообрядчества: игумен Досифей // Всероссийская научная конференция «Интеллектуальная культура исторической эпохи» УрО РОИ И. Екатеринбург, апрель 2007 (электронная версия — <http://www.hist.usu.ru/rsih/text/shashkov.htm>).

Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. С. 212.

Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 1877. С. 94.

В январе 1670 года новгородский митрополит Питирим писал в Успенский Тихвинский монастырь: «Били нам челом с Тихвины Николы чудотворца Беседного монастыря старец Феодосей з братьею, а в челобитной их написано: в Никольском де Беседном монастыре был в ыгуменах черной поп Досифей. И в нынешнем де во 178-м году декабря в... день тот де игумен Досифей обманною статьею от них из монастыря поехал к Москве на монастырских лошадях с монастырским работником без их брацково ведома и склал в сундук монастырския казенныя ризы и приходные монастырские хлебенныя и денежныя книги и свою келейную рухлядь и, складчи, поставил в сундуке в Тихвинском девиче монастыре у княжны у старицы Леваниде с сестрами в монастырской казны». Введенский Тихвинский девичий монастырь, где Досифей оставил свою «келейную рухлядь», был одним из оплотов старообрядчества. (Цит. по: Седов П. В. Закат Московского царства... С.162.,563 20,)

Вопросу местонахождения Курженской пустыни посвящена обстоятельная статья А. Н. Старицына (Старицын А. Н. Где находилась Курженская пустынь? // Новгородское староверие: История, культура, традиции в прошлом и настоящем. Сб. статей. М., 2009. С. 16–27).

Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни. М., 2005. С. 88.

Мурников А. Л. Священный Куржецкий собор в Поморье 1656 года. М., 2001. С. 17–18.

Филиппов И. История Выговской старообрядческой пустыни. С. 89.

Исихазм (от греч. ησυχία — «покой, безмолвие») — древняя традиция духовной практики, составляющая основу православного аскетизма и заключающая в себе обширный, оригинальный комплекс представлений о человеке, его сознании и деятельности. Главный представитель этой традиции восточнохристианской мысли святой Григорий Палама обосновал положение о том, что космос и жизнь человека пронизаны Божественной благодатью. Приобщение к этой благодати осуществляется посредством молитвы. Исихазм очень сильно повлиял на мировоззрение средневекового русского христианина и в особенности на мировоззрение ревнителей благочестия и их духовных преемников старообрядцев, продолжавших оставаться носителями идеалов Святой Руси. Исихазм во многом сформировал на Руси тот образ отношения человека к окружающему миру и образ познания мира, который богословы называют «кардиогносией» — «сердцеведением». Именно этот образ определял отношение к бытию как системе определенных обрядов. Подобное мировоззрение неизбежно должно было вступить в конфликт с чуждым ему европейским гуманизмом, ценности которого активно насаждались в ходе никоно-алексеевской реформации XVII века.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 132.

Седов П. В. Закат Московского царства... С. 114.

Артамон Сергеевич Матвеев (1625–1682) — сначала стрелецкий голова, с 1654 года — стольник и полковник стрелецкий, с 1671 года — думный дворянин и наместник Серпуховский, с 1672 года — окольный, с 1673 года — ближний окольный, с 1674 года — ближний боярин. С 1669 года глава Малороссийского приказа. Взятый в 13 лет в царский дворец, Артамон Матвеев рос и воспитывался вместе с будущим царем Алексеем Михайловичем, который в дальнейшем был очень привязан к нему и в письмах называл его не иначе как «мой друг Сергеич». Женатый на шотландке Гамильтон из Немецкой слободы, Матвеев отличался прозападными настроениями, увлекался оккультизмом, астрологией. Дом его был обставлен по-европейски. В этой атмосфере провела детство и юность его воспитанница — будущая мать Петра I Наталья Кирилловна Нарышкина. Матвеев был ярким противником старообрядцев и играл далеко не последнюю роль на соборе 1666–1667 годов, будучи приставленным к восточным патриархам. Недаром диакон Феодор сравнивал Матвеева с Малютой Скуратовым и писал о нем: «Артемон, льстец нынешнего царя Алексия, душепагубной потаковник и верным всем наветник лютый». В 70-е годы XVII века Матвеев фактически становится правителем страны. Все распоряжения царского правительства в это время выходили с формулировкой: «по указу великого государя и по приказу боярина Артемона Сергеевича Матвеева». Однако после смерти Алексея Михайловича карьера Матвеева резко оборвалась. Он был обвинен в чернокнижии и сослан в Пустозерск. В 1682 году, после смерти царя Феодора Алексеевича, возвращен Нарышкиными в Москву, где должен был возглавить новое правительство, но во время стрелецкого восстания («Хованщины») на глазах царской семьи был сброшен на копья и изрублен на части разъяренной толпой.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц... С. 126–127.

Там же. С. 127–128.

Дворцовые разряды. СПб., 1852. Т. 3. Стб. 872–873.

Паскаль П. Указ. соч. С. 481.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 153–154.

Сергий (в миру Семен Иванович Крашенинников) (ок. 1635 — после 1710) — земляк, духовный сын и любимый ученик протопопа Аввакума, автор челобитных царям Ивану и Петру Алексеевичам. По характеристике старообрядческого писателя Савы Романова, «новый Илия, ревнитель по отеческих преданий и догматах, благоговейный инок, во учении твердый адамант». В Москве на правах духовного сына протопопа Аввакума близко сошелся с членами московской старообрядческой общины — боярыней Морозовой, княгиней Урусовой, иноком Авраамием, инокиней Меланией, сыном диакона Феодора Максимом и др. В 1675 году пострижен в иноки Троицкого Сунарецкого монастыря игуменом Досифеем. Не раз подвергался арестам за свои убеждения, но всякий раз благополучно уходил из-под стражи. В 1682 году участвовал в знаменитой «пре о вере» в Грановитой палате Кремля. Последние его годы прошли в старообрядческих скитах на Керженце.

Шашков А. Т. Из истории раннего старообрядчества: игумен Досифей...

Алексеев (Стародубский) И. История о бегствующем священстве. М., 2005. С. 13.

Житие протопопа Аввакума... С. 300.

Борис Иванович Троекуров (ум. 1674) — князь, стольник и воевода. Мать Троекурова была родной сестрой патриарха Филарета. Человек был недалекий, но набожный. По словам современника-иностранца, князь Б. И. Троекуров «при дворе играет пустую роль и назначен более для увеселения царя, нежели для совещаний в государственных делах». В 1658 году пожалован в окольничие, в 1673 году — в бояре. Некоторое время был начальником Стрелецкого приказа.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 132–133.

Там же. С. 133.

Седов П. В. Закат Московского царства... С. 164.

Там же. С. 169–170.

Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц... С. 70.

Старая, дониконовская форма Исусовой молитвы. По-новому полагалось произносить: «Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас».

Иларион Иванов (ум. 1682) — думный дьяк, один из наиболее заметных деятелей при царях Алексее и Феодоре. В 1659 году участвовал в чине подьячего и гонца Новой чети в посольстве к венгерскому королю Лихарева и Пескова. В 1663 году он был дьяком в Новой чети, в 1665–1666 годах в приказе Лифляндских дел, с 1665 по 1668 год — дьяком в приказе Большого дворца и одновременно в Оружейном, при известном Б. М. Хитрово, и в то же время в 1666–1667 годах, со званием дворцового дьяка, неоднократно действовал рядом с А. С. Матвеевым при приеме и угощении «вселенских» патриархов. В 1669 году он представлял царю бухарских послов; в 1671–1680 годах сидел в Стрелецком приказе, в 1672 году при боярине Хитрово участвовал в церемонии возведения патриарха Питирима, и в 1674 году, уже думным дьяком, — в возведении на патриаршество Иоакима. В 1673–1675 годах сидел в Устюжской чети, в 1675 году — ездил готовить путь цесарским послам. В 1676 году, по удалении Матвеева, он заменил его в Посольском приказе и в Новгородской чети, которыми и управлял до самой смерти; в 1678 году он управлял еще Лифляндским приказом и в 1677–1678 годах сидел еще в приказе Малой России; наконец, в 1680 году он был в приказе Холопьего суда. По-видимому, он пользовался полным доверием царя Феодора и докладывал ему самые важные польские дела. В первый же день Московского стрелецкого восстания (знаменитой «Хованщины»), 15 мая 1682 года, он был изрублен стрельцами вместе со своим сыном Василием.

Пс. 36, 34.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 191.

Павел (ум. 1675) — митрополит Сарский и Подонский (Крутицкий) (с 1664). До монашеского пострига носил имя Петра и служил священником в церкви Сретения «на сенях у царя» в Москве. Овдовев, принял монашество в московском Новоспасском монастыре. С 1659 года — архимандрит Чудова монастыря. 22 августа 1664 года хиротонисан во епископа Сарского с возведением в сан митрополита. В период междупатриаршества (1658–1667) трижды был местоблюстителем патриаршего престола. Активно боролся со старообрядцами — Никитой Добрыниным, священником Лазарем, боярыней Морозовой, диаконом Феодором, неоднократно лично допрашивал протопопа Аввакума. Принимал участие в Большом Московском соборе 1666–1667 годов, встречал прибывших в Москву восточных патриархов — Александрийского Паисия и Антиохийского Макария, читал им приветственную речь. Вместе с тем он отказался подписать принятый на соборе акт о низложении патриарха Никона из-за содержащихся в нем указаний на подчиненное положение патриарха по отношению к царю. В дальнейшем митрополит Павел покаялся в своем упрямстве, но был подвергнут серьезному наказанию — отрешен от блюстительства патриаршего престола, и ему даже было временно запрещено совершать богослужения.

Цепи, одетые на шеи узниц, Морозова сравнивает с узами апостола Павла, в колодках посаженного в темницу, как об этом сообщают Деяния апостолов.

Житие боярыни Морозовой // Жития протопопа Аввакума, инок
Епифания, боярыни Морозовой. Статьи, тексты, комментарии. СПб., 1993.
С. 122.

Первоначально монастырь был основан на Остоженке в 1358 году святителем Московским Алексием по просьбе своих сестер, Евпраксии и Иулиании. Это был женский монастырь с деревянной соборной церковью, где приделы были освящены во имя Зачатия и преподобного Алексия, человека Божия. После страшного пожара 1547 года царь Иван Грозный перевел Алексеевский монастырь ближе к Кремлю, к устью ныне закрытого в трубу ручья Черторыя — на Чертольский холм. С этого времени Алексеевский монастырь уже существовал в Москве самостоятельно, а на его прежнем месте на Остоженке осталась «малая обитель», в конце XVI века снова возобновленная как Зачатьевский женский монастырь. Любопытно, что именно здесь, в Алексеевском монастыре, приняла пострижение под именем Таисии жена будущего патриарха Никона, когда муж уговорил ее уйти в монахини и принял пострижение сам. Здесь же инокиня Таисия и была погребена на монастырском кладбище. В 1837–1838 годах, в царствование Николая I, в связи со строительством храма Христа Спасителя старинный Алексеевский монастырь был перемещен на Верхнюю Красносельскую улицу, а все его постройки, в том числе и уникальный двухшатровый храм, были разрушены.

Елена Хрущева — уставщица кремлевского Вознесенского монастыря, духовная дочь протопопа Аввакума. После того как в монастыре стали служить по новым книгам, ушла оттуда и некоторое время жила в доме Ф. П. Морозовой. Она часто упоминается в посланиях протопопа Аввакума.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 138.

Там же. С. 137–138.

Иларион (ум. 1678) — митрополит Рязанский и Муромский. С 1646 года архимандрит Макарьева Желтоводского монастыря, с 1656 года — Печерского Вознесенского монастыря под Нижним Новгородом. В 1657 году рукоположен в архиепископы Рязанские и Муромские, с 1669 года — митрополит той же епархии. Был суровым противником и гонителем старообрядцев. Известен также своим активным участием в Большом Московском соборе 1666–1667 годов, низложившем патриарха Никона. Иларион уличал Никона в неуважении к вселенским патриархам и в иных винах, а по окончании следствия громогласно прочел на русском языке приговор о низложении Никона. Против ожидания по окончании суда Иларион был в числе отказавшихся подписать акт низложения, так как в нем указывалось на подчиненность власти патриаршей власти царской. Убоявшись, однако, своей смелости, Иларион вместе с митрополитом Павлом Крутицким вскоре смирился. Некоторое время оставался под запрещением совершать церковную службу, но по принесении им полного раскаяния был прощен.

Там же. С. 139.

Житие протопопа Аввакума... С. 213.

Вот эти слова, относящиеся, по толкованию Отцов Церкви, к предавшему Христа Иуде: «Постави нань (на него) грешника, и диявол да станет одесную его. Внегда судитися ему, да изыдет осужден, и молитва его буди в грех. Да будут дние его мали, и епископство его преимет ин. Да будут сынове его сиры, и жена его вдова. Движущеса да преселятся сынове его, и воспросят; да изгнани будут из домов своих. Да взыщет заимодавец вся елика суть его, и да восхитят чюждии труды его. Да не будет ему заступника, ниже будет иже ущедрит сироты его. Да будут чада его в пагубу, в род един, да потребится имя его. Да вспомянется беззаконие отец его пред Господем, и грех матере его да не очистится» (Пс. 108, 6–13).

Может быть (*церк. — слав.*).

Повесть о боярыне Морозовой. С. 198.

Седов П. В. Закат Московского царства... С. 167.

Житие протопopa Аввакума... С. 216–217.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 140.

рода Лихачевых. Постриженник и ученик знаменитого архимандрита Троице-Сергиевой лавры Дионисия Зобниновского. Некоторое время был келейником патриарха Филарета. После смерти патриарха Иоасафа был одним из кандидатов в патриархи. Основал несколько монастырей (первый еще во время Смуты, близ города Льгова, последний, старообрядческий, — на притоке Дона реке Чир в 1670-х годах).

Там же.

Питирим (ум. 1673) — патриарх Московский и всея Руси (1672–1673). Был постриженником Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. С 1650 года — архимандрит этого монастыря. В 1654 году переведен в Московский Новоспасский монастырь. 2 декабря 1655 года патриархом Никоном поставлен в митрополиты Сарские и Подонские и фактически исполнял роль управляющего делами при патриархе. Когда Никон оставил патриарший престол, Питирим в качестве митрополита Сарского стал исполнять его обязанности, но без титула патриаршего местоблюстителя; действовал без сношений с Никоном, но «по государеву цареву указу». В 1662 году, в Неделю православия, был торжественно анафематствован Никоном. 5 августа 1664 года митрополит Питирим был избран «на высочайшую степень великого Нова Града и Великих Лук митрополита». Во время суда над Никоном являлся одним из злейших врагов и грубейших обвинителей патриарха, надеясь, очевидно, занять после свержения Никона патриарший престол. Это ему не удалось; патриархом был избран Иоасаф. Только 7 июля 1672 года Питирим был возведен на патриарший престол, будучи уже весьма больным. После десятимесячного, ничем особым не примечательного патриаршества 19 апреля 1673 года Питирим скончался.

Паскаль П. Указ. соч. С. 508.

«Страдником» на Руси в XIV–XV веках назывался холоп, находившийся на барщинных работах в хозяйстве феодала. Впоследствии слово это стало обозначать также человека незнатного происхождения, «худородного».

Повесть о боярыне Морозовой. С. 143.

Там же. С. 144.

В рукописи стоит «Ямской двор», но, как предположила исследовательница Н. С. Демкова, это описка, поскольку в первой половине XVII века «Земским двором» назывался Земский приказ, где рассматривались различные нарушения общественного порядка в Москве и имелись орудия пыток. Ямской же приказ (двор) управлял почтой.

Иван Алексеевич Воротынский (ум. 1679) — князь, последний представитель рода князей Воротынских. С 1664 года боярин и царский дворецкий. Обычно сопровождал царя в походах и переездах. Приходился Алексею Михайловичу двоюродным братом по матери М. Л. Стрешневой.

Яков Никитич Одоевский (ум. 1697) — князь, боярин. В 1666–1683 годах начальник Стрелецкого, Аптекарского приказов и приказа Казанского дворца. В июле 1672 года сменил в Астрахани воеводу И. Б. Милославского и начал кровавую расправу над участниками Разинского восстания.

Василий Семенович Волынский (ум. 1682) — окольничий, затем ближний боярин (1676). В 1668 году получил в управление Сыскной приказ, впоследствии — начальник Посольского приказа.

Седов П. В. Закат Московского царства... С. 168–169.

Котошихин Г. К. О Московском государстве в середине XVII столетия.
С. 103–104.

Житие протопопа Аввакума... С. 301.

Юрий (Софроний) Алексеевич Долгоруков (ум. 1682) — князь, боярин. Начал службу в 1627 году стольником, с 1643 года — воевода в Венёве. В 1648 году пожалован в бояре и участвовал в составлении Соборного уложения 1649 года, с 1648 года — первый судья Приказа сыскных дел, с 1651 года — Пушкарского приказа. Воевода в Путивле, судья Сыскного приказа (1648–1653/1654 и вновь в 1676–1680 годах), Пушкарского приказа (1650–1661, 1677–1680), приказа Казанского дворца (1663–1670, 1679), Хлебного приказа (1676–1678), Устюжской чети (1676–1680), Стрелецкого (1676–1682) и соединенной с ним Костромской чети, Счетного (1678), Денежного сбора и Доимочного (1680–1682). Будучи воеводой, одержал ряд побед во время Русско-польской войны 1654–1667 годов, в том числе в битве под Верками. 1 августа 1670 года возглавил войска, действовавшие в районе Арзамаса и Нижнего Новгорода против отрядов Степана Разина, которым нанес тяжелое поражение. Был близок к царю Алексею Михайловичу, который назначил его опекуном над малолетним сыном Феодором, но Долгоруков отказался от опекунства в пользу своего младшего сына Михаила Юрьевича. Убит вместе с сыном во время восстания стрельцов в Москве в 1682 году. Был известен своим сочувствием «древлему благочестию» и лично протопопу Аввакуму. Состоял с Морозовыми и Милославскими в родстве: его первая жена — Елена Васильевна, урожденная Морозова, — была родной теткой боярина Глеба Ивановича Морозова, вторая жена — Евдокия Петровна, урожденная княжна Пожарская, — была родной сестрой ревностной староверки Анны Петровны Милославской. Родной брат Ю. А. Долгорукова Дмитрий был женат на сестре царицы Марьи Ильиничны.

Там же. С. 300.

Юрий Петрович Лутохин (ум. 1692) — в 1640 году стряпчий одного из приказов московских стрельцов, затем стрелецкий голова и стольник (с 1676). Давний соратник А. С. Матвеева. Управлял царским имением в селе Измайлове и был доверенным человеком царя. Участник подавления Разинского восстания. Участвовал также в допросах протопопа Аввакума и его союзников. В 1682 году по требованию восставших стрельцов пострижен в монахи под именем Германа в Ниловой (Осташковой) пустыни. Позже стал келарем Чудова монастыря.

311

Каптана — крытая зимняя повозка.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 146.

Пустозерская проза. С. 245.

Паскаль П. Указ. соч. С. 509.

Ирина Михайловна (1627–1679) — царица, старшая из семи дочерей царя Михаила Феодоровича. В июне 1640 года ее задумали выдать замуж за принца Вольдемара, графа Шлезвиг-Гольштинского, сына датского короля Христиана IV. В 1644 году принц приехал в Москву, но брак расстроился из-за того, что Вольдемар не хотел переходить в православие. После смерти Михаила Феодоровича в 1645 году принц уехал обратно в Данию. Царица Ирина сочувственно относилась к старообрядцам, помогала протопопу Аввакуму, с которым состояла в переписке.

Житие боярыни Морозовой. С. 137.

Боровск — древний русский город, расположенный по обеим сторонам реки Протвы. В настоящее время — административный центр Боровского района Калужской области. В XIV–XV веках — один из центров Серпуховско-Боровского княжества. Первое упоминание — 1358 год, хотя найденная при раскопках на Боровском городище керамика датируется еще более ранним временем — XI–XIII веками. В середине XV века преподобный Пафнутий Боровский основал на окраине города крупный культурно-религиозный центр Московского государства — Пафнутьево-Боровский монастырь. В монастырской темнице в заточении дважды находился протопоп Аввакум (с 9 марта по 13 мая 1666 года и с 5 сентября 1666 года по 30 апреля 1667 года).

Седов П. В. Закат Московского царства... С. 171.

Паскаль П. Указ. соч. С. 510.

Житие протопопа Аввакума... С. 301.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 147.

Там же. С. 148.

Житие протопопа Аввакума... С. 211, 214.

Там же. С. 217.

Там же. С. 224.

Там же. С. 211.

Там же. С. 215–216.

Молитва, читаемая на 5-й неделе Великого поста.

Там же. С. 127.

Там же. С. 137.

Паскаль П. Указ. соч. С. 547.

Там же. С. 547–548.

Демкова Н. С. Примечания // Повесть о боярыне Морозовой / Сост., подг. текстов, подстрочные перев. и примеч. Н. С. Демковой. М., 1991. С. 147.

В своем «О трех исповедницах слове плачевном» протопоп Аввакум говорит и о третьей дочери Е. П. Урусовой, скончавшейся во время мучения матери.

Кормчая (Номоканон): отпечатана с подлинника Патриарха Иосифа. 5-е изд. СПб., 2004. С. 968.

Урсова Е. П. Письма // Повесть о боярыне Морозовой / Сост., подг. текстов, подстрочные перев. и примеч. Н. С. Демковой. С. 85–87.

Паскаль П. Указ. соч. С. 511.

Урсова Е. П. Письма. С. 87.

Там же. С. 95–98.

Там же. С. 88–89.

Паскаль П. Указ. соч. С. 512.

Федор Кузмищев — дьяк Стрелецкого (1673–1680) и Сыскного (1682) приказов. В 1682 году, по стрелецкому приговору, сослан в Енисейск.

Дворцовые разряды. Т. 3. Стб. 1528–1529.

Седов П. В. Закат Московского царства... С. 172.

345

То есть усечением головы.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 150.

347

Там же.

Так в XVII–XVIII веках в официальных документах называли старообрядцев. Название происходит от имени старца Капитона, подвизавшегося в Вязниковских лесах.

Там же. С. 152–153.

Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь... С. 65.

Повесть о боярыне Морозовой. С. 153.

Там же. С. 301–302.

Убойными.

Там же. 20 Бороздин А. К. Протопоп Аввакум: Очерк из умственной жизни русского общества в XVII веке. 2-е изд. СПб., 1900. С. 123. С. 302.

Осада Соловецкого монастыря, отказавшегося принимать никоновскую церковную реформу, продолжалась восемь лет — с 1668 по 1676 год — и закончилась зверской расправой над восставшими иноками.

В дошедшей до нас рукописи явная описка переписчика. Надо читать «января».

Памятники старообрядческой письменности. СПб., 2000. С. 231–233.

Там же. С. 242–243.

Протопоп Аввакум. Совет святым отцем преподобным // Житие протопопа Аввакума... С. 255–256.

Памятники старообрядческой письменности. С. 233–234.

Там же. С. 239–241.

Там же. С. 241–242.

Барсуков Н. Жизнь и труды П. М. Строева. СПб., 1878. С. 40.

Граф А. А. Матвеев в своих «Записках» такими словами характеризует Алексея Прокопьевича Соковнина: «Потаенный великой капитонской ереси раскольник издревле по своей фамилии...»(Матвеев А. Описание возмущения московских стрельцов // Рождение империи / Неизвестный автор. Иоганн Корб. Иван Желябужский. Андрей Матвеев. М., 1997. С. 412.)

Панченко А. М. Я эмигрировал в Древнюю Русь... С. 221.

Осипов В. И. «...В Боровеск, на мое отечество, на место мученое...»: Боровский период жизни протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, княгини Урусовой. Калуга, 2007. С. 67.

367

Закончено 21 апреля 2012 года, в Светлую субботу

Эта «Похвала» завершает так называемую Сокращенную редакцию Жития боярыни Морозовой.

Это «Надсловие» завершает так называемую Краткую (Выговскую) редакцию Жития боярыни Морозовой.